

АССОЦИАЦИЯ «ЛЕРМОНТОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД «ДОРОГА ЖИЗНИ»

Ежегодный альманах

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

XXI век

2017

300-летию А. П. СУМАРОКОВА

200-летию А. К. ТОЛСТОГО

150-летию К. Д. БАЛЬМОНТА

110-летию Б. П. КОРНИЛОВА

80-летию Б. А. АХМАДУЛИНОЙ

80-летию В. И. ФИРСОВА

посвящается

МОСКВА
Издательство «Вест-Консалтинг»
2017

УДК 050.9+821.161.1+82-822

ББК 84(2Рос=Рус)6+94.3

ДЗ4

Редакторат, редколлегия и попечительский совет альманаха «День поэзии – XXI век. 2017 год» от лица всех авторов благодарят литературный фонд «Дорога жизни» (Санкт-Петербург) за содействие в выпуске альманаха

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ДЗ4

День поэзии – XXI век. 2017 год.

Альманах: стихи, статьи. – Москва: издательство «Вест-Консалтинг», 2017. – 296 с.

ISBN 978-5-91865-505-4

УДК 050.9+821.161.1+82-822
ББК 84(2Рос=Рус)6+94.3

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ:

Андрей ШАЦКОВ

Геннадий КРАСНИКОВ – *выпускающий главный редактор*

КЛУБ ГЛАВНЫХ РЕДАКТОРОВ:

Наталья ГРАНЦЕВА (Санкт-Петербург)

Валерий ДУДАРЕВ (Москва)

Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН (Петрозаводск)

Сергей МНАЦАКАНЯН (Москва)

Иван ЩЁЛОКОВ (Воронеж)

Составитель:

Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН

Редакционная коллегия:

Валерий ДУДАРЕВ (председатель)

Лев АННИНСКИЙ

Александр КАЗИНЦЕВ

Евгений МИНИН (Иерусалим)

Владимир ХОХЛЕВ (Санкт-Петербург)

Попечительский совет:

Михаил ЛЕРМОНТОВ (председатель)

Дмитрий МИЗГУЛИН (Санкт-Петербург)
(сопредседатель)

Максим ЗАМШЕВ (сопредседатель)

Виктор ЛИННИК

Николай САПЕЛКИН (Воронеж)

Евгений СТЕПАНОВ

Александр СОКОЛОВ

Издательство зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране памятников культурного наследия. Рег. ПИ № ФС77-25467 от 25 августа 2006 г.

© Ассоциация «Лермонтовское наследие», составление, 2017

© Коллектив авторов, 2017

© Издательство «Вест-Консалтинг», оформление, 2017

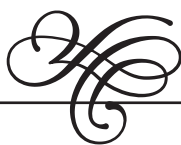
**ЮБИЛЕЙ**

ВИКТОР ЛИННИК	
АЛЕКСЕЮ ТОЛСТОМУ – 200 ЛЕТ	5

ПОЭЗИЯ

МАРИЯ АВВАКУМОВА	10
АНАТОЛИЙ АВРУТИН	11
ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ	13
АЛЕКСАНДР АНАШКИН	15
ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВ	16
ЕВГЕНИЙ АРТЮХОВ	16
ОЛЕГ БАБИНОВ	18
ЭДУАРД БАЛАШОВ	19
ЮРИЙ БЕЛИКОВ	20
ЛЮБОВЬ БЕРЗИНА	22
ЕФИМ БЕРШИН	23
АЛЕКСАНДР БОБРОВ	25
СВЕТЛАНА БОГДАНОВА	27
НИКОЛАЙ БОРСКИЙ	28
ВЛАДИМИР БОЯРИНОВ	30
<u>ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА</u>	31
ВИКТОР ВЕРСТАКОВ	32
АЛЕКСЕЙ ВИТАКОВ	34
ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ	35
ИГОРЬ ВОЛГИН	36
ВИКТОР ВОЛОДИН	38
АЛЕКСАНДР ГАБРИЭЛЬ	39
НАТАЛИЯ ГАШЕВА	40
АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ	42
МАРИНА ГЕРШЕНОВИЧ	43
НИКОЛАЙ ГЛУМОВ	44
ЕКАТЕРИНА ГОРБОВСКАЯ	45
АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ	47
АМИРАМ ГРИГОРОВ	48
КАРЕН ДЖАНГИРОВ	50
СЕРГЕЙ ДОНБАЙ	51
ОЛЕГ ДОРОГАНЬ	53
ВАЛЕРИЙ ДУДАРЕВ	53
ИРИНА ЕВСА	55
ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВА	57
ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА	58
ИВАН ЕРПЫЛЁВ	59
ВАРВАРА ЗАБЛИЦКАЯ	61
НИКОЛАЙ ЗАИКИН	62
МАКСИМ ЗАМШЕВ	63
ГЕННАДИЙ ИВАНОВ	65
НАТАЛЬЯ ИВАНОВА	67
АЛЕКСАНДР ИВУШКИН	68
ДАРЬЯ ИЛЬГОВА	69
ГАЛИНА ИЛЮХИНА	70
ЕЛЕНА ИСАЕВА	72
ИННА КАБЫШ	73
ВЕЧЕСЛАВ КАЗАКЕВИЧ	75
ЮРИЙ КАЗАРИН	77

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ	78
ГЕННАДИЙ КАЛАШНИКОВ	80
ГРИГОРИЙ КАЛЮЖНЫЙ	81
ЛЮДМИЛА КАЛЯГИНА	82
ЕВГЕНИЙ КАМИНСКИЙ	84
БАХЫТЖАН КАНАПЬЯНОВ	85
АЛЕКСАНДР КАПУСТКИН	86
АЛЁНА КАРИМОВА	87
НИКОЛАЙ КАРПОВ	87
СВЕТЛАНА КЕКОВА	89
ЮРИЙ КЕКШИН	90
МИХАИЛ КИЛЬДЯШОВ	90
НАТАША КИНУГАВА	92
ИЛЬЯ КИРИЛЛОВ	93
ВИКТОР КИРЮШИН	94
ЛЮБОВЬ КИРЮШИНА	96
АЛЕКСАНДР КЛИМОВ-ЮЖИН	96
СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ	98
МАРИНА КНЯЗЕВА	99
АЛЕКСАНДР КОБРИНСКИЙ	100
КИРИЛЛ КОЗЛОВ	101
СЕРГЕЙ КОЗЛОВ	102
ЛЕОНИД КОЛГАНОВ	103
НАДЕЖДА КОНДАКОВА	105
КОНСТАНТИН КОНДРАТЬЕВ	106
ДМИТРИЙ КОНОПЛИН	108
АНДРЕЙ КОРОВИН	109
ВАЛЕНТИНА КОРОСТЕЛЁВА	110
ОЛЬГА КОСОВА	112
ВЛАДИМИР КОСТРОВ	112
ЛЮДМИЛА КОСТРУБ	114
ЛЕВ КОТЮКОВ	115
ЛЮБОВЬ КРАСАВИНА	116
ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ	117
НИНА КРАСНОВА	118
ВАДИМ КРЕЙД	120
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ	121
АЛЕКСАНДР КУВАКИН	123
ВИКТОР КУДРЯВЦЕВ	124
СЕРГЕЙ КУЗНЕЧИХИН	125
ТАТЬЯНА КУЗОВЛЕВА	127
ЛЕОНИД КУЗЬМИН	128
ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ	129
ВЛАДИМИР КУРУШКИН	131
АЛЕКСАНДР КУШНЕР	132
ВАЛЕРИЙ ЛАТЫНИН	133
ЕВГЕНИЙ ЛЕСИН	135
ОКСАНА ЛИСКОВАЯ	136
ВАЛЕРИЙ ЛОБАНОВ	138
ТАМАРА ЛОСЕВА	139
ЮРИЙ ЛОШИЦ	140
ЕВГЕНИЙ ЛУКИН	141
ВЛАДИМИР МАКАРЕНКОВ	142
МАРИЯ МАКАРОВА	144
ВЛАДИМИР МАКЕЕВ	145



ГРИГОРИЙ МАРГОВСКИЙ	146	АНАТОЛИЙ ТЕПЛЯШИН	219
ЗОЯ МЕЖИРОВА	147	АРШАК ТЕР-МАРКАРЬЯН	220
ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ	149	ВИКТОР ТИХОМИРОВ-ТИХВИНСКИЙ	222
ДМИТРИЙ МИЗГУЛИН	150	ДАРИЯ ТИШАКОВА	223
ВЛАДИМИР МИКУШЕВИЧ	152	ВЛАДИМИР УРУСОВ	223
ЛАДА МИЛЛЕР	154	МИХАИЛ ФЕДОСЕЕНКОВ	225
СТАНИСЛАВ МИНАКОВ	155	ГЕННАДИЙ ФРОЛОВ	226
ЕВГЕНИЙ МИНИН	156	ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ	228
НАТАЛЬЯ МИШИНА	158	ВЛАДИМИР ХОХЛЕВ	229
СЕРГЕЙ МНАЦАКАНЯН	159	АЛЕКСАНДР ЦИРЛИНСОН	231
МИХАИЛ МОЛЧАНОВ	160	МАРГАРИТА ЧЕКУНОВА	232
ЮННА МОРИЦ (Юбилей)	162	ЕВГЕНИЙ ЧЕПУРНЫХ	233
ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ		ВАЛЕРИЙ ЧЕРКЕСОВ	235
«Быть поэтессой в России»	162	НАТАЛЬЯ ЧИСТЯКОВА (МАЗАЛЕЦКАЯ)	236
ЮННА МОРИЦ	163	СВЕТЛАНА ЧУЛКОВА	236
ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ	164	НИКОЛАЙ ШАМСУТДИНОВ	237
ДМИТРИЙ МУРЗИН	165	АНДРЕЙ ШАЦКОВ	239
МИЯСАТ МУСЛИМОВА	167	АНДРЕЙ ШЕВЦОВ	240
ОЛЬГА МЯЛОВА	168	МИХАИЛ ШЕЛЕХОВ	242
РОМАН НЕНАШЕВ	169	ВЛАДИМИР ШЕМШУЧЕНКО	243
ГАЛИНА НЕРПИНА	170	СЕРГЕЙ ШЕСТАКОВ	245
ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА	171	АНДРЕЙ ШИРОГЛАЗОВ	246
МАЙЯ НИКУЛИНА	173	ВИКТОР ШИРОКОВ	248
АЛЕКСАНДР НОВОПАШИН	175	ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ	249
ВИТАЛИЙ ОГОРОДНИКОВ	176	МАРГАРИТА ШУВАЛОВА	251
ГРИГОРИЙ ОСИПОВ	176	ИВАН ЩЁЛОКОВ	252
ГРИГОРИЙ ПЕВЗНЕР	177	АНДРЕЙ ЩЕРБАК-ЖУКОВ	253
НИКОЛАЙ ПЕРЕЯСЛОВ	178	ЕВГЕНИЙ ЮШИН	254
ЮРИЙ ПЕРМИНОВ	179	ВЛАДИМИР ЯРЦЕВ	255
ВИКТОР ПЕТРОВ	180	МИХАИЛ ЯСНОВ	257
ЕЛЕНА ПИЕТИЛЯЙНЕН	182		
ТАТЬЯНА ПИСКАРЁВА	184	СТИХИ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ	
ЕВГЕНИЙ ПОПОВ	185	ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА	
МИХАИЛ ПОПОВ	186	ОЛЬГА АНИКИНА	260
ЕВГЕНИЙ РЕЙН	188	АЛИНА КОСТЮЧЕНКО	261
НАТАЛЬЯ РОЖКОВА	189	СВЕТЛАНА КРЮКОВА	262
ГЕННАДИЙ РУСАКОВ	190	ТИМОФЕЙ МАЛЫШЕВ	263
ОЛЬГА РЫЧКОВА	192	МАРИНА ПОНОМАРЁВА	264
ОЛЕГ РЯБОВ	193	АНГЕЛИНА САБИТОВА	265
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ	194	ДАНИИЛ СИЗОВ	266
МАРИНА САВВИНЫХ	196	ДАНИИЛ ТЕСТОВ	267
АННА САЕД-ШАХ	197	УЛЬЯНА ЦОЙ	268
ДМИТРИЙ СВИНЦОВ	198	КЛЕМЕНТИНА ШИРШОВА	269
ЕЛЕНА СЕМЁНОВА	200	РОМАН ЯПИШИН	269
АЛЕКСАНДР СЕНКЕВИЧ	201		
АНДРЕЙ СИЗЫХ	202	КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ	
КОНСТАНТИН СКВОРЦОВ	203	НАТАЛЬЯ ГРАНЦЕВА	271
ВЛАДИМИР СКИФ	204	МАРИАННА ДУДАРЕВА	277
ЕЛЕНА СОЙНИ	206	ВАДИМ КРЕЙД	279
ВАЛЕНТИН СОРОКИН	208	ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ	285
ВЛАДИМИР СОРОЧКИН	209	МАКСИМ ЗАМШЕВ	290
ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ	211	ЛЕВ АННИНСКИЙ	291
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ (Юбилей)	213	МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ	293
СВЕТЛАНА СЫРНЕВА	217		
ВЛАДИМИР ТЕПЛЯКОВ	219		



АЛЕКСЕЮ ТОЛСТОМУ – 200 ЛЕТ



Виктор ЛИННИК, Москва

Алексей Константинович Толстой принадлежит к XIX – золотому – веку русской литературы. Второй из трёх графов Толстых, он стоит особняком в нашей словесности, будучи уникальным как по природе своего яркого, размашистого дарования, так и по обстоятельствам своего жизненного пути. Уже с рождения ему, казалось, была уготована завидная роль. Наследник огромного состояния, потомок двух громких фамилий – Толстых и Разумовских, с детских лет наперсник будущего императора Александра II, он вращался в высшем свете.

Романтик и реалист, проникновенный лирик и один из создателей язвительного «Козьмы Пруtkова», которого можно считать российским вариантом эразмовой «Похвалы глупости», воин и сибарит, расточительный барин и беспощадный к себе труженник, Толстой истинно по-русски, то есть совершенно естественно, сочетал в себе эти крайности.

Он творил в эпоху, когда аристократия в русской литературе неохотно, с препирательствами, уступала своё место купечеству и разночинцам. В драматурги пальму первенства перехватил внук священника А. Островский, «направлением мыслей» стали заведовать овладевшие симпатиями Некрасо-

ва и «Современником» поповичи Н. Добролюбов и Н. Чернышевский, в прозе заступали на «уготованный им пир» А. Чехов, А. Куприн, М. Горький...

Близкий к трону сиятельный граф Толстой был противником цензуры и сторонником ограничения самовластья. Впрочем, в своей критике российских порядков он никогда не доходил до истеричных призывов Чернышевского «К топорю зовите Русь!», ибо с детства хорошо знал наш подневольный народ и довольно зримо представлял себе, к чему могут привести подобные воззвания.

Вместе с тем поэт отчётливо видел присущую народу тягу к свободолобию, чему подтверждением для него было новгородское вече. Всем своим творчеством Толстой опровергал досужие разговоры о «тысячелетней парадигме рабства», которые усилиями политических оборотней сделались модными лет тридцать тому назад. Просто такие вожди Агитпропа, как А. Яковлев, не знали ни истории, ни творчества таких писателей, как Толстой.

Хотя Толстой не закрывал глаза и на отрицательные черты в народном характере. Написанная им в конце 40-х гг. баллада «Богатырь» менее других его произведений известна читателям. «Сколько раз, – отмечал писатель Д. Жуков, – в своих поездках по России и особенно по западным губерниям, он видел безобразные сцены у кабаков, видел, как спиваются целые деревни, губятся судьбы челове-



ческие... И постепенно у него складывается образ такого «богатыря», разъезжающего по Руси на разбитой кляче, и покрытого дырявой рогожей, и со штофом в руке. И где бы он ни появлялся, «ссоры, болезни и голод плетутся за клячей его». Зловещий всадник тянет в кабак всякого, кто уже вкушал «злого зелья».

Для спасения бюджета николаевский министр финансов Канкрин, человек непонятного происхождения, завёл винные откупа, давая возможность наживаться на спаивании народа откупщикам Утину, барону Гинзбургу, Бенардаки, Горфункелю и им подобным.

– Я знаю, что дело нечистое, да денежки чистые, – говаривал Канкрин, перефразируя римского императора Веспасиана, который ввёл налог на отхожие места, сказав при этом, что «деньги не пахнут». Военному министру Чернышёву Канкрин хвастался: «У меня, батюшка, кабаков больше, чем у вас батальонов!»

Толстой очень понимал настоятельную необходимость для нации героя и создавал такие образы, вроде князя Серебряного – романтические, возвышенные, полные благородства и великодушия. Да, это идеализация, но какой героический эпос обходится без этого? Разве Тарас Бульба – не идеализация? А рыцари Круглого стола, Ланселот, которые составляют неизбежную часть исторического предания, нарратива англосаксов?

Толстой пережил своё время, он шагнул вперёд вместе с читателем, что под силу только истинным классикам.

Я хорошо помню, как в студенческие годы мы пели под гитару «Колокольчики мои, цветики степные», раскладывали партии на голоса – наряду с Окуджавой, романсами Фомина, песнями Боба Дилана.

* * *

Алексей Константинович Толстой (Толстой I) родился в Петербурге 24 августа (5 сентября) 1817 года. По матери он – правнук последнего гетмана Малороссии К. Разумовского. Анна Алексеевна рассталась со своим мужем, графом Константином Толстым, почти сразу после рождения ребёнка. Разрыв был столь решительным, что она отвезла сына, всего шести недель от роду, в Красный рог, в усадьбу своего брата, графа Алексея Перовского, ушедшего добровольцем на войну 1812 года и участвовавшего в заграничном походе русской армии, который, как известно, закончился взятием Парижа.

Примечательно, что под фамилией Перовских скрывались десять внебрачных детей всеильного графа Алексея Кирилловича Разумовского. Они

прославились службой на самых высоких должностях империи: были губернаторами, министрами, членами Государственного Совета.

Николай, старший брат Алексея Перовского (дед знаменитой террористки Софьи Перовской), стал крымским губернатором и феодосийским градоначальником.

После смерти Алексея Перовского полновластной хозяйкой Красного Рога становится мать Толстого.

Вместе с наследником престола Александром II в 1838 году Алексей Толстой ездил на озеро Комо в Италии. С 1837 года он служил в русской миссии во Франкфурте-на-Майне, в 1840 году получил службу в Петербурге при царском дворе, в 1843 – придворное звание камер-юнкера. В дальнейшем был пожалован придворными званиями «в должности церемониймейстера» (1851) и «в должности егермейстера» (1861). В 1881 году император Александр II был убит в результате покушения, которым руководила Софья Перовская, дедом которой был старший брат матери Алексея Толстого, товарища Александра II по детским играм...

Дядя с особым прилежанием занимался воспитанием племянника. Образование Толстой получил домашнее, огромное наследство семьи это позволяло. Мальчик в детстве выучился говорить и писать на нескольких европейских языках. Неудивительно, что первые литературные опыты Толстого («Семья вурдалака» и «Встреча через триста лет») оказались, как у Пушкина, на французском языке. Вышло у него нечто фантазийное, макаберное, навеянное Гоголем и модными тогда готическими романами. Фантастике, помимо мистической прозы («Упырь», «Семья вурдалака», «Встреча через триста лет», «Амена»), Алексей Константинович потом отдал дань и в поэме «Дракон», балладах и былинах «Сказка про короля и про монаха», «Вихорь-конь», «Волки», «Князь Ростислав», «Садко», «Богатырь», «Поток-богатырь», «Змей Тугарин», драматической поэме «Дон Жуан».

На опубликованную в 1841 году повесть «Упырь» с одобрением откликнулся В. Белинский, написав, что «эта небольшая <...> книжка носит на себе все признаки ещё слишком молодого, но тем не менее замечательного дарования, которое нечто обещает в будущем... Мастерское изложение, умение сделать из своих лиц что-то вроде характеров, способность схватить дух страны и времени, к которым относится событие, прекрасный язык, иногда похожий даже на «слог», словом – во всём отпечаток руки твёрдой, литературной...».

С детства в Толстом было заложено главное – это живое чувство родины как безошибочный компас всей его жизни и творчества и непреодолимая



тяга к литературе. Побудительных мотивов к писательству было у Толстого немало, не последним из них было знакомство с величайшими литераторами эпохи.

В одном из путешествий по Европе дядя Петровский вместе с мальчиком Толстым навесит Гёте. Олимпийский старец был очень мил, предсказывал большое будущее русской литературе, посадил Алёшу к себе на колени и подарил ему кусок бивня мамонта с собственноручно нацарапанным на нём изображением фрегата. «От этого посещения, – вспоминал впоследствии Толстой, – в памяти моей остались величественные черты лица Гёте..., к которому я инстинктивно был проникнут глубочайшим уважением, ибо слышал, как о нём говорили все окружающие».

В петербургском доме дяди, хорошо известно тогдашней читающей публике России под псевдонимом Антоний Погорельский и послужившего Л. Толстому прототипом для образа Пьера Безухова, юный Алёша Толстой с восторгом взирал на Пушкина – шумного, смешливого, с курчавой копной русых волос.

По всесторонней своей образованности, пристальному знакомству с западной культурой и искусством, частым и долгим наездам в Европу Толстой был западником, в чём он и сам признавался. «Издали Отечество кажется милее», – говорил он в письмах в своё оправдание, ставя в пример Гоголя, который написал «Мёртвые души» в Риме. Но по его природным наклонностям, по любви и – заметим – знанию отечественной истории, по всему народному складу его творчества, по замечательному владению богатством и выразительностью русского языка, наконец, по чувству юмора и «весёлому лукавству ума», которое Пушкин считал отличительной чертой русского характера, славянофилы видели в нём своего. Аксаковы, в чьих журналах «Молва» и «Парус» Толстой печатался, иной раз пеняли ему за поклонение «чистому искусству», за преувеличенную «художественность» в ущерб «правде жизни». Но следом тут же признавали, что слово Толстого «кипело и животрепело».

«Козьма Прутков» – порождение Толстого и Жемчужниковых, его двоюродных братьев, – пользовался успехом в обоих лагерях: как среди западников, так и славянофилов. Всех сближало замечательное чувство юмора, свойственное авторам, со всеми его видами и оттенками – от иронии до сарказма, от лёгкого подтрунивания до разящей сатиры – столь ярко проявившиеся в «Козьме Пруткове». Юмор, вообще, довольно редкий гость в русской классической литературе. Видимо, не очень располагает русская жизнь к шутливости, которая по большей части остаётся уделом других народов.

* * *

Завязавшаяся в детстве дружба с будущим императором Александром II длилась десятки лет – вплоть до отставки Толстого в 1861 году. Камер-юнкер в 25 лет (Пушкин получил это звание в 35), флигель-адъютант, затем церемониймейстер и, наконец, по выходе в отставку, действительный статский советник (генеральский чин), Толстой всю жизнь тяготился придворной службой. Императрица Мария Александровна, высоко ценившая поэзию Толстого, с грустью заметила: «Толстой покидает государя, когда честные люди ему особенно нужны».

Близость к державному венценосцу позволила Толстому избавиться от ссылки Тургенева, которая грозила ему после публикации в обход цензуры некролога на смерть Гоголя, признанного главы «натуральной школы». Заступничество Толстого помогло добиться послаблений и для Т. Шевченко, тянувшего солдатскую лямку за серию похабных рисунков о венценосной чете. «Что нового в русской литературе?» – спросил его в другой раз император. «Русская литература надела траур в связи с осуждением Чернышевского», – не побоялся ответить Толстой. Такое мало кому сходило с рук. Графу же, державшему «истину царям с улыбкой говорить», прощалось многое.

Впрочем, высокое положение при дворе и близость к самодержцу не спасали самого Толстого от цензурных рогаток: его исторические пьесы запрещались Цензурным комитетом к постановке, из драматической трилогии о Смутном времени при жизни автора сценического воплощения после долгой борьбы с цензорами дождалась только «Смерть Иоанна Грозного». Поговорка «Жалует царь, да не жалует псарь» не вчера придумана.

Породистый красавец, обладавший огромной физической силой, Толстой мог винтом закрутить кочергу, гнул подковы и с рогатиной хаживал на медведя, взяв за свою жизнь добрую сотню «топтыгиных». Наследник солидного состояния (дворцы, поместья, тысячи крепостных, десятки тысяч десятин земли), спутник и наперсник императора, баловень судьбы по меркам обычного человека, Алексей Константинович стоит особняком в русской литературе, которая вся то в долгах, как в шелках, начиная с Пушкина, то в разночинной нужде, наподобие Писемского.

В отличие от большинства российских литераторов, Алексей Толстой был богат, знатен, удачлив в любви, а о гонорах задумался только под занавес жизни, когда нахрапистая родня жены (Бахметьевы) да вороватые управляющие довели его богатейшее хозяйство чуть ли не до разорения. Истинный аристократ, он отличался неподдельным



демократизмом, всегда равно держал себя как с высшими сановниками, так и со своими крепостными крестьянами, не опускаясь до спеси или пошлого пресмыкательства.

Ему было тридцать с небольшим, когда он познакомился со своей избранницей Софьей Андреевной Миллер (урождённой Бахметьевой). Стихотворение, посвящённое встрече с ней, – «Средь шумного бала» – по праву принадлежит к вершинам русской любовной лирики.

Сохранившиеся фотографии Софи, как звал её Толстой, не дают и десятой доли истинного представления о том, насколько обаятельной, харизматичной, говоря современным слогом, была эта в высшей степени незаурядная женщина. До знакомства её с Толстым ею был увлечён Тургенев, а в родственницу Вареньку Бахметьеву был страстно влюблён Лермонтов.

Прекрасно образованная, говорившая на нескольких языках, Софья Андреевна превосходно играла на фортепиано, пела, по свидетельству современников, «ангельским голосом» и обладала столь развитым художественным вкусом, что с годами стала для Толстого первой читательницей и оценщицей его произведений. Вот всего одна деталь, много говорящая о её дарованиях. Как-то в разговоре с гостившими у Толстых друзьями зашла речь о трудностях перевода Гоголя на иностранные языки. Упросили Софью Андреевну попробовать перевести «Старосветских помещиков». Она тут же, с листа, стала переводить на французский, да так, что присутствующие сочли её перевод лучше тех, что были изданы во Франции.

На пути к соединению Миллер и Толстого возникли немалые препятствия – годы ушли на то, чтобы их преодолеть. Во-первых, бывший муж Софьи Андреевны, ротмистр конногвардейского полка Миллер, долго не давал ей официального развода. Во-вторых, на пути молодых каменной стеной встала Анна Алексеевна, горячо любимая мать Толстого, которая категорически воспротивилась выбору сына. О Бахметьевых, говорила она, идёт дурная слава, это не та семья, с которой можно и должно породниться. Долгих 13 лет Толстой разрывался между двумя любимыми им женщинами. Обвенчаться молодые (впрочем, тогда уже не очень молодые) смогли только после смерти матери.

* * *

Крымская война 1853–1855 годов вызвала поначалу в российском обществе почти забытое с 1812 года патриотическое воодушевление. Толстой полностью разделял эти настроения и вознаме-

рился принять самое деятельное участие в военных действиях против англо-французской коалиции, к которой присоединились итальянцы в виде Сардинского королевства и, само собой, турки, не упускавшие случая в очередной раз взять реванш у России.

Британский премьер Пальмерстон целей войны не скрывал: отнять у России Крым и Кавказ, отдать Финляндию Швеции. Сгоряча Толстой вместе со своим другом князем Бобринским намеревался купить пароход, чтобы начать каперскую войну против агрессоров. Затем было решено собрать отряд добровольцев из «царских», или удельных, крестьян, купить для них на свои деньги штуцера, которых не было у русской регулярной армии. Отряд в три тысячи человек был назван «Стрелковым полком Императорской фамилии», Толстой был приписан к нему майором. Но судьба полка оказалась столь же плачевной, как и всей Крымской кампании. Почти половина людей скончалась от эпидемии тифа, так и не приняв участия в боях. Свалился в беспамятстве и сам Толстой.

Софья Андреевна немедленно помчалась к нему и не отходила от его постели, пока не выходила его, страшно ослабевшего, почти умирающего. Императору по нескольку раз в день доставляли депеши о состоянии здоровья графа.

* * *

Смолоду закружившись в балах, светских раутах, заботах царской службы, заграничных путешествиях, военных приключениях в Крымской войне, Толстой написал сравнительно мало, а напечатал и того меньше. Но то немногое, что им создано, давно и прочно причислено к отечественной классике. «Князь Серебряный» относится к обязательному чтению для романтических недорослей, влюблённых в историю; «Козьма Прутков», большая часть которого принадлежит перу Толстого, остаётся настольной книгой для саркастических Любомудров, а историческая трилогия из трагедий «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис» до сих пор входит в репертуар отечественных театров.

Особенность толстовских текстов (длинные пятистопные и шестистопные ямбические строки) – близость к русской народной песне – делали их особенно привлекательными для композиторов. На стихи Толстого написано около 150 музыкальных произведений, что, пожалуй, является рекордом для русских поэтов. Список композиторов, которые обращались к его творчеству, кружит голову – среди них первые имена в музыкальном сочинительском



цеху: Чайковский, Римский-Корсаков, Кюи, Рахманинов, Рубинштейн, Асафьев, Ипполитов-Иванов, Глиэр, Ляпунов, Гречанинов, Балакирев, Мусоргский, Ф. Лист (с которым чета Толстых была дружна). «Толстой – неисчерпаемый источник для текстов под музыку; это один из самых симпатичных мне поэтов», – признавался П. И. Чайковский.

Влюблённый в Россию и Италию, которая сразила его воображение ещё в детстве, Толстой старался держаться в стороне от бушевавших в России в середине XIX века битв западников и славянофилов. Он сознавал правду как одного, так и другого лагеря, не принимая их вполне. «Двух станом не боец, но только гость случайный, / За правду я бы рад поднять мой добрый меч, / Но спор с обоими – досель мой жребий тайный, / И к клятве ни один не мог меня привлечь», – признавался он в одном из своих самых известных стихотворений. «Да, мы были противниками, но очень странными. У нас была одна любовь... – и мы, как Янус или двуглавый орёл, смотрели в разные стороны в то время, как сердце билось одно», – скажет потом по поводу ожесточённых споров русской и западной партий Герцен.

* * *

Талант Алексея Толстого уникален, а его творчество настолько многообразно, что не укладывается в привычные рамки. Он был не только выдающимся литератором, но также одним из самых честных и благородных людей своего времени. В жизни и творчестве он следовал идеалам добра и справедливости, и поэтому его наследие не утратило актуальность и в наше время.

Давно ушли в народ и стали крылатыми выражения и афоризмы Козьмы Пруткина. Полвека назад в селе Красный Рог был открыт единственный в России музей Алексея Константиновича Толстого. В Брянске ему был установлен памятник, его именем названы парк и областной театр драмы.

А завершить эту дань памяти Алексея Константиновича Толстого хотелось бы его словами:

И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью ни дышало.

Поэзия

Мария АВБАКУМОВА, Москва



СТАРОЕ ПЛАТЬЕ

Я улетаю! Я улетаю!
Где мои крылья?
Долой его, прочь
скользкое и нелюбимое платье.
Я улетаю. Прекрасна ночь!

...А прилетела,
а прилетела –
тёзка Мария молчит из угла –
старое платье
надеть не сумела,
старое платье
надеть не смогла.

Вот ведь что плохо.
Вот ведь в чём дело –
старое платье надеть не смогла.

* * *

Дерево с обломанными ветками
снова размечталось о весне.
Дождики невидимые, редкие
падают откуда-то извне.

Падают, в туманы превращаются.
Падают, молотят землю в грудь.
Господи! она ещё вращается,
все ещё живая как-нибудь.

Платьица батистовы заляпаны.
Поредела барыня-коса.
Хамскими бесчисленными лапами
кто не потаскал за волоса...
Родина, калика переходящая,
продержись! превозмоги себя!
Пёсья и воронья – наша всё же ты,
грязь твоя, и та – моя судьба.
Никуда не денусь, бесноватая,
утопив в грязюке сапоги,
от вины (хоть в чём я виноватая?!).
Родина! себя превозмоги!

Дерево с обломанными ветками
снова размечталось о весне.
И мечтанья – солнечные, детские –
прядают откуда-то извне.

БЕЛЫЙ ВЕРБЛЮД

Есть в отражениях странствий –
Тех, что от скорби спасут –
Белый верблюд иорданский,
Белый красавец верблюд.

Вот он в ущелиях Петры
Царским вельможей идёт,
Пёстрым покровом одетый,
Ведая всё наперёд.

Гордый разумник, он знает
Этот природы каприз:
Тот, кто сейчас восседает,
Завтра опустится вниз.

Выметут начисто ветры
Путь вековечный за ним;
Снова в ущелиях Петры
Будет верблюд – господин.

Есть в отражениях странствий
Слитый в единый сосуд
Тёмный народ иностранный...
Светлый красавец верблюд.

16.11.2014

ГОСПОДЬ СКАЗАЛ...

Господь сказал: Пиши, Марие!
Пиши от сердца и души.
А рыбку пусть едят другие,
А ты старайся и пиши.

Господь сказал: Светись, Марие!
Пустыни воздухом дыши,
А рыбку пусть едят другие,
И ты об этом не тужи.

Всех больше у тебя, Марие!
Твой свет – он в жемчуге исподь,
Носи рубашечки простые...
Однажды так сказал Господь.

16.11.2014

ДРЕВО НЕПОРОЧНОЕ

Плачу о погибшей облепихе,
плачу о возлюбленной подруге,
плачу, плачу... плачу и рыдаю,
светлыми слезами обливаю,
словно б, дорогую, обмываю,
словно бы, прощаясь, обнимаю,
словно бы у смерти отнимаю.
Ой ты, злыдень-горе, ой ты, лихо...
Плачу о погибшей облепихе.

Ох, зачем ты, лихо, навалилось? –
под тобою дерево надломилось.
Если бы не ты, лихое лихо,
вечно б золотилась облепиха.
Плачу непорочными слезами.
Плачу ненарочными словами.
Причитаю древнею кликушей:
– Где теперь такую встречу душу?
Царствие небесное уж точно
уготовано для девы непорочной.

9 августа. На св. Пантелеймона

ОТКРЫТАЯ ВИЗА

Как шахтные клетки,
Уходят столетья
В потустороннюю твердь.

Мой век тоже сгинул.
Надеюсь – не в тину,
А в красную звонкую медь.

А я на прицепе –
Как бабка на репе –
ещё уходить не годна:

Зачем-то так надо,
Чтоб выпила яда,
Как браги, – всю чашу до дна.

А я и не против.
Гуляй, гробо-плотник,
Кудрявый и пьяный, как грек!

Открытая виза
У нас для круиза
Туда, где сокрылся мой век.

Анатолий АВРУТИН, Минск,
Беларусь



* * *

Узколицая тень всё металась по стареньким
сходням,
И мерцал виновато давно догоревший костёр...
А поближе к полуночи вышел отец мой
в исподнем,
К безразличному небу худые ладони простёр.



И чего он хотел?.. Лишь ступней необутой примятый,
Побуревший листочек всё рвался лететь в никуда.
И ржавела трава... И клубился туман возле хаты...
Да в озябшем колодце звезду поглотила вода.

Затаилась луна... И ползла из косматого мрака
Золочёная нежить, чтоб снова ползти в никуда...
Вдалеке завывала простуженным басом собака
Да надрывно гудели о чём-то своем провода.

Так отцова рука упиралась в ночные просторы,
Словно отодвигая подальше грядущую жуть,
Что от станции тихо отъехал грохочущий «скорый»,
Чтоб во тьме растворяясь, молитвенных слов
не спугнуть...

И отец в небесах...
И нет счёта все новым потерям.
И увядший букетик похож на взъерошенный ил...
Но о чём он молился в ночи, если в Бога не верил?..
Он тогда промолчал... Ну а я ничего не спросил...

* * *

Догорала заря... Сивер выл над змеистым обрывом,
Умерла земляника во чреве забытых полян...
А он шёл, напевая... Он был озорным
и счастливым...
– Как же звать тебя, *милай?*.. И вторило эхо: «Иван...»

Он шагал через луг... Чертыхаясь – несжатой
полоской,
Ну а дальше, разувшись, по руслу засохшей реки.
– И куда ты, Иваныч? – Туда, где красою неброской
Очарован, стекает косматый туман со стрехи...

– Так чего тут искать? Это ж в каждой деревне такое,
Это ж выбери тропку и просто бреди наугад.
И увидишь туман, что с утра, зародясь в травостое,
Чуть позднее стекает со стрех цепенеющих хат...

Эх, какая земля! Как здесь всё вековечно и странно!
Здесь густая живица в момент заживляет ладонь.
Здесь токует глухарь... И родится Иван от Ивана –
Подрастет и вражине промолвит: «Отчизну не тронь!»

Нараспашку душа... Да и двери не заперты на ночь.
Золотистая капля опять замерла на весу...
– Ты откуда, Иван? – Так автобус сломался, Иваныч,
Обещал ведь Ванюшке гостинца... В авоське несущ...

* * *

Вячеславу Лютому

Ничто не бывает печальней,
Чем Родина в сизом дыму,
Чем свет над излучиной дальней,
Колышущий зябкую тьму.

Ничто не бывает созвучней
Неспешному ходу времён,
Чем крик журавлиный, разлучный,
Буравящий даль испокон.

И сам ты на сирой аллее,
Такою ненастной порой,
Вдруг станешь светлей и добрее
Средь этой тоски золотой.

Поймёшь – все концы и начала
Смешались средь поздних разлук.
И что-то в тебе зазвучало,
Когда уже кончился звук...

* * *

Серебряный ветер врывается в дом из-под шторы,
Чумная газета от ветра пускается в пляс.
И чудится Гоголь... И долгие страшные споры,
Что вёл с непослушным Андреем чубатый Тарас.

И что-то несётся сквозь ночь... На тебя... Издалёка...
И тайно вершится не божий, не праведный суд.
И чудятся скифы... И чёрная музыка Блока...
Кончаются звуки... А скифы идут и идут.

Полночи без сна... И едва ли усну до зари я...
Приходят виденья, чтоб снова уйти в никуда.
И слышно, как бьётся пробитое сердце Андрия,
И слышно, как скачет по отчим просторам Орда.

На мокнущих стёклах полуночных фар перебранка,
И тени мелькают – от форточки наискосок.
А где-то, как некогда, тихо играет тальянка,
И в душу врывается старый, забытый вальсок...

Полоска рассвета, как след от верёвки на вые...
Задёрнется штора... Отныне со мной навсегда
Года роковые, года вы мои ножевые,
Почти не живые, мои ножевые года.

Всё смолкнет внезапно...
 Поверишь, что лопнули струны.
 Спихватишься – где он, главу не склонивший
 редут?

Иное столетье... И это не скифы, а гунны,
 Зловещие гунны в тяжёлых доспехах идут...

* * *

Я помню холодные женские руки,
 Вечернее платье, разбитый бокал,
 Коротенький миг – от любви до разлуки –
 И слово, что зря на ветру расплескал.
 Неверный, замедленный блеск снегопада,
 Снежинку, рассёкшую стынущий взгляд,
 И губ единенье... И это: «Не надо...»,
 И робкий порыв убежать в снегопад.
 Я силился что-то сказать... Не хватало
 Ни слов, ни дыханья, ни слёз из-под век...
 И длинное платье с крылечка сметало
 За эти мгновенья нападавший снег...
 А после, оставшись один с этой мукой,
 Гадал, повторяя: «Душой не криви...»,
 Что ранит сильнее – любовь пред разлукой,
 Иль память, в разлуке, о прошлой любви?

* * *

В груди свистело... Стыли полукружья
 От раскалённой кружки на столе.
 Почти не грела спину шерсть верблюжья,
 И вновь сосед ушел навеселе.
 И думалось о Родине, о чести,
 О роковой сумятице времён...
 Зудел вопрос – зачем шагаем вместе
 Не с теми, с кем шагали испокон?..
 Я понимал, что болен, слаб и жалок
 На роковом несданном рубеже.
 И вновь забытый женский полушалок
 Будил тревогу смутную в душе.
 Давно его хозяйка обещала,
 Что забежит, конечно же, за ним.
 Пуста постель... Не смято одеяло...
 И горько: «Что имеем – не храним...»
 И снова ночь... Опять болело тело.
 А ветер звал: «Лети, лети вперёд!..»
 И я летел... И Родина летела –
 С золой и пеплом... В черный дымоход...

Владимир АЛЕЙНИКОВ, п. Коктебель



* * *

Любовь, зовущая туда,
 Где с неизбежностью прощанья
 Не примиряется звезда,
 Над миром встав, как обещанье
 Покоя с волею, когда
 Уже возможно возвращенье
 Всего, что было, – навсегда,
 А с ним и позднее прощенье.

Плещась листвою на виду,
 Лучась водою, причащённой
 К тому, что сбудется в саду,
 Что пульс почует учащённый
 Того, что с горечью в ладу,
 Начнётся крови очищенье
 И речи, выжившей в аду,
 А там и новое крещение.

Все вещи всё-таки в труде –
 Не предсказать всего, что станет
 Не сном, так явью, но нигде
 От Божьей длани не отпрянет, –
 На смену смуте и беде
 Взойдёт над родиною-степью
 Сквозь россыпь зёрен в борозде
 Грядущее великолепье.

* * *

День ли прожит и осень близка
 Или гаснут небесные дали,
 Но тревожат меня облака –
 Вы таких облаков не видали.



Ветер с юга едва ощутим –
И, опущены кем-то бродяжить,
Ждут и смотрят: не мы ль защитим,
Приютить их сумев и уважить.

Нет ни сил, чтобы их удержать,
Ни надежды, что снова увидишь, –
Потому и легко провожать –
Отрешенья ничем не обидишь.

Вот, испарины легче на лбу,
Проплывают они чередою –
Не лежать им, воздушным, в гробу,
Не склоняться, как нам, над водою.

Не вместить в похоронном челне
Всё роскошество их очертаний –
Надышаться бы ими вполне,
А потом не искать испытаний.

Но трагичней, чем призрачный вес
Облаков, не затмивших сознания,
Эта мнимая бедность небес,
Поразивших красой мироздания.

* * *

Эту песню ветер пропел –
Мановенье белой руки
Защитит от жалящих стрел
И наветет холод с реки.

Миротворец-колокол цел
Где-то в самом дальнем селе,
Где ненастье с честью стерпел
И звучал один на земле.

Словно рокот веча принёс,
Чтобы веры свечи зажгли, –
Оттого ему не спалось,
Ты ему отважней внемли.

До корней охвачен волос
Полыханьем жёлтой листы,
Ты стоишь – спастись довелось,
Не склонить в огне головы.

Ну а дальше – слушай опять,
Сквозь туман осенний гляди,
Чтобы век в тоске не проспять –
И заждать там, впереди.

Чтобы дни в трудах передать,
Колокольный звон затверди,
Чтобы там, во тьме, угадать
Содроганье сердца в груди.

* * *

И столько было давно по плечу,
Что равного днесь и не знаю –
Но я разбираться во всём не хочу,
А просто грущу, вспоминая.

Круги разойдутся по вешней воде,
До осени там доставая,
Где даже в отзывчивой вроде среде
Гнездится пора грозовая.

Ладони открой этим ливням ночным,
Прибрежным валам неумным,
Замашкам дикарским и просьбам ручным,
Затерянным в мире огромном.

Не только события в горсти собери,
Но – суть их, вселенские связи,
Сплетенья наитий, – и всех примири,
Чтоб в каждой аукались фразе.

Не зря ты когда-то шагнул в эту смоль,
В алмазное это кипенье –
И чуют грядущее снова изволь,
Чтоб стало блаженнее пенье.

* * *

Этот жар, не угасший в крови,
Эта ржавь лихолетья и смуты –
Наша жизнь, – и к себе призови
Всё, что с нею в родстве почему-то.

Соучастье – немалая честь,
Состраданье – нечастое чувство,
И когда соберёмся – Бог весть! –
На осколках и свалках искусства?

То, что свято, останется жить,
Станет мифом, обиженно глядя
На потомков, чтоб впредь дорожить
Всем, что пройдено чаянья ради.

Будет перечень стыть именной
На ветрах неразумных эпохи,
Где от нашей кручины земной
Дорогие останутся вздохи,

Где от нашей любви и беды,
От великой печали и силы
Только в небе найдутся следы,
Если прошлое всё-таки было,

Если это не сон, не упрёк
Поколениям иным и народам,
Если труд наш – отнюдь не оброк
Под извечно родным небосводом.

Александр АНАШКИН, Москва



СТРАНСТВИЯ

Впереди – серебристые сумерки листьев.
Ветви. Корни. Окольные тропы пространства.
Посмотри, где кончается прежняя странность,
начинаются новые странствия истин.

Нам прощают другие миры, и сидят на коленях
осторожные книги. На белых страницах покоя
больше, чем заслужил, осязал узловатой строкою.
А накроет – и сам не заметишь великого плена.

Этим бабочкам введома магия белых платочков,
тайна трёх измерений, инерция прежнего сердца.
За иной поворот успеваешь родиться младенцем,
умереть стариком и вернуться в исходную точку.

* * *

нагая осень смерть не говори не надо
молчание во сне волшебная монада
за всю покатошь плеч повинную сноровку
не спрятать эту речь не вывести на кромку

там ветер во плоти дождь в чёрном капюшоне
и мимо не пройти большим умалишённым
останутся следы разбросанные листья
качание воды живая память лисья

НЕ СО МНОЙ

*Всё, что не было со мной,
было не со мной.*

(Группа «АукцЫон». «Девушки поют»)

где в полдень нет учителей
жара во вторник
апрель шампанского налей
рукой проворной
за то что сбудется ноль раз
седьмой бокальчик
внутри пузыриков оргазм
снаружи мальчик

пусть всё изменится вокруг
столы квадратны
бутылка падает из рук
стрелой обратной
в пустом стекле плеснёт печаль
живая рыба
когда поймает невзначай
глуши верлибром

как будто речь мудрей стиха
свободней ритма
и рыба плавает пока
соизмерима
пока волнуема волной
влекома светом
всё что не сбудется со мной
когда-то где-то

* * *

Апрельский – имперский – заряженный воздух
подводит к окну, обнимает за плечи.
Ничто не прошло и не сделалось поздно,
пространство растёт в голове человеческой.

Растёт человек, расширяется время, –
на третьей секунде великого взрыва
вселенная знала об этих деревьях.
И в памяти нет никакого разрыва.



Ведь не было, нет, и не будет отныне
другого окна. И орбита планеты –
как честное слово пророка в пустыне.
Бумага летит в пустоте кабинета,
рука держит чашу кофейного света:
Когда мир изменится, кофе остынет.

Григорий АНДРЕЕВ, Санкт-Петербург



* * *

*Люблю тебя, Петра творенье...
А. С. Пушкин*

Я вновь с тобой, Петра творенье,
Брожу по улицам твоим.
И нахожу отдохновенье,
Как прежде, Господом храним.

Столицей северной Державы
Ты был, но свергли титул твой.
Ты жаждал почестей и славы!
Но пал. Нарушен твой покой.

Толпа историю вершила,
Толпе бы хлеба, да знамён.
Нет хлеба нынче. Где же сила,
Что опрокинула твой трон?

Где гимны, что когда-то пели
России, вере и любви?
Всё начиналось с колыбели...
Святыни наши – где они?

Листаем старый свод старинный,
Дворцов смущает тишина...
А где-то там, в полях былинных,
Встаёт с колен моя страна!

Вновь возвращаются знамёна:
Андреевский, Российский флаг.
Колокола, Христа икона
И гордой памяти «Варяг»!

Былое Родины величье.
И позолота куполов.
Души святейшее обличье;
И души дедов, и отцов.

И значит есть надежда снова,
И благодать вновь нисходит к нам.
В гостях у детища Петрова
Взываю к новым временам!

Евгений АРТЮХОВ, Москва



* * *

Нет, я совсем не эгоист,
когда гляжу по сторонам
и думаю:

зачем-то лист
спускается к моим стопам;

зачем-то дождь пошёл тот час,
едва я вышел на бульвар,
и зонт не взял в который раз,
и аппетит не нагулял;

зачем-то школьники спуют,
река вдоль улицы течёт,
зачем-то голуби берут
мою отзывчивость в расчёт;



Олег БАБИНОВ, Москва



МОСКОВСКИЙ СНЕГ

Московский снег, давимый джипом,
настырно липнувший к метле
ферганца, тлеющего гриппом,
утопленного в янтаре

иллюминации вечерней,
зажжённой над Тверской-Ямской,
чтоб между лавкой и харчевней
след родовых своих кочевий
нашёл очкарик городской,

иди, засыпь дорогу к яру
и с яра съезд к сырой земле!

.....

Крути, ямщик, верти сансару
Напра-нале.

Всех замело – коня, поводья,
отчизну, веру и царя.
Так сладко замерзать сегодня –
особенно, почём зазря.

Вороны в утреннем навете
накличут голод и чуму.
А ты один, один на свете,
несопричастный ничему.

КОНТРАБАНДИСТ

Пока подъяремный поделник – рабочий вол,
как песню унылую, тянет тугую лямку,
и ёлка, на цыпочки встав, напрягает ствол
и верхними ветками в небе копает ямку,

пока моё солнце слепит фонарями луж,
а ветер командует сбросом тяжёлых капель,
пока из супеси полуоживший уж
зловещей верёвкой вползает на тёплый камень,

пока моей будущей бабочке жмёт скелет
(так резвому слогу болезненно жмёт бумага),
пока по ухабам тащится драндулет –
предательски скрипучая колымага,

пока летним утром мытарь забылся сном,
пока ему снится любовница или мама,
везу в мир живых, грошовым укрыв стихом,
ворованный воздух горного Мандельштама.

РЯДОВОЙ РАХМАНИНОВ

Не жалея ни меня, ни прочих нас –
мы родом из века каменного,
но, Господи, слава Тебе, что спас
рядового Рахманинова!

Мы пошьём войну на любой заказ –
хоть тотальную, хоть приталенную,
хоть со стразами, хоть без всяких страз,
необъявленную, отравленную.

Санитар, санитар, не тяни, бросай –
не того потащил ты раненого.
Не спасай меня, но во мне спасай
рядового Рахманинова.



Эдуард БАЛАШОВ, Москва



* * *

Опять я на краю земли.
По эту сторону границы.
И письма матери,
Как птицы,
Манят и кличут издали.
И сладко слышать мне:
«Сынок,
Здоров ли ты?
Что ж не ответил?..»
«Спасибо, мама, за пирог...»
«Тебе спасибо, что отведал...»
«У нас морозные деньки.
А снегу – не откроешь двери...
Спасибо, мама, за носки...»
«Тебе спасибо, что примерил...
Приехал бы...
Уж я стара...»

И вот я дома. Отобедал.
– Спасибо, мама, мне пора.
– Тебе спасибо, что проведал.

ПЕТУХ

Тихие дали. Тёмные дали.
Где же дороги мои запропали?
Поле рабочее. Скошенный луг.
Снова от сна отряхнётся петух.
Снова я встану босой на дощак.
Снова ударюсь виском о косяк.
Вышибу двери и рухну под клеть.
«Здравствуй, – скажу, – я пришёл
умереть!»

Тихие дали. Тёмные дали.
Где же вы сердце моё закопали?
Поле рабочее. Скошенный луг.
Пашню мою разгребает петух.
«Стой, не кричи, не кричи мне зарю!
Клюй моё сердце, клюй!» – говорю.
Вскинул петух заревой гребешок.
Жизнью моей окровавлен восток.

Тихие дали. Ясные дали.
Там вы нашли меня, где потеряли.
Поле рабочее. Скошенный луг.
По двору ходит вразвалку петух.
«Ты разбудил меня в полночь?» В ответ:
«Ку-ка-ре-ку!» – прокричал. – Тебя нет».
«Ты ли склевал моё сердце?» В ответ:
«Ку-ка-ре-ку!» – прокричал. – Тебя нет».

Тихие дали. Ясные дали.
Нету во мне ни тоски, ни печали.
Поле рабочее. Скошенный луг.
Облако пашет сверкающий плуг.
Кто там за пахаря? Мне он знаком!
В белой рубахе идёт босиком.
«Здравствуй! Я смерти найти не могу!» –
«Нет тебя! Нет тебя! Ку-ка-ре-ку!»

СОН ПОЭТА

– Мама, ты мне живая снишься.
Где ты теперь живёшь?
– В хлебушке, сынок, в хлебушке.
(Из разговора с В. Цыбиным)

Где живёшь? На небушке?
Вот так занесло!
Схоронился в хлебушке?
Говоришь, светло?

Верится – не верится.
Или не пустяк?
Жизнь прощеньем мерится?
А меня простят?

За него, за лешего,
За остры гужи...
Как зовут-то? Ешуа?
Руки покажи!

То-то, что уключины
На ветру свистят.
Господи! Замучены!
А меня простят?

Вот монетка-денежка.
На, ещё одну.
Никуда не денешься,
Изживем вино!

А за то, что сложится,
Боже, не казни.
Сильно занеможется,
С неба позвони!

ПРЯЖА

На исходе закатного часа
Дышат сумерки тёплой золой.
Завивается пряжа рассказа,
Спорой нитью течёт золотой.

Но о чём нынче бабка бормочет?
Или цевка не хочет в челнок?
Или спица нарочно морочит,
Так и целится под ноготок?

Или пряжи на сказ маловато?
Все слова, все пути за спиной.
Что нас ждёт на исходе заката
И на первой заре неземной?

Юрий БЕЛИКОВ, Пермь



СЛОВО О ПОДЕЛЬНИКАХ

Евгению Евтушенко

Оглянусь – а некому прочесть.
Всех, кому читал, позабিরали:
в тучи на замки позапирали.
От кого?.. Не велика ли честь?

Ежели пытаются извлечь
пару моих мыслей сумасбродных
из созданий тех высокородных,
то у них своя сгустилась речь.
Может, виноваты в том они,
что ко мне бывали благосклонны,
так, что пригвождали их короны,
падая, мне длани и ступни?
Но из недостойных рук своих,
поневоле коронуя снова,
возвращал я венценосцам слова
все венцы, попадавшие с них.
– Лучше б не меня лишили вас,
а напротив – вас меня лишили:
лишь бы не стоял я на вершине
в жалком одиночестве сейчас.
Я хочу, чтоб в тучах был прогал!..
Чтобы молний взвизгнули засовы
воротить подельников готовы –
всех, кому когда-то я читал.
Боже! Коль совсем не вмоготу,
отпусти внимавших мне обратно.
Ну, а если речь моя невнятна, –
сам приду и сам всё перечту.

* * *

А мне по нраву португальский гимн
иль бульба колумбийская в мундире,
но пью я твой, Россия, анальгин,
что запрещён во всём остатном мире.
Часов на шесть хватает. А потом
опять гнетёт воронка нутряная...
И вот уже я синий – у Синая,
и выхлоп горький сдерживаю ртом.
И нюхает с опаскою мой рот
единственная, кто меня не бросит, –
собака, лай которой ветер носит
и скоро нас на Гору вознесёт.
И там подьёмлю вежды, может быть,
и вымолвлю, хоть мир подобен Вию,
что я, как боль, несу в себе Россию
и одного боюсь – расшевелить.

ШУМ ВОЛН

Болевой преодолев порог,
стал я чёрств, бесслёзен и жесток.
Кроме шума волн, не мыслю шума.
Отойдите! Назревает дума.

Мне и волны, может быть, мешают,
но они другое заглушают –

пышных свадеб низкие частоты,
визги чаек, если чаек нет,
впрочем, кишкодральные их ноты
впаяны зачем-то в парапёт;
громкоговорители колясок,
что везде расставила страна, –
голоса грядущих свистоплясок
надсажает загодя она.

Заглушайте, волны, шумом лютым
гвалт непотопляемой тщеты,
чтоб, страдая слухом абсолютным,
смог достичь я высшей глухоты!
– К высшей глухоте приговорён,
может, и обманешь ты клоаку...
Но тебе всё чаще снится сон:
потерял последнее – собаку...

* * *

Сердце вырвалось вперёд.
Рановато забежало.
То ль за дальний отворот,
то ли хуже – за начало.
Больше кровь не подаёт.
А ведь мощно подавало!

Всякий раз – за сто (за что?)
удушающих ударов,
даже спящее, и то –
трясогузочье гнездо –
коршунячих ждёт кошмаров.

Потому-то и сердца
сверстников-единоверцев
тараторят слегонца
позади такого сердца:
– Ланца-дрица гоп-цаца! –
лошадиным силам Ксеркса.

Никого не обгонял,
а стоял себе на месте,
но сквозь сердце пёр сигнал –
галактические вести,
он его и ускорял,
а «Износ – процентов 200!» –
мелом выведен финал.

Что, барак в два-три окна?..
Что, дурак, набитый ватой,
дырковатый, дряхловатый?..
Вот и надпись не нужна.
На подходе экскаватор.
Выпей ковш его до дна.

ПЕСНЯ О СТРЕЛАХ

Косой стрелой, надломленной в полёте,
прошёл косяк взволнованных гусей.
Пролётные! Чего так сердце рвёт
возвышенной глаголицей своей?!

Там, за морем, любимая увидит
пернатых, торопящихся к теплу,
и даже на высокий берег выйдет –
под самую гусиную стрелу.

Позолотите, ну, позолотите
давным-давно опустошённый взор, –
как низко вы над милой пролетите,
посланцы леденеющих озёр.

«Будь счастлив!» – напоследок завещала.
Заверил: – «Буду...» Вот и счастлив я.
Расскажут гуси-лебеди Урала
о северной надбавке бытия,

о том, что на пути необозримом
ни разу не меняли свой маршрут.
Вот и сейчас кружат они над Римом
и снова обречённый Рим спасут.

Я счастлив, что ответной тетивую
запущенная в приступе тепла
без промаха ударит в ретивое
возвратная гусиная стрела.

* * *

В детстве спал, укрывшись с головой,
в страхе оттого, что я живой.
И сопел в игольное ушко
меж нагромождённым одеялом,
чтоб дыханье в бездну не ушло,
а донельзя сплачивалось в малом.

Но раскрылся. И не удержал.
Но не утаился в том, что мал.
И теперь не сплю, хоть надо спать, –
молча от иной напасти вою:
что придётся бездне равным стать.
И страшусь укрыться с головою.

ПРЕДЕЛ

– Убей меня! – сказала сыну мать.
А сын не знал, что матери сказать.
Смотрел и слушал – плоть её от плоти,



не постигая матушкину речь:
– Сынок, хоронят нынче на болоте.
Убей, но не хочу в болото лечь...

Мать высохла. Мать стала тугоухой,
сварливой, настоящею старухой.
И чёрный варикоза виноград
уже который топчет год подряд.
Мать сгорбилась. Да так, что не узнать.
А помнится, в трамвай влетала мать –
и сразу – аж на том конце трамвая –
ватага заскорюзлых мужиков
ноздрями трепетала, узнавая
не пойманное облачко духов.

А если разбудить фотоальбом,
там до сих пор на снимке на одном
сын с матушкой катятся на санках.
Ребёнок от восторга рот открыл...
– Сынок, каким хорошеньким ты был!
вдруг проступает в матушке осанка.

Сын – матери: – Какою ты была!..
Мать – сыну: – Ну и сына завела!
– Так и убил бы! – он сквозь зубы – ей.
Мать слышит и хохочет: – Так убей!
Сын – матери: – Ты, мама, обалдела!..
И всяк согласен, скорбь свою неся,
что доживать до этого предела
ни сыну и ни матери нельзя.



Любовь БЕРЗИНА, Москва



В КВАРТИРЕ БЛОКА

На лестнице темно и сыро.
Взбегу наверх, под потолок,
И встану у окна квартиры,
Где умер Александр Блок.
Внизу вздыхает ветер тяжело,
Гудки портовые слышны,
Река с названьем странным – Пряжка –
Изнемогает от волны.
Над набережной сетью белой
Полощется осенний снег,
На ветер навалясь всем телом,
Бредёт какой-то человек.
И так же, так же одиноко,
Как окна брошенных квартир,
Глазами Александра Блока
Увижу побледневший мир.
Паршивая бежит собака,
Шаги матросов широки,
Блестят, как молнии, из мрака
Красноармейские штыки.
И шапок островерхих пики
Стремятся ввысь, где Бога нет,
Пётр у Исакия, великий,
Лицом вонзается в рассвет.
А рядом грязные, живые,
В шинелях серого сукна,
Прут мужики со всей России,
Не видя Блока у окна.
Ему вчерашний друг холёный
Не подал давеча руки
За то, что Иисус с иконы
Шёл там, где эти мужики.
В багровых отблесках заката
Блок смотрит – взгляд его тяжёл! –
Вся музыка ушла куда-то,
А он замены не нашёл.

И с маскою лица железной,
Как он, о многом промолчу,
Над революционной бездной
Гася сознания свечу.

ВЕЛИКИЙ ИВАН

Зацепляются тучи за Ивана Великого крест
И за башни Кремлёвской звезду, что стоит наравне.
Ох, не падают звёзды с высоких насиженных мест,
Только пара орлов примостилась от них в стороне.

Словно змеи, вдали проползают потоки машин,
И фонарь, как слеза, по Кремлёвской стекает щеке,
И Великий Иван белой шеей сверкает один,
В золотом чугушке набекрень отражаясь в реке.

Раньше гулом гудел –
А теперь он стоит не у дел,
И его окружают высоток стеклянных штыри.
Он посмотрит на Запад – и станет белее, чем мел.
Поглядит на Восток – и зардеется ярче зари.

Спит у ног его колокол треснутый – Царь,
Не стреляющей пушки огромной зияет жерло,
По ступенькам Ивана не ходит звонарь,
Он молчит, словно рот немостою свело.

Не доходят слова на краснеющий остров Кремля,
Только светом небесным – стоит посреди – осиян,
Как маяк нам мигая, гряде облаков шевеля,
Рассекающий тьму, молчаливый Великий Иван.

СИЯЮЩАЯ ГЛУШЬ

Когда устану жить,
И вкус уйдет, к тому ж,
Крутиться и гореть
Средь городского торго,
Ты поглоти меня,
Сияющая глушь,
Пошевели листвою –
Погибну от восторга.

Ты вынь из рукава
Немолчный щебет птиц.
Черники чёрный глаз –
Бессонный соглядатай.
Шуршание листвы –
Как шелесты страниц,
За жалкой суетой
Нечитаных когда-то.

Калина низких звезд
Сияет надо мной,
И поплавок луны
В небесном море тонет.
И первый солнца луч,
Весь бледно-золотой,
На спящее лицо
Свои персты уронит.

Внезапно пробужусь,
Как от дурного сна,
Недолгого дождя
Откину занавеску.
Увижу, как земля
Лежит, обнажена,
И в небо пар идёт,
Взлетающий отвесно.

Луг розовый вдали
Завоевал люпин,
И тишина вокруг,
Лишь тенькает синица.
И можно вечно жить,
Глядеть на этот луг,
Листая без конца
Зелёные страницы.

Ефим БЕРШИН, Москва



* * *

Марине Кудимовой

Когда закончится гражданская война,
нам будет явлена единственная милость –
определить, чья большая вина
в том, что случилось или не случилось.
Когда в лесах завоюет тишина,
а снайперы, уставшие по целям



работать, выпьют горькую до дна,
по рыночным закупленную ценам,
когда воронки зарастут травой,
и снова обретётся чувство меры,
останутся до новой Мировой
последние минуты или метры.
Лесные звери выйдут из лесов,
и Гамлет, ослепительный и лёгкий,
пойдёт на бой за тени всех отцов,
убитых и освищенных с галёрки.
Но Бог не выдаст, и свинья не съест.
И мужество останется в почёте.
И на погостах крест пойдёт на крест.
Всё будет хорошо в конечном счёте.
И голубь принесёт благую весть,
запрятанную в гроздьях винограда,
что жизнь не кончилась, что жизнь, конечно, есть
не только на вершине Арарата,
но в Химках или Солнцево. Бог весть,
где для героев сыщется награда.

* * *

Опять горнист исход трубит,
подталкивая к землям дальним.
Но тополем пирамидальным
я насмерть к берегу прибит.
Пространство – фикция. Оно
к себе притягивает страстно
лишь тех, которым не дано
перемещаться вне пространства.
И лист тускнеет, как медаль,
в грязи родного бездорожья.
Но он не улетает вдаль –
он умирает у подножья.

* * *

Осень.
Нетопленный лес.
Похороны костра.
Кладбище.
Крашенный крест,
как выраженьё добра.
Звук – выраженьё струны.
Власть – выражение воли.
Я – выражение боли
этой несчастной страны.

* * *

Что теперь говорить? Что летаю? Нет, не летаю.
Нет, летал когда-то.
Когда-то и это было.
Хоть бы раз поглядеть на далекую эту стаю,
что меня на этой земле позабыла.

На земле, на которой всё меньше и меньше места,
как в купе отцепленного вагона.
А вдали – луна, как брошенная невеста,
разрыдалась звёздами в полнебосклона.

Что теперь говорить?
Я ведь тоже когда-то вызрел
в том краю, где растёт виноград и алеют вина.
Я забыт, как на поле боя забытый выстрел,
выбирающий цель, которой уже не видно.

* * *

Господи, вспомни, ведь это же я –
в новой матроске.
Рядом со мною мама моя
на перекрёстке.

Так и стоим под ослепшим дождем
южного полдня.
Словно чего-то по-прежнему ждём.
Господи, вспомни!

Сам меня выбрал и Сам не узнал,
и никогда не узнаешь, похоже.
Я ничего Тебе не доказал.
Ты мне – тоже.

* * *

Я уже, наверно, тебе – никто.
Я тебе в этом времени журавлином –
как в шкафу отслужившее век пальто,
пересыпанное нафталином.

В небесах оставлены голоса
журавлей, что осенью улетели.
Умирая, оставлю тебе глаза,
чтобы день и ночь на тебя глядели.

* * *

Памяти Инны Лиснянской

Я охранял пространство и окно
от сновидений и дневного Бога.
Бродил по дому, допивал вино,
курил у деревянного порога.

Как сторож, окликал любую тень,
стоял столбом, как печь на пепелище.
Но кто-то вечно крался из-за стен
и проникал в уснувшее жилище.

И выдавал себя движеньем крыл,
и сквозняком, и осторожным шорохом.
Здесь Бог ночами тоже говорил.
Но только шёпотом.

* * *

На рассвете последнего дня
у ограды Нескучного сада
воскресите при жизни меня,
после смерти – не надо.

Воскресите при жизни меня,
когда утро сверкнёт перламутром.
Я воскресну, как вспышка огня
воскресает меж кремнем и трупом,

чтобы слушать, как дышит лоза,
подступая к обветренным скалам,
чтоб рассветное солнце в глаза
разливать, как вино по бокалам.

Воскресите заброшенный град,
тот, где тени блуждают по теням,
где усталый ночной виноград
осторожно крадётся по стенам,

тот, где мать, не заснув до утра,
бросив жизнь свою под ноги сыну,
выходила на берег Днестра,
заменившего сыну пустыню.

Как забытую старину
воскрешает дотошный историк,
воскресите при жизни страну.
После смерти – не стоит.

Александр БОБРОВ, Москва



В ПУТИ

От Замоскворечья до Дуная,
Все свои дороги вспоминая,
Понял вдруг, что их связал мой брат.
Если б он не пал под Ленинградом,
Я бы, люди, не жил с вами рядом,
Не был бы своей России рад.

Здесь – мои рыбацкие рассветы,
Здесь – мои дурацкие ответы
На вопросы, вставшие ребром.
Но моя держава их прощала,
Снова провожала от причала,
И вода сверкала серебром.

Я не знаю, сколько мне осталось,
Не берёт в пути меня усталость,
Я ещё с попутчицей шучу,
А настигнет вечная остуда –
Может, с братом встречусь...
И оттуда
Первым снегом к внукам прилечу.

НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА

Я всегда хоть на мгновенье
Вспоминаю в эти дни
Запах ели, вдохновенья
И малеевской лыжни.
Не осталось даже фото
Нас, успешных, молодых...
Перечислю – мне охота! –
Многих нет уже в живых:
Поликарпов и Устинов,
Юрий Коваль и Кушак –
Не делю их, но постигну,
Кто мне друг, а кто лишь так...



Там – Личутин и Куняев,
Там – Дагуров и Бобров...
На снегу в футбол гоняем,
Выпиваем – будь здоров!
Мы в одной стране творили,
Чтоб за совесть – не за страх,
Не о «бабках» говорили,
А о бабах и стихах...
Нет Малеевки любимой,
В перелесках – никого,
Лишь бесшумный лёт совиный...
Скоро полночь. Рождество.

* * *

*Что такое поэзия? Мне вы
Задаёте чугунный вопрос...
Владимир Соколов*

Что такое поэзия? Бездна –
Снег без дна и спасительный наст.
Мне доподлинно было известно,
Что она – никогда не предаст.

Миновали наивные годы,
Наломали соратники дров,
Либеральные бури свободы
Разметали волшебный покров.

Мы великих предтеч вспоминаем,
В Интернете творя баловство,
И мучительно вновь постигаем
Это таинство – не ремесло.

С незавидным упрямством поэта
(Практицизм да и смысл – не причём!)
Уверяем, что Песня не спета –
Ради всех, кто молчать обречён...

* * *

...И засохшая сосна
У родительской могилы
Вдруг напомнила сполна
Про живительные силы –
Те, которые ушли,
Раньше времени иссякли,
Посреди родной земли
Были выпиты до капли.
А ведь мимо проходил
Под смолистыми шумами
И рябинку посадил
Рядом с ней, в ногах у мамы.

Но погибшая сосна
Простирает сучья к свету...
А ведь так и вся страна –
Та, родней которой нету.

НЕГРИБНОЙ СЕНТЯБРЬ

...Заготовить хоть ветки для веника,
Коль грибные места – на засов.
Лес пустой, как душа современника –
Ни ауканья, ни голосов.

Не бывало такого на памяти,
А ведь сколь встречал сентябрей
И молился природе без паперти,
Без надвратных икон и дверей –
Только купол великой обители,
Только русский и собственный крест...

Никого красотой не обидели
Перелески и веси окрест.
Золотую поляну приветствую,
Как фата, у берёзки кора.
Внучка старшая стала невестою,
А девчонкой носилась вчера.

Я учил её шутки домысливать,
Сохранять непохожесть и стать.
Нынче стала такой независимой,
Что мобильным звонком не застать.

Эта вера в потомков – от Пушкина,
Потому и не стану гадать,
Сколько Богом ещё мне отпущено...
Надо среднюю замуж отдать.

ПРОЩАНИЕ С ПИДЖАКОМ

Мой старый пиджак фиолетовый,
Прости, расставайся со мной...
Немало бродили по свету мы
Не в зной, а прохладной зимой.

По Дебрецену, по Мюнхену
Среди вековой красоты.
Теперь тебя будут обнюхивать
На ближней помойке коты.

Ты пахнул порой не по-нашему,
Знавал и бомонд, и дебош.
Теперь тебя будет донашивать
Перовский какой-нибудь бомж.

К черте приближаясь критической,
Мы знаем: всему есть предел,
А раньше – в шкафу у лирической
Моей героини висел.

Мы были с тобою обласканы,
И я (сантименты чужды!)
Целую то место на лацкане,
Где пудры остались следы...

Светлана БОГДАНОВА, Москва



* * *

Мой лосось!
Видишь кость?
Видишь гвоздь? Видишь ось?
Чуешь в сердце холодном томленьё?
Это всё потому,
Что начало всему
В этом месте сбылось,
Как воронка, как ствол, как сверленье.
Этот пуп,
Этот суп,
Этот сон – как тулуп:
Жарок, душен и туп.
Круг за кругом, без слов, без движенья.
Ты, кружась, отплывай
Прочь отсюда, за край,
Там осадок похож на победу, на рай,
И в воде нет ни капли броженья.
Мой лосось!
Эта ось,
Этот гвоздь, эта трость
Всех доводит до исступленья.
Это явный сигнал.
Ты похож на коралл,
Ты, мой друг, маргинал.
Прочь отсюда, нажми на сцепленье.

Хвост – и скрип.
Хрящ – и хрип.
И плавник, как полип.
Уплываю, и чувствую треньё.
И все тише поёт
Хоровод, круголёт...
Через мель, через сель,
Через мост, через брод
Я ползу, не щадя рыбий глаз и живот,
В тишину, в чистоту, где старик-садовод,
Розмарином набив мой смеющийся рот,
Превратит чешую в оперенье.

ОНА НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ ДРУГИХ

Она не хочет видеть и слышать других.
Она не хочет знать, что происходит вокруг.
Выглядит она обычно, но порой ведет себя,
как псих.
Как ангел, как демон, – и это её ярмо. Вернее,
её соха и плуг.

На то есть причины, и можно их отыскать,
Войдя в её грёзы, в её тело, в её судьбу.
Прочитать, как руки пианиста читают ноты с листа,
Такая вот пневмопочта Брайля в уголках глаз,
во сне, на бегу.

Там, в запутанных нитях времени и пространства
Гранит растягивается, точно новорождённое стекло.
Арбатские переулки, чужая любовь... Вера детей
в постоянство
Любого родства – и кровного, и духовного...
И этот улов

Ещё только начало причин, слившихся в одно
Следствие: она больше не хочет людей.
Она хочет лишь город, похожий на забитое
древностями дно,
И шуршание бумажного эха, бумажного секса,
бумажных идей.

Только кому это нужно – так глубоко, так больно! –
Быть ласточкой, поверх звука уходящей в полёт,
Быть хирургом, слышащим сердце по ресницам?
Довольно
И того, чтобы просто смотреть на женщину.
И как она преобразуется в лёд.

**ОТРЫВОК**

...Работа кончается. Она
Снимает туфли, надевает носки.
Её тянет на улицу, в лапшичную, до дна
Испить вечерний город, соевый воздух, но улицы
слишком узки.
Но улицы слишком узки. И давят дома на виски.

И она остается под лампой, в тиши,
В медовом мареве кухни, в вареве пустоты.
Жареный лук, картошка, чай. Вокруг – ни души.
Ни души человеческой. Только – коты.
Котики. И кино. И время. И чай – остыл.

Так проходит год. Уходит год. Навсегда
Вытягивается прочь, как волос, как рисовая
лапша,
Как нить в руках кружевницы. Из чайника
льётся вода,
На сковородке – овощи. Надо что-то решать.
Решила бы, всё изменила. Осталось сделать шаг.

И – точно в клею, увяз,
Застыл, замедлился, обледенел
Всё видящий внутренний глаз. Похожий на дом.
А дом, похожий на глаз,
Где-то в будущем, вдалеке, побледнел и просел.
И будущее всё меньше похоже на буквы. И больше –
на снежный пробел...

* * *

Окнами в окна – словно грудь давить на грудь.
Нужен хороший бампер, чтобы терпеть эту муть.
Шторы – как шелуха. Их уже не вернуть.
Жалюзи слиплись. Надо бы что-нибудь
Жёсткое. «Сходишь на рынок, там посмотри,
не забудь».

Дорогомиловский красному рад.
Красному мясу, разбитому вдребезги наугад.
Красным носам, вдыхающим жирный,
как карбонад,
Воздух, похожий на жилы, нежели просто на смрад.
Красным губам, окликающим красные уши:
«Брат!..»

Нет товаров для дома среди нашинкованных тел.
Может, тебе не сюда, может, в другой отдел?
Да, тебе не сюда. Только ты не успел.
Встал и стоишь, как столб. Индо, бедняга, взопрел.
Точно ангел на шпиле. Чёрен. И сиз. И бел.

Жёсткое нужно, помнишь? – Спрятаться от людей.
Латы? Здесь только лапы. (Не убий, но убей.)
Здесь только клювы и когти. И рога – погрубей.
«Вот, пожалуй, рога. Дай пострашней, поострей.
В общем, рога упакуй. Можно в пакет, без затей»...

Отныне – рогами в окна! Скрюченным пальцем
в глаз.
Больше, сосед, не смотри. И не думай о нас.
О том, что в доме напротив мы творим без прикрас.
Спать ложись от греха. Сыт, тосклив и чумаз.
Ночь исцелит нас всех. И не в последний раз.

**Николай БОРСКИЙ, Мытищи,
Московская обл.**

* * *

Мне откликаться любят тепловозы,
Когда махну с просёлка им рукой,
Тайком уйдя за плёсы и берёзы
В глухой тоске, хоть битым волком вой.

Летят вагоны вихристо и гулко
И в пору бед, и в мирные года...
Трудяга наша, русская чугунка,
Родная мне с рожденья навсегда!

Из края в край, не жаждущие славы,
Глодают даль, на странствия легки
Почтовики, плацкартные составы
И ломовых кровей товарняки.

Сильны моторы, свёрстаны маршруты,
Как трибунал, строги диспетчера,
В рабочей сетке точность до минуты
Над персональным росчерком пера.



И если вам порой бывает грустно,
Бросайте всё, ступайте на простор
Смотреть, как мчит по синим рельсам грузы
Железный конь, скача во весь опор.

Отсалютуйте поезду в дороге!
Наверняка услышите гудок.
Глядишь, и вы уже не одиноки,
И машинист в пути не одинок.

Вмиг станут проще вечные вопросы,
И уврачает душеньку покой –
Ведь откликаться любят тепловозы,
Когда с просёлка машешь им рукой.

* * *

Выйду в сельскую полночь наружу,
Где, как в юности, слышен вдали
Лай собачий, тревожащий душу,
Будто годы мои не прошли.

Будто с первых осенних свиданий
Возвращаюсь, счастливый, домой,
И загадочных звёздных мерцаний
Пью глазами настой неземной.

Восклицалось, леталось, мечталось...
Разве чуял я, пылок и глуп,
Что судьба с этих звёзд начиналась,
С палисадника, с девичьих губ,

Ускользавших, как вешние льдинки,
И доверчиво льнущих опять
Да ещё с козырька восьмиклинки,
Так мешавшего их целовать?

Не вчера ли та встреча сияла?
Потому что сегодня точь-в-точь,
Как тогда – темноты покрывало
И такая же тихая ночь,

То же тайное чувство полёта,
От которого жизнь расцвела.
Юность, россыпь небесного свода,
Лай собачий у края села.

* * *

Выбор есть, когда погони топот.
Выход есть, когда беда впритык.
Правда, как подсказывает опыт,
Выход плох, а выбор невелик,

Если жить не ради блюд и денег,
Не терпеть фортелей подлеца,
Перед сильным не шустрить, как веник,
От невзгоды не терять лица.

Чем в хоромах – лучше под забором
(От неправды, Боже, упаси!),
И честней обобранным, чем вором –
Невесёлый жребий на Руси.

Чтоб в подъезд парадный – без испуга,
Где начальник лютый, как медведь?..
Тяжела житейская наука –
Мне её вовек не одолеть.

Угодить в поэты и пророки
Много проще: надо лишь в тетрадь
Свыше продиктованные строки
Слово в слово честно записать.

* * *

Немного неба, музыки немного –
Хоть воробьиной в тёплом январе,
Где вдоль кустов разбухшая дорога
И влажен снег газонов во дворе.

Замрёшь блаженно – тут же смолкнут звуки.
Шагнёшь – и вновь хрустальный перезвон:
Как сами птицы, не даётся в руки,
Лишь мимоходом дарит радость он,

Чтоб не была Психея одинока,
Когда с рассвета до заката вплоть –
Немного неба, музыки немного,
Божественной гармонии щепоть.

Владимир БОЯРИНОВ, Москва



В НИКУДА

Мой пёс застыл и смотрит в никуда.
За горизонт свергается звезда.
На русском небе что-то происходит,
Что не происходило никогда.

Пёс смотрит в никуда до одуренья,
Являя сверхъестественное зреньё
И, запредельным слухом обостряясь,
Улавливает гибельную связь.

Шерсть на его загривке встала дыбом,
Пасть полыхнула пламенем и дымом.
Поворотись ко мне, он говорит:
«Галактика соседняя горит...»

НЕЗАБУДКИ

По майскому, по солнечному краю
Иду один, грущу и не ропщу,
Иду, и незабудки собираю,
И слово приворотное ищу.

И вот уже на самой кромке поля,
На срезанном безжалостно краю
Я нахожу родимое до боли
И людям незабудки раздаю.

Когда под колокольные погудки
Меня обманет сумасшедший май,
Любимая, ты вспомни незабудки
И никогда меня не забывай.

ПОДОБНО БОГУ

Г. В. Рожкову

Человек родился магом,
Потому что не был Богом
И не цвёл, подобно макам;
Не владел небесным слогом.

Чувствуешь – с какою болью
Лёгкость вещая даётся,
Осенённое любовью
Слово плачет и смеётся?

Посмотри – с какого боку
Сказанное выйдет складно –
И твори, подобно Богу,
По любви и безоглядно!

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Седеющий увалень бурый,
Способный всю зиму говеть,
Укроется собственной шкурой
И спит беспробудно медведь.

А нынче: весна на пороге
В цветах несказанной красы!
Медведь разоспался в берлоге,
Не слышит раскатов грозы.

Всё слаще и всё безответней
Поёт соловей до зари.
И дуб зеленеет столетний,
И тихо гниёт изнутри.

Обрушится дерево вскоре,
Уже не проснётся медведь...
Природе и горе не в горе,
Природе постыдно вдоветь.

УЛЫБКА

Сердце зашло, суматошно забилось,
Захолонуло вконец,
Взмыло над пропастью, остановилось...
В полночь приснился отец.

Будто и не было вовсе погоста,
Не поминали навзрыд –
В полночь приснился: кедрового роста
Златом загара покрыт.

Я подхожу, он как будто не видит –
Обережённый судьбой,
Батя кровинку свою не обидит,
Не уведёт за собой.

Он улыбается! Проблеск улыбки
Ищет на ощупь ответ –
И на прозрения, и на ошибки
Льётся лазоревый свет.

Может быть, может быть, светом *оттуда*
Мир изначально спасён?
Может быть, это и вовсе не чудо,
Может быть, вовсе не сон?

Лариса ВАСИЛЬЕВА, Москва



* * *

Век окончился.
Умер до срока.
Незаметно для мира утих.
Не извлек никакого урока
изо всех приключений своих.

И никто на земле не заметил,
как нас новый восход посетил,
и никто его песней не встретил,
не приветил и не просветил.

Посмотри, как он ловок и молод,
как лукава повадка его;
что в глазах полусомкнутых холод –
это так, пустяки, ничего.

Металлический смех – наносное,
и случайное – стершийся лик.
Отливает щека желтизною?
Это солнца назойливый блик.

Мы достойны его.
Как награда,
как возмездие, век подойдёт.
Он всё знает – что надо, не надо,
и где надо черту подведёт.

* * *

Судьбу под корень подкосила,
взметнула душу к небесам,
любовь – отчаянная сила,
где счастье с горем пополам.

Всегда раскованно богата,
всегда рискованно бедна,
любовь ни в чём не виновата,
всему виновница – она!

* * *

Нет, извольте, объяснитесь –
в первый раз,
в последний раз...

Почему Вы мне не снитесь?
Потому ль, что помню Вас,
ежедневно, ежечасно
помню – с солнцем наравне.

Вы не снитесь мне напрасно:
всё возможно лишь во сне...

* * *

Мне говорят:
– Живёшь в покое,
а для стихов нужна борьба.
Не понимаю – что такое
благополучная судьба,

ужели дом, отцы, и дети,
и взгляды, полные тепла,
все эти ласковые сети –
отяжелевшие крыла?

Иль плотные обложки книжек,
уверенности твёрдый шаг,
иль дружбы преданной излишек?
Хоть это вовсе не пустяк,

но не имеет отношенья
к огню отчаянных минут,
когда ночных светил движенья
тебя в неведенье зовут.

* * *

Погналась за тем, что не сбылось
по вине, по гордости моей.
Посмотрел проникновенно лось
на меня из-за густых ветвей.

Я прочла его глубокий взгляд,
как всему, что будет, приговор.
Лиственницы выстроились в ряд,
как солдаты выстрелить в упор.

Возвращалась с коробом потерь –
всё, как есть, надежды не сбылись.
И ушёл в лесную чащу зверь.
И деревья тоже разбрелись.

Виктор ВЕРСТАКОВ, Москва



ГОРОДУ И МИРУ

Написать бы стихи ни о ком,
ни о чём, – просто несколько строчек,
что я был с этой жизнью знаком,
что испил её. Далее прочерк.

Но получится вновь о себе,
о любви, о войне, о похмелье,
о счастливой печали в избе,
о тоскливом столичном веселье.

Я заброшу стихи на чердак,
разобью допотопную лиру.
.. Ни о чём, ни о ком, просто так,
ни Москве, ни деревне, ни миру.

5 июля 2017

* * *

Пусть мы дрянь на взгляд со стороны,
нет среди нас ни воина, ни гения, –
мы отблеск поколения Войны,
не более того, но и не менее.

Набросок, эхо, тусклое пятно
отцовского бушующего пламени, –
среди прочих поколений всё равно
мы ближе всех к простреленному знамени.

Войнушки наши не были Войной,
победы были бледными победами.
.. А что мы натворили со страной –
по дурусти мы даже и не ведали.

18 июля 2017

ТАТУИРОВКА

Потускнели друзей имена,
пожелтела та фотобумага,
где за кадром бушует война,
а на лицах блистает отвага.

Победили, семью завели,
кто в сражениях не полегли,
и война за любовью, за бытом
стала снимком в альбоме забытом.

Помню, лет этак в шесть или пять
я смотрел на отца, как неловко
он пытался, чтоб маму унять,
известить с пальцев татуировку.

Мать зудела тогда на него,
обзывала аж вором в законе
за четыре-то буквы всего,
имя друга военного: Лёня.

И отец добросовестно тёр
эти буквы пористой пемзой,
прикрываясь улыбкой нетрезвой,
словно бы всамоделитный вор.



И остались четыре пятна
на отцовской израненной коже.
... Век другой, и другая война,
остальное всё будет похоже.

9 сентября 2017

ВАЛТОРНА

Дирижёр городского оркестра
в артистической горькую пьёт,
из футляра трубу достаёт,
обнимая ее, как невесту.

Да, прекрасна и с виду покорна,
но жениться на ней не судьба,
потому что упряма валторна –
королевская эта труба.

По-змеиному скручено тело,
сто изгибов и тыща колец.
Целоваться до крови умела,
ну а всё ж не пошла под венец.

Он не знает, когда изменила,
но она изменила ему.
И ушёл он в оркестр, как в могилу,
в дирижерскую злую тюрьму.

Вот стоит и ладонями машет,
разгоняя виденья и страх:
пусть народ погрузит и попляшет
на танцульках и похоронах.

А потом в гортеатре, за сценой
в артистической пьёт допоздна.
И прощает валторне измену,
и ему отдаётся она.

22 сентября 2017

К ИСТОРИИ РУССКОГО КЛИМАТА

*«Бог на стороне больших батальонов»
Наполеон*

Стояло небывалое тепло,
когда явилась рать Наполеона.
Зато дороги ей не развезло,
шли без помех большие батальоны.

До холодов притопали в Москву,
пожаром раскалённую, пустую,
где было негде приклонить главу,
еду найти хоть самую простую.

Рванулись из Москвы на хлебный юг,
а там народ восставший и Кутузов.
Затем природа взбунтовалась вдруг
и стужею ударила французов.

Свалили поражение на мороз,
на зиму роковую: лишь пред нею,
мол, побежали...

Если же всерьёз:
две следующих были холоднее.

26 сентября 2017

У ОЗЕРА

В деревне избушка стояла,
в ней жил офицер отставной.
И дела ему было мало,
что станется с бывшей страной.

Он дрался в горах Гиндукуша,
он Ближний Восток усмирял,
губил свою грешную душу,
а всё-таки не потерял.

Но скоро держава родная
пошла добровольно ко дну.
– Такую страну я не знаю, –
сказал он и бросил войну.

Уехал в деревню глухую
у озера между лесов,
забыл там про службу лихую
и душу закрыл на засов.

Он с лодки железной рыбачит,
он русские песни поёт.

А если случайно заплачет,
то выпьет, и это пройдёт.

7-8 октября 2017

Алексей ВИТАКОВ, Москва



СНЫ ВЕТЕРАНА

Я снов давным-давно уже боюсь.
В них шепчутся медсёстрами берёзы.
Кричит губами мамиными Русь –
Распухшими, как будто от мороза.
И я в них навзничь падаю в росу
И вижу, как, взрывая тьму зарницей,
По небу павших воинов несут
Куда-то перелётные жар-птицы.

Там матерятся ротные в чаду,
Там цедит смерть ребячью кровь из блюдаца,
Там я за командирами иду,
Иду, иду, иду... чтоб не проснуться.
Кричу – и криком полнятся поля.
Там с дедом мы плечом к плечу в атаке.
И вижу, как берёт меня земля,
Ещё не разучившегося плакать.

Там сын стоит у Вечного огня.
И держит, держит знамя осторожно.
Фигурой так похожий на меня,
Глазами так на прадеда похожий!
Мы смотрим друг на друга сквозь года.
Мы смотрим и не можем насмотреться.
С холодным шлейфом падает звезда
Ему на грудь, нет... всё-таки на сердце.

Я снов давным-давно уже боюсь:
В них шепчутся березами медсёстры,
Глазами мамы выплакалась Русь,
Глазами сына смотрит Русь на мёртвых.
Там ангел встал у Вечного огня.
И флаг над ним приспущен и прострелен.
Жар-птица ввысь несёт, несёт меня –
Над ангелом в простреленной шинели.

* * *

То-то будет в судьбе хромоногой.
Сядешь тихо, где угол стальной.
С чем останешься? Только с дорогой,
С той последней и самой родной.

Эти страшно избитые фразы.
Что за женщина? Вот ведь вопрос.
Лишь перчатку обронит и сразу
Пустит целую жизнь под откос.

Ничего в этом мире не вечно.
Точно в срок замирало кольцо.
Я в колени твои на конечной
От отчаянья прятал лицо.

То-то было! Жаль, путь этот пройден.
А кругов было вправду не счесть.
Ну, до завтра...
Уже до сегодня...
В центре зала?
Без четверти шесть?

* * *

Кто не сдался, не спился, не слёг по врачам,
Кто ещё верит в память земли,
Выходи на дорогу, вставай на причал,
И, где можешь, пиши: На Берлин!

Будут варвары света идти в галифе,
Поднимая на бравый сапог,
Пыль столетий и пепел аутодафе:
Помни, Запад! Не зарься, Восток!

А трофейным часам – что им дождь или снег!
Ус нафабрен и штык не дурак!
И медаль «За отвагу» горит на стене.
Хлеб тяжёл, словно дедов кулак.

Просыпайся! И будет в цветах голова,
Хвойный ветер с родных берегов!
Будут женщины наши носить в рукавах
Птичьих трели и дым очагов.

* * *

Научи меня по небу гадать,
Лепестки обрывая у звёзд.
Только, Господи, не дай мне устать
От распутицы и запаха гроз.

Научи меня гадать по ветрам,
Вырывая у дождя седину.
Только, Господи, поменьше бы ран
От того, с кем ожидаешь весну.

А ещё меня гадать научи
По огню, воском залитых встреч,
Только так, чтоб в круг горячей свечи
Собиралась бы забытая речь.

Евгений ВИТКОВСКИЙ, Москва



MARCHE FUNÈBRE. ВАГОН ДЛЯ УСТРИЦ. 1904

Этот чудный человек, этот прекрасный художник, всю свою жизнь борющийся с пошлостью, всюду находя её, всюду освещающая её гнилые пятна мягким, укоризненным светом, подобным свету луны, Антон Павлович, которого коробило всё пошлое и вульгарное, был привезён в вагоне «для перевозки свежих устриц» и похоронен рядом с могилой вдовы казака Ольги Кукареткиной. Это – мелочи, дружище, да, но когда я вспоминаю вагон и Кукареткину – у меня сжимается сердце, и я готов выть, реветь, драться от годованья, от злобы.

Максим Горький

Когда устрицы флексбургские, когда остендские, а когда крымские. Когда лососина, когда сёмга... Мартовский белорыбий балычок со свежими огурчиками в августе не подашь!

Владимир Гиляровский

Не пела птица над гнездом –
Там не было гнезда.

Льюис Кэрролл

Сюда ни Плотника не звали, ни Моржа.
В России дорога подобная закуска.
Первопрестольная, от голода дрожа,
североморского ждала вкусить моллюска.

Однако городу не оказали честь,
Отвергли устерса в угоду чайке дерзкой.
Восплакала Москва, что не дали поесть,
и по Кузнецкому пошла на Камергерский.

Чрез Домниковскую, на коей бардаки
рыдали истово, что драматург отыде,
печально створками стуча, на Лужники
угрюмо поползла толпа тридакн и мидий.

Не чайки реяли, но тысячи ворон,
чей гомон то густел, то становился жидок,
и, не тревожимы движеньем похорон,
глазели гребешки на томных сердцевинок.

И монастырь отверз тяжёлые врата.
Тоскливо отрешась обетований смутных,
опричь рыдания ничем не занята,
туда вошла толпа жемчужниц перламутных.

Степенно двигался кортеж вдовцов и вдов
стараясь не спешить и не пороть горячки,
и погребли творца «Медведей» и «Садов»
близ Кукареткиной, близ Ольги, близ казачки.

Ужель виновна та казацкая вдова
в том, что преставилась восьмью годами ране?
Но возмутилась вся чиновничья Москва,
что рядом погребён создатель «Дяди Вани».

Да не поставят «уд.», а только «отл.» и «хор.»!
И вот – продолжился развёрнутый сценарий,
согласно коему над гробом грянул хор
трепангов, гребешков, рапанов, кукумарий.

На всех довольно тут, не надо дележа!
К чему искать врага в другом устрицелове?
И Плотник втихаря приветствовал Моржа,
держа лимонный сок и уксус наготове.

Стоял июльский зной, но солнечных лучей
не видела толпа во погребальной грусти
и слышать не могла возвышенных речей
о древних королях и о цветной капусте.

Но голоса высот не вняты для низов.
Улитке вечную не разрешить задачу.
Морские блюдечки не ринулись на зов,
но съели и Моржа, и Плотника впридачу.

Великой сытости потворствовала лень.
Моллюски разбрелись, нимало не замешкав.
А был ли плотник тот, а был ли тот тюлень?
Ответь нам, Алексей, ответь великий Пешков!

Кончается рассказ, и поезд взял разгон,
всю логику круша в сложившейся легенде,
запломбированный уже летит вагон,
чтоб устриц отвезти из Лужников в Остенде.

BELLUM OMNIUM CONTRA OMNES. 1918

Ядовитые газы германской войны.
Дирижабли, прививки, котлы, суррогаты.
Как мы были в те годы бездарно бедны!
Как мы были в те годы бездарно богаты!

То цилиндр, то берет, то картуз, то чалма,
и ходили б часы, только сломаны стрелки.
Эту кашу Европа варила сама,
и она же в итоге облизжет тарелки.

Если жалко алмаза – сойдёт и корунд.
Если жалко ведра – так сойдет и бутылка.
Первой скрипкою будет какой-нибудь Бунд,
и дуэтом подхватит какая-то «Спилка».

То ли хлор, то ли, может, уже и зарин.
Миномёт на земле, а в руке парабеллум.
Аспирин, сахарин, маргарин, стеарин
и пространства, где чёрное видится белым.

А ещё есть Верден, а еще Осовец,
и плевать на эстонца, чухонца, бретонца,
а ещё есть начало и, значит, конец –
все двенадцать сражений за речку Изонцо.

А ещё ледяное дыханье чумы,
а помимо того – начинает казаться,
что на свете и нет ничего, кроме тьмы,
комбижира, кирзы и другого эрзаца.

И ефрейтор орёт то «ложись!», то «огонь!»,
и желает командовать каждая шавка,
и повсюду Лувен, и повсюду Сморгонь,
и не жизнь, а одна пищевая добавка.

И кончается год, а за ним и второй,
а на третий и вовсе отчаянно плохо,
а Россия обходится чёрной махрой,
а Германия жрёт колбасу из гороха.

И события снова дают кругалю,
потому как нигде не отыщешь в конторах

ни селитры, ни серы, ни даже угля,
и никто не заметил, что кончился порох.

Полумесяц на знамени бел и рогат,
окровавлены тучи, и длится регата,
и по Шпенглеру мчится Европа в закат,
незаметно пройдя через пункт невозврата.

Игорь ВОЛГИН, Москва



* * *

На изломе жизни, на излёте,
у ларька, где жмутся алкаши,
если хочешь – думай о работе,
хочешь – о спасении души.

Что работца – ну её в болотце:
без неё-то дел невпроворот.
А душа, коль есть, она спасётся,
если только дать ей укорот.

Обозри своим блудливым оком
этот вечно длящийся бардак.
Постарайся мыслить о высоком,
а о низком – мыслишь ты и так.

Гордый, как в изгнании Овидий,
и непогрешимый, как дебил,
вспомни лучше тех, кого обидел,
вспомни всех, кого недолюбил.

Мой двойник, мой двоечник угрюмый,
собутыльник, старый раздолбай,
о стране, прошу тебя, подумай,
задний ум со скрежетом врубай.

Человеком ныне будь и присно –
сапиенсом, если повезёт.

Может быть, любезная отчизна
от тебя лишь этого и ждёт.

И она, цenia твой подвиг ратный,
двинет по дороге столбовой.
И простит мне стих нетолерантный,
запоздалый, злобный, любовой.

* * *

Ну что – опять корейская война?
...Мой первый класс – тогда, в пятидесятом,
когда застыл в полшаге от рожна,
уставший ждать нерасщеплённый атом.

Артиллеристы, Сталин дал приказ!
И холодом пахнуло с океана,
и загремел услужливый фугас
немедля – от Сеула до Пхеньяна.

Курился в сопках утренний туман,
менялась историческая сцена –
и оттеснял негодный Ли Сын Ман
любезного нам с детства Ким Ир Сена.

Тот пятился надеждам вопреки!
Но грозные, как воины Саула,
вступали в бой китайские полки,
нависнув от Пхеньяна до Сеула.

И сам Макартур ёжился, как бздун,
и шли когорты, сушу половина,
и руку простирали Мао Цзедун
на Тяньаньмэнь – от *яня* и до *иня*.

...Что мне Гекуба, что Гекубе я –
в слепой ночи, в предвестье выбраковки,
пока весы подьёмлет судия
сквозь снежный вихрь на голой Маяковке.

Но всё нейдут чудные из башки
названия, что мельче нонпарели,
куда в азарте тыкала я флажки,
к тридцать восьмой пробившись параллели.

...Зачем тебя, страну мильонов роз,
и грёз моих, и нежности обитель,
богиню – соимённицу угроз
не изваял какой-нибудь Пракситель?

Чтоб высилась ты твёрже и прямей
над той землёй, что в ненависти слеpla,
и чтоб не мучил памяти моей
чуть слышный шорох жертвенного пепла.

* * *

Выйдя к залу многоглазому,
очи хмурые воздев,
научу-ка уму-разуму
этих юношей и дев.

Мол, со мною не забалуешь –
хоть не Тур я Хейердал,
но, однако, не столь мало уж
я в сей жизни повидал.

Зрел поэта пригвождённого
враз к позорному столбу.
Видел маршала Будённого –
не на лошади, в гробу.

Хоть и тема это личная,
не забыть до крайних дней,
сколько стоила «Столичная»,
килька баночная к ней.

Помню Мао я и Сталина,
и Никиты разбалдёж...
– Что ты, старая развалина,
охмуряешь молодёжь?

Что им фатеры и муттеры
и в груди чадящий уголь,
если есть у них компьютеры:
жаждешь истины? Погугль!

Не спастись уже Афонами –
вместо этой чепухи
офигенными айфонами
отпускаемы грехи.

На просторах милой Родины,
богоизбранной страны,
нам ни Пушкины, ни Одены,
ни Шекспиры не нужны.

...И, услышав эти доводы,
я в пустыню подался,
где меня кусали оводы,
больно жалила оса,

где любое насекомое
причинить старалось вред.
...И младое, незнакомое
хототало мне вослед.



* * *

Ну что ж, и я умру когда-то,
мой милый друг.
И станешь ты персоной грата
в кругу подруг.

Входя в любое помещение,
не без причин
ты станешь повергать в смущенье
сердца мужчин.

...Река забвенья будет литься,
качая плот.
И звёзды будут шевелиться
и над, и под.

И неба этого бездонней
не знал никто.
И жизнь твоя, как на ладони,
вся – от и до.

А там вдали, за листопадом,
на склоне дня
тебя приветит кто-то взглядом,
кто знал меня.

И будут дни тянуться долги
с тоской и без.
И, может, вновь беднягу Порги
полюбит Бесс.



Виктор ВОЛОДИН, Брянск



* * *

Запутавшись в оборванных постромках
Упряжка встала; сани – набекрень.
Душа моя!
Блуждай себе в потёмках,
Когда не мил проклюнувшийся день.

Свобода? Смута? Чёрта ли нам в этом!?
Оваций новых не обманет гром.
Так в организме вдруг, вином согретом,
Уже заложен утренний синдром.

И жизнь дала бы свежую премьеру,
Да у актёров скулы сбиты в кровь,
И жалко мне утерянную Веру,
И жалко и Надежду, и Любовь.

И всё ж утрём предательскую влагу.
Разворошим заветную стопу.
И карандаш вострится на бумагу,
Как мышь вострит на манную крупу.

* * *

А прежде, чем мы, наши руки влюбились.
Сомкнулись ладони, и пальцы сцепились.
И нежно запястья друг к другу припали,
И линии жизни почти что совпали.
И полнились счастьем припухлые вены,
И были блаженны соприкосновенья.

И соком смородины губы марались,
И ягоды в круглый бидон собирались.
Ты – справа;
Я – слева.

Блуждала полярность

Сплеталась следов и судёб
 папиллярность
 В цветные узоры. В них небо синело,
 В них солнце сияло
 И лето звенело.

* * *

Третий день – невезуха:
 за стенкой чуть свет
 Глухо бухает, словно в забое.
 Что-то лепит соседка, бухает сосед,
 Очищая сосуды запоем.

Не смотря на прискорбные эти дела,
 Всё ж и радости толчико вышло:
 К нам влетела на кухню
 жужжалка-пчела
 На вареники с пряною вишней.

Прибыла из заоблачных Божьих высот,
 От медовых наполненных граней,
 Из дебрянских ещё старовечерских сот;
 От младенческих воспоминаний.

Села к блюдцу,
 где капнул сиропа отвар,
 На фарфоре рубином играя.
 Хлеб да соль тебе, гостя,
 да сладкий нектар!
 Угощайся, моя золотая!

Ты – важна!
 Ты – царица в заморской парче!
 Остывает июльский солярый.
 И резвятся пылинки в закатном луче,
 Словно стайки воздушных скалярий.

Александр ГАБРИЭЛЬ, Бостон, США



ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Она до сих пор приметлива и глазаста.
 Никто и не скажет, что ей пару лет как за сто,
 когда она варит борщ и торчит на грядке.
 И ей до сих пор хотелось бы жить подольше:
 в порядке её избёнка в районе Орши,
 и сердце в порядке.

Девятое мая – в нём красных знамён оттенки
 и, рдея звездой, висит календарь на стенке,
 и буквы на нём победно горят: «Са святам!».
 А в старом шкафу в прихожей лежит альбом:
 в альбоме отец, который канул в тридцать восьмом,
 и муж, который сгинул в тридцать девятом.

Над дряхлою сковородкой колдуют руки,
 вот-вот же приедут сын, невестка и внуки,
 по давней традиции в точности к двум, к обеду.
 Хвала небесам за непрерыванье рода.
 И ежели пить за что-то в сто два-то года,
 то лишь за Победу.

Как прежде, вселенских истин творя законы,
 висят над старинной печкою две иконы,
 без коих мир обездвижен и аномален.
 А праздник идёт, оставаясь под сердцем дрожью...
 Скосив глаза,
 улыбаясь,
 смотрит на Матерь Божью
 товарищ Сталин.

ВРЕМЕННЫЙ

Я временщик, коль посмотреть извне,
 и сердце всё, как есть, принять готово.
 Как ни крути, оставшееся мне
 незначимей и мельче прожитого.

* * *

Словом, как посохом, шаришь над бездной.
Хаос расступится. Хляби уйдут.
Нас ещё спросят о Родине бедной.
Вспомнят. К ответу за всё призовут.
Есть ли в запасе весомое слово,
Спелого, крепкого хлеба кусок,
Соль от земли, от основы основа,
Горлу глоток и осколок в висок?

* * *

Словом, как посохом, шаришь над бездной.
Хаос расступится. Хляби уйдут.
Нас ещё спросят о Родине бедной.
Вспомнят. К ответу за всё призовут.
Есть ли в запасе весомое слово,
Спелого, крепкого хлеба кусок,
Соль от земли, от основы основа,
Горлу глоток и осколок в висок?

* * *

И где ж она, небесная Россия?
Навеки выбыла из бытия?
Ни Богоносца нету, ни Мессии.
А на поминки – зелье да кутья.
Бескрайняя холодная пустыня.
Мотив монгольский затянуть или завывать?
Видения про Бога-Духа-Сына.
Про широту и вольницкую прыть.
И где ж она хоронится-таится?
Вот разве в Слове? Но родная речь
Блажит, юродствует, кощунствует, глумится.
Отказывается неспешно течь.

* * *

А, в сущности, всё дело в языке.
Ты скажешь: «зареве» и заревёшь белугой.
Почуешь даль и голос вдалеке
Напомнит полночь и разлуку с другом.
Ты выйдешь на реку и вспомнившей рукой
Коснёшься острой и прямой осоки.
Высокий берег и такой покой,
Что грезить тянет только о высоком.
Ты скажешь: «смута» и сойти с ума
Совсем не трудно, коль на сердце смутно.
Так наша речь рождается сама –
Определяя жизнь ежеминутно.

* * *

Ты пойми: только почва и влага
Воскрешают зерно. Только твердь
Остаётся. Истлела бумага.
С нею слово торопится: «смерть».
Нечем жить, говоришь? Это – много.
Только Слово, а в Слове – Господь.
Только речь остаётся у Бога.
Ну, а нам? – Воду в ступе толочь?
Только словом живёшь точно кровом.
И под бременем давней вины.
Божий Свет через Слово дарован.
Только с ним все концы сведены.

* * *

За бляньем овец, за тяжким стоном
Никто не услышал Благою Весть.
Захлёбываясь колокольным звоном,
Латает родина оболганную честь.
А Он прошёл незримо, молчаливо
Сквозь бытие и сохранил свой мир.
Неузнанный толпою сиротливой.
Хлеб и вино по-братски разделил.
Кто это был? Зачем? Что это было?
Привыкли мы не верить и терпеть.
Гораздо легче знать, что ждёт могила,
Чем верить в невозможность умереть.
Суда не видно. Тонет всё в печали.
Рябина, как запекшаяся кровь.
Ты жажду зельем утоли в начале.
А на закуску Агнца приготовь.
Ни света в деревнях, ни урожая.
И ближний сторонится, точно тать.
Обильный голод без конца и края.
А Он молчит и чует Благодать.

Александр ГЕРАСИМОВ, Москва


* * *

Живу, как и все, в хомуте суеты:
Вперёд, человекобукашка!
А дочке сегодня приснились цветы...
Опять! И тюльпан, и ромашка!

Спешу на работу, с работы – домой...
Делишки, пробежки, одышка...
А дочка сказала, крутя головой,
Что больше она... не малышка!

Оно – несомненно! Заметно трудней
Таскать её на каргашках...
А дочка, конечно же, папы – умней,
Хотя и похожа в замашках.

Да, надо признаться: я счастлив вполне!
И что мне цейтнот и цунами?!
Ведь дочка смеётся: «Летала во сне!
Как бабочка! Над цветами!»

Мне скажут: «Рефлексия и балаган,
А сам сочинитель – олух...»
Но ночью я видел ромашку, тюльпан
И... очень красивый подсолнух!

**ВОСПОМИНАНИЕ ИЗ ДЕТСТВА.
ВЗРОСЛЕНИЕ**

*Памяти отца,
навсегда оставшегося в 2016 году*

В эпоху, когда ещё про мобильник
Не знали мы все до поры,
Отец заготавливал чернобыльник
На склоне у Белой горы...

А я из кроличьей шапки-ушанки
Глядел и запоминал,
Как он, выбирая потолще палки,
Покуривал. И ломал

Растущий по краю снежного поля,
Склоняемый долу, бурьян...
Разгоряченный без алкоголя.
Задорен, весел, румян...

Чтоб после, на кухне, на половинки
Ножом щепить сухостой
И, выковыривая личинки,
Готовить прикорм простой

Для тихой, медленной, медитативной
Подлёдной ловли плотвы.
(С наживкой этой, весьма активной,
Рыбак переходит «на Вы»...)

Мороз покусывал нас буквально,
Как будто сбежал с цепи.
Но папе было тогда нормально,
Ведь не было тридцати...

Ко мне на санки мы клали хворост
Уже без сухой листвы.
И на морозце позванивал голос
Про то, как живут клесты:

Про то, как кормят птенцов зимою,
Про то, что им вьюга – мать...
Я был поражён (и сейчас не скрою)
Их силами выживать.

Судьба пернатого – не чужая!
И папа – чисто Тартюф –
Давал спектакль, изображая
Клестов и их редкий клюв...

Он пальцы скрючивал и позывки
Копировал враз: «Кле-кле!»
А после мы шли, как уставшие сивки,
По полю, под гору, к реке...

По-над сугробами вьюга выла...
А дома нас ждал обед.
Я шёл за папой, чтоб легче было,
Ступая за ним след в след...

Вокруг – величественно раздольно!
Внутри же – испуг голосил:
«Идущий по следу – даже невольно –
Лишает прошедшего сил...»

Вот почему-то эта примета
Цепляла, ум бередя...
И я на себя накладывал вето,
На иноходь переходя.

И, не вставая в следы от папы,
Меняя шаги на бег,
Я двигался далее некультияпо,
В ботинки сгребая снег.

Пусть папа будет большим и сильным!
Судьба, не тащи в поворот!
Мы шли бы так же, под небом синим,
Но только наоборот...

И я бы делал побольше лунки,
Подстраиваясь шагам...
Но никогда уж такой прогулки
Не выпадет больше нам.

Идут мужики ловить на мормышку,
Хоть зимы уже не те.
Клесты, вышелушивающие шишку,
Всё так же кричат: «Кле-кле»...

Да, в мире подлунном – ничто не ново,
И нет у него беды.
А папа лежит теперь в Лемешово...
В снегу – лишь мои следы...



Марина ГЕРШЕНОВИЧ, Дюссельдорф,
ФРГ



ГОРОДСКОЙ РОМАНС

Последняя чашечка кофе с последней монетой
причалит к столу... Я гляжу на оконный проём.
Пока ещё тело горячим напитком согрето,
хотелось бы встретиться в парке с тобой и вдвоём
пройти сквозь осенний развал чёрных веток акаций,
сквозь серый туман дождевой, что почти невесом,
почувствовать наше святое и нищее братство,
коснуться губами щеки и пропеть в унисон
романс «отцвели уж давно хризантемы...»
Как всё-таки страшно... мы были другими три
года назад, горячась,
и словно готовясь назавтра сойтись в рукопашной
за право решать нашу участь и времени часть...
У воздуха в парке такой удивительный запах.
Тем воздухом можно больные сердца врачевать.
И утки бредут на своих перепончатых лапах
к озёрной воде, не пытаясь уже кочевать.
Сдаётся фрегат на пиратскую волю планиды.
Сдаётся внаём чей-то домик в лесу на денёк.
Я тоже сдаю понемногу, теряя из виду
такой непростой и беспечный такой огонёк.
Монета со сдачи ещё не остыла в кармане:
удачи залог, должника неразменный пятак.
И шарф твой пронзительно красный мелькает
в тумане
под сводом аллеи, как в бухте – сигнальный маяк...

БЕЛОЙ СТРОКОЙ

сравнить нельзя живое с неживым
две части целого не созданного нами
так почему же сравниваем розу с ромашкой луговой
закат с рассветом и соловья поющего в саду
с безмолвной птахой с ярким опереньем...

сравнения заводят нас в тупик
суля взамен единственности выбор из множества
две стороны медали не отменяют целостность её
но он сказал: ты лучшая из женщин

ЕЩЁ РАЗ О БАНАЛЬНОМ

Так и будем с тобою мы жить-поживать
и зевать, поутру заправляя кровать,
трепетать, как остатки листвы на кусту,
и любить, заполняя собой пустоту,
будем долго, поскольку инертны.
А ещё, потому что мы смертны.

А когда мы устанем друг другу кивать
в знак согласия, к ночи готовя кровать,
и друг друга во тьме находить и хранить,
в суете оборвав путеводную нить,
к нам с калёным мечом будет послан гонец,
потому что всему наступает конец.
И беспечному пиру, и тризне,
и любви. Как известно, при жизни.

Как растратим мы всё, что нам было дано,
постучит кулачком чёрный ангел в окно.
И придётся открыть ему двери,
в Бога веря, и даже не веря.

Вот тогда разобьётся любовный сосуд
и крылатый гонец нас погонит на суд.
Там и спросят с нас тихо и строго,
угрожая небесным острогом

за любую размолвку, за глупую месть,
за бездушный упрёк, неудачную лесть.
А за счастье, что взяли мы с боем
нам достанется вдвое, обоим.

Я заплачу, жалея тебя горячо
и под меч постараюсь подставить плечо.
И тебе за меня станет больно.
Потому что любил добровольно.

Мы исчезнем, но прежде мы станем малы,
и не будет для нас ни хвалы ни хулы,
и ни тела не будет у нас, ни лица.
Ангел взвесит над пропастью наши сердца.
.....
Хлопнет крыльями, глянет сквозь вежды
и сошлёт нас на Остров надежды.

Николай ГЛУМОВ, Пермь



* * *

Размечтавшись о днях, что хотел воскресить,
Захватив Диогенов светильник,
Средь чердачного мрака сумел различить
Запылённый советский будильник.

Был он ржавчиной тронут. И корпус помят.
Но имперской кириллицей гордой
Мне шептал пролетарский его циферблат
Про железного века когорты.

От толчка он пошёл. Оставался завод
В ржавом сыне железного века.
И открылся мне красного времени ход,
Взрыв снаряда и стон человека.

Три минуты, не более. И – тишина.
Сквозь черёмухи в битом оконце
Тянет пальцы ко мне, как вампирша, луна
В моём пыльном советском загонце.

* * *

Прекрасные русские дали,
Печальные чуть облака
В вагонном окошке сияли
И мне улыбались слегка.

И я, прислонившись к окошку
Большой электрички пустой,
Мечтал, что лечу понемножку
Над ставшее раем землёй.

И знать не хотел, что прибудет
Состав на привычный вокзал,
Что грешный рассудок забудет,
Как в светлом раю побывал.

Но выйду я в хмурое утро
На грязный и пошлый перрон
Суров и спокоен, как будто
Живёт во мне божий закон.

* * *

Воспитанный мамою властной,
Ноктюрны Шопена играл,
Но как-то зимою ненастной
Работать в литейку попал.

Попал... Поглядел... Изумился
Рабочим, печам, проходной,
Пить быстренько спирт научился,
Проточной разбавив водой.

Но сколько ни пил – было мало,
Ведь с каждым палящим глотком
Рапсодия Маркса звучала
И крепла в сознание моём.

И понял, что я – пролетарий,
Что мне невозможно никак
В сегодняшнем русском кошмаре
Не верить в мощный кулак.

И стиснул кулак тот нещадно,
И что-то кричал невпопад,
И даже, представьте, злорадно
К врагам полыхал гневный взгляд.

И так же, как парни другие,
Среди заводских этих стен,
Я понял, что Маркс для России –
Карл Маркс, а не Фридрих Шопен.

* * *

Как в лодке подводный акустик,
И я опускаюсь на дно,
И слышу без гнева и грусти,
Как хлещут соседи вино.

Мне кажется – в тонкие стены
Хвостами чудовища бьют,
Мне кажется – злые сирены
Протяжные песни поют.

Всё ниже спускается лодка,
Всё ближе проклятое дно,
«Когда же закончится водка?» –
Пытаюсь я крикнуть в окно.

Но глушат мой глас обречённый
Шумы те, и долбят в висок,
Но вставлен в мой мозг воспалённый
Тех песен, той боли кусок.

* * *

Ты весь месяц совсем не такая,
Я весь месяц совсем не такой –
Витаминов нам всем не хватает
Напряжённой весенней порой.
И поэтому с мудрой ухмылкой,
Отвергая семейный разброд,
Я кладу осторожно вилкой
Помидорку в твой чувственный рот.

ЛЕРМОНТОВ

Он дал мне, он дал мне такое...
Да что же он, в сущности, дал?
Сечение любви золотое,
Кипящий в крови идеал,
Жемчужные тучки, жандармов,
«Тамару», «Кинжал», «Валерик»...
И каплю дворянского шарма
В мой простонародный язык.

Екатерина ГОРБОВСКАЯ, Лондон, Великобритания



* * *

Он говорит, что там есть речка Остынь,
Он говорит, что там такие звёзды!
Он говорит, что там растёт ракита,
Он говорит, его зовут Никита,



Он говорит, что там полно малины,
Он говорит, что медлить нет причины,
Он говорит, что там ручная сойка...
А я-то знаю: там изба да койка.

ГОСТЬ

...Говорил об огромной Вселенной
И о связи событий и слов,
О неведомой, вечной, нетленной
И загадочной жизни миров,

Говорил, что не может обидеть
Никого, ибо всем в мире друг,
Говорил, что умеет предвидеть
И лечить возложением рук...

Он согрелся, поел. А на город
За окном наплывал полумрак.
Он ослабил мучительный ворот
И повесил на спинку пиджак.

И опять, и опять, не смолкая,
И как будто бы даже не мне,
А кому-то, кто всё понимает,
Но скрывается в тёмном окне –

О великом напряге с деньгами,
О какой-то жестокой игре
И о том, что не выбрался к маме
В сентябре, октябре, ноябре,

И о том, как непросто таланту,
И о том, как он всем отомстит,
И о том, как ему практиканты
Вырезали аппендицит...

А к полуночи, пьяный, он плакал,
Всё твердил, что любовь – это храм,
И стихами от первого брака
Рвал мне сердце напополам.

* * *

Это что там у вас, не пойму, на мольберте –
то ли призраки жизни, то ли признаки смерти...
Это чьи силуэты размывают гуашь?
Я всегда говорила: люди портят пейзаж.
Люди портят идею, люди портят игру...
Пусть их лучше не будет. Можно я их сотру?
Или лучше давайте, бросив тень с колокольни,
мы их просто закрасим, чтоб не делать им больно.

ПОТОК СОЗНАНИЯ

Сколько же вас народилось от блуда и похоти,
сколько же с вас понасыпалось зуда и перхоти...
И хранит вас Господь, сотворивший вас, видимо,
походя,
забирать не спешит и всегда это делает нехотя.

И перескакивая с пятого на десятое,
потому как все мысли мне кидают довесками,
вот если бы я была такой женщиной, как Ахматова,
я не смогла бы дружить с такой женщиной,
как Раневская.

* * *

Простите, но вы мальчик или девочка?
А то со мной уже бывали случаи.
Не дале как. Одна такая Евочка
мне выдала скупую, но горячую
про то, что никакая он не гомо,
и что-то там про лажу с хромосомой.
И сколько ему мама ни велела
считать своим своё чужое тело,
он – Ева, он Любовь, Надежда, Вера...
(на шпильках 43-го размера).

Мне выел мозг за вечер Вера-Ева.
Да, я согласна: девочки форева!
И хочется стонать убитой чайкой,
когда они сидят за стойкой стайкой
и льют неправду из бокальчиков
за подчеревочек.
Но всё равно я больше мальчиков,
чем девочек.

31.07.2016

* * *

Часы прабабки кукуют глухо.
В воздушных замках тепло и сухо.
А город полон сплошных дождей,
Ничейных кошек, чужих людей...

...Был город пасмурен, зол и сир,
И было в городе всё не так...
А я мечтала исправить мир,
Но, слава богу, не знала, как.

* * *

В ночь со вторника на вторник
 мне приснился прав поборник.
 Он качал мои права,
 объяснял, что дважды два,
 прижимал меня к себе,
 призывал меня к борьбе –
 против тех, что недодали,
 против ветра, против пут...
 и за тех, кого попрали,
 и кого ещё попрут...
 И срывались в небо с крыши
 каждый раз при слове «Кыш!»
 две больших летучих мыши
 и летающая мышь.

04.09.2016

* * *

О нет, он не впадёт в ступор
 Когда она войдёт в штопор
 И будет всё у них – супер
 Но это – из других опер
 Пока я здесь, на мне – висни
 Насвистывая марш Верди
 В какой-нибудь другой жизни
 Не будет никакой смерти

* * *

Нас, живых, поменяют на мёртвых,
 Нашу сказку расскажут не так
 Незнакомые люди в двубортных,
 Неприятных для нас пиджаках.

Наши дети родят наших внуков,
 И на Землю опустится день.
 Самых лучших сыграет Безруков.
 Вот такая, товарищи, хрень...

* * *

Сердце – в осколки
 не более боли.
 Жалко у пчёлки,
 а вольному воля.
 В раю и враньё
 станет белое-белое.
 А сердце – моё,
 что хочу, то и делаю.

Александр ГОРОДНИЦКИЙ, Санкт-Петербург



ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО (песня)

Когда вдруг замолкает актёр и поэт,
 Ни защиты ему, ни спасения нет
 От посмертных наветов и басен.
 Исполинских внезапно лишившийся сил,
 Государству он сразу становится мил,
 Потому что уже не опасен.
 И артистов эстрадных несметная рать,
 Безуспешно пытаюсь ему подражать,
 Представители нынешней школы,
 Все к нему приплетают поповую нить,
 Будто можно, и вправду, другим заменить
 Этот хриплый и яростный голос.

На губах у поэта застыла печать,
 И опять телевиденье или печать,
 Журналистов отважная рота,
 Все его приукрасить попытаются зря,
 Будто можно, и впрямь, превратить бунтаря
 В верноподданного патриота.
 Он по прежнему «против» всегда, а не «за»,
 Немигающим взглядом он людям в глаза
 С фотоснимков взирает сурово.
 Он любому начальству сегодня не в масть,
 Он бандитам мешает и грабить, и красть,
 И пора запрещать его снова.

ЛЮБИМЫЕ ПОЭТЫ

В покаянии позднем для нас оправдания нету.
 Мы шагали в строю и кричали злодеям «Ура»!
 Виноваты Багрицкий, Светлов и другие поэты,
 Что воспели убийство, как высшую степень добра.
 Виноват Маяковский, что пел революции оды,
 (И себя самого расстрелял он за это потом).

Я и сам их любил в те далёкие школьные годы,
У безумной истории на повороте крутом.
И хоть сами они никого не убили ни разу,
Вспоминая о них, потому ощущаю я грусть,
Что расстрельные после подписывали приказы,
Те, кто в детстве стихи их заучивали наизусть.
Не забыть и до смерти поэзии этой уроки.
Расходились круги по поверхности тёмных зыбей,
И наивных мальчишек учили звенящие строки:
«Если надо, солги», и ещё: «Если надо, убей».
И опять вспоминаю я строки проклятые эти,
И с собою самим продолжаю немой разговор.
Тот, кто звал убивать, перед Богом в таком же ответе,
Как и тот конвоир, что уже передёрнул затвор.

ГОДОВЩИНА НАЧАЛА БЛОКАДЫ

Годовщину начала блокады
Отмечаю осенней порой.
Отблеск зарева под облаками
И сирены пугающий вой.
Там на улице запахи гари,
И блестит позолотой листва,
И деревья на нашем бульваре
Не спилили ещё на дрова.
Там прожекторов синие сети,
И на подступах ближних бои.
Там пока ещё живы соседи,
И родители живы мои.
Пахнет кровью, огнём и железом,
Горьких сводок скупая строка,
Но пока ещё хлеб не урезан,
И воды ещё вдоволь пока.
И прогноз предстоящих событий
Не дано нам узнать наперёд,
Где нельзя из парадного выйти,
Где на улицах трупы и лёд.
Где навязчивый стук метронома
Подтверждает твоё бытие,
И сгорит в феврале вместе с домом
Довоенное детство моё.
И шепчу я, те годы итожа,
Над бетоном кладбищенских плит:
«Не пошли нам, всевидящий Боже,
То, что выдержать нам предстоит».

ПОНЯТИЕ «РОДИНА»

Понятие «Родина» стало с годами сложнее.
Возможно, поэтому вижу всё чаще во сне я
Исакия купол, светившийся в нашем окне,
Костры экспедиций, которыми память богата,

И улицы Питера, и переулки Арбата,
Где жил я когда-то в распавшейся после стране.

Понятие «Родина» стало со временем проще:
Листва под ногами в осенней берёзовой роще,
Те песни, что пели в студенческие времена.
И снежной зимою, и осенью, тёплой и влажной,
С чего начинается Родина, так ли уж важно?
Гораздо важнее, где кончиться может она.

Понятие «Родина» может меняться с годами.
Картинкою стать, над кроватью висящею в раме,
В заморской стране, из которой нет хода назад.
Забывтой строкою, которую в памяти ищем,
И в Царском Селе малолюдным Казанским
кладбищем,
Где в тесной могиле родители вместе лежат.

Понятие «Родина», что это всё-таки значит?
Васильевский остров, где путь, что кончается, начат?
В весенних каналах плывущий от Ладоги лёд?
А, может быть, чувство, что невыносимую болью,
Грызёт твою душу на раны насыпанной солью,
И ноет под сердцем, и ночью уснуть не даёт?

АМИРАМ ГРИГОРОВ, Москва



* * *

Над полустанком сумрак сер,
На шпалах – каплями – мазут,
Под маркировкой «СССР»
Вагоны рыжие ползут.
Они который год подряд
Идут из брошенной страны,
Где остаётся Ленинград,
И стяги, как рассвет красны,
Где плакал мишка из флажков,
Сверкали спутники с небес,

Вода с бетонных берегов
Вращала лопасти на ГЭС.
Они стремятся напрямиком,
К пределу дальнего пути,
А у Харона есть паром,
Чтоб их туда перевезти,
По само дальней ветке, по
Велению стрелок золотых,
Поеду в вечное депо
Я на последнем среди них.

* * *

Бежать сквозь тамбур делом плёвым
Ты счёл, конечно, сгоряча,
Когда посадский с диким рёвом
Прошёл Заветы Ильича,
А контролёрам крыть по маме
Совсем, волкам, не запахло,
И лишь светило над холмами
Встаёт и жарит сквозь стекло,
Ещё цыганки ходят стаей
Культурных граждан разводя
И вечный лёд на окнах тает
Сходя подобием дождя.
А мы уходим с карантина,
В тоске безбрежной, как во тьме,
Когда безногий с концертино
Поёт протяжно о тюрьме.
Гляди, края твои родные:
Бескрайний лес, тоннель, забор
И дуют в тамбуре блатные
Пустив по кругу беломор,
Но где тот свет в конце маршрута,
Осенний морок, майский гром?
Лишь солнце встанет на минуту
Над небольшим твоим холмом.

* * *

Древним бытом, зарытым в минувшем,
Всем как есть, без особых затей,
Пахнет кладбище, к ветке приткнувшись
У железнодорожных путей
Не перина, скамья на вокзале –
Есть ночлег у просторной страны,
И часы не на шутку отстали,
Лет на сто, от перронной стены
Завывая от страха, протопал
Любоед азиатских полей,
Тепловоз – уцелевшим циклопом.
Не осилил его Одиссей,

И не ярый, не громкий, без драки,
Волоча перемызанный груз,
Постаревший народ из Арсаки
Ожидает Советский Союз.

* * *

С. Брелю

Идя с папиросой в продымленный тамбур,
Взгляни как пейзажи просты:
Робеют рябины, грустит топинамбур
И реки ползут под мосты,
Покуда за стенку из катаной стали
Прощальный гудок не проник,
Алтайские ели, сибирские – спали
Уныло бродил проводник
И слушал, как стонут усталые оси
И охает ветхий вагон
Как медленно день оседает, и осень
Бросает деревья в огонь,
И тёплая влага стекает с обочин,
Почувствуй, как ветер затих,
Как мой электрический текст обесточен,
А также лишён запятых,
Гляди, как мелькают заборы и ямы,
Снимая соринки с лица,
Как родина тлеет и огнеупрямы
Её золотые сердца.

* * *

Скажи это лично, что ждать до сих пор не устала,
Пока электричка минует пустой полустанок,
Который крест-накрест кладбищенской сказкой
подёрнут,
И площадь грязна, как советский червонец
потёртый.

Скажу это лично – судьбу не желаю иную –
Пока электричка пустой полустанок минует.
Под лампой желтушной, валун ли,
могильный ли камень,
Лишь чертит картуши бессрочная ночь светляками,
Я лягу пораньше, ты скажешь, любимый,
так жаль, но
Пусть блеет барашек до присвиста раны
кинжальной.

А родина – только созвездье сигналов на трассе,
Разлука надолго, ночлег на нечистом матрасе,
Кронштейны и свечи, глухие заборы и штольни,
До встречи, до встречи давай поцелуемся, что ли.

* * *

В гремящем тамбуре молчишь, закат неодолимо
горек
Над треугольниками крыш и позвонками
новостроек,
И тут какой то мужичок минуту верную находит,
Встаёт, и, дёргая плечом, петь принимается
в проходе.
Знакомы эти песни всем, про мусоров и птицу
в клетке,
Про травы первые в росе и друганов на малолетке,
Про бесконечные поля, про стужу зимнюю и вихри.
И замолчали дембеля, студенты пьяные притихли.
Тут отвернёшься, лбом в металл уткнёшься,
улыбаясь, с тем лишь,
Чтоб слёз никто не увидал, и будет, позже, как
задремлешь,
Любовь святая, на века, кульки с крыжовником,
рассада
И будут падать облака за колокольнями Посада

Карен ДЖАНГИРОВ, Монреаль, Канада



* * *

Я помню тот день,
когда умирал,
хватая губами
снег, а вокруг
ходили весёлые
люди... Потом
с неба упала
звезда – я очнулся
на тёплой ладони
Молитвы, с тех пор
я верую только
в Слово

* * *

Сойти с ума –
всё равно что сорваться с поезда,
услышав стремительный запах сиреней
на тихой безлюдной станции

* * *

Г. К.

Железо, которым
распяли Христа,
давно уже стало
золотом

* * *

Человек одинок,
как монета в ладони
нищего

* * *

Доверяя кому-то,
доверяешь отрезку
времени

* * *

Как много дорога
прячет от глаз
идущего, чтобы
идуший дошёл
до конца

* * *

Возвращаясь осенними вечерами,
она любила раскладывать тонкими пальцами
удивительно тонкие камни, которым
я придумывал странные имена.
А когда они таяли и близилось утро,
мы тайком убегали из этого времени
туда, где торговцы весёлым воздухом
за девять угаданных правильно птиц
продают золотые шары

* * *

Помни – у прошлого
множество на-
правлений

* * *

Не строй ничего
на птицах – они
улетают

* * *

Пока ты рисуешь
далёкие дали,
рядом стареют
бабочки

* * *

Гора, упав в ладонь,
становится пылинкой

* * *

Смирение – это
сила надломленной
ветки

* * *

Птица внутри себя
разлетается на километры

* * *

Я пил ночами грусть осенних ящериц
и просыпался стражником пустынь

* * *

Гонимый ветром, шёл я быстро, но
дороги шли быстрее

* * *

После долгих скитаний
я вернулся в свой дом,
в котором с порога
увидел себя,
сидящим на том же
стуле, потом
услышал, как эхо:
«Проходи, я уже
ухожу»

Сергей ДОНБАЙ, Кемерово



* * *

Родной язык в нас снова растревожит
И русскую тоску, и нашу прыть.
От первых потаённых чувств: «Быть может...»
И до надежды страстной: «Может быть!»

Родной язык. Мы все уйдём и сгинем.
Но строчка будет жить, ей хватит сил:
«Скажи поклоны князю и княгине», –
Так Бунин в прошлом веке попросил.

А в детстве, кто из нас, как небожитель,
Не отхлебнул из русского ковша?
Родной язык – и ангел наш хранитель,
И песня, словно общая душа,

Которую всё реже дарит радио,
Но верещит всё громче на износ.
Родной язык: «Не в силе Бог, а в правде», –
В тысячелетье прошлом произнёс.

Народа нет и не было немного.
И гордость, и смиренность на лице



Он выразит: «В начале было Слово...»,
«Пусть... будет пухом...» – он вздохнёт в конце.

Он узелок на память нам и – затесь,
Он оберег наш и – сторожевой,
Он был и есть, как Бог, без доказательств.
Родной язык – наш промысел живой.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИИ ПОБЕЖДЁННЫХ НАРОДОВ

Я был туристом в стане побеждённых:
Вот немец и француз, поляк и швед.
История народов просвещённых
Не помнит громких не своих побед.

А если вспомнит, так переиначит
И уведёт, так выгодно шутя,
Что пресловутый «писающий мальчик»
Всего важнее станет для тебя.

И победитель в стане побеждённых
Не знаменитый силою медведь,
А русский неуклюжий медвежонок –
Так легче снисходительно смотреть.

Все эти карлы и наполеоны,
Нас приходившие завоевать,
Лжедмитрии и гитлеры опять
В истории народов просвещённых
Нас варварами жаждут называть.

ПРОЗА ПАРИЖА

Сфотографировался у Лувра.
И, наконец, погулял по Монмартру –
Мечта из юности не обманула.
Но не восполнить её утрату...

Пил кофе на башне конструктора Эйфеля.
Да, верхотура так уж верхотура.
Но мост царя Александра Третьего –
Роскошный, русский, сказала натура!

Париж уже от каштанов рыжий.
Хожу и влюбляюсь в Париж понемножку.
Смешно, но вспомнил: вернусь из Парижа
И надо будет копать картошку.

МАЛАЯ ТОЛИКА

*Я копаю колодец... за мною
Столб пространства идёт в глубину
В. Ковшов*

Лето в зелёном наряде.
Солнце пекло – будь здоров.
Охнув в своём палисаде,
Умер Валерий Ковшов.

Чтил по-крестьянски он древний
Старый и Новый завет.
Житель сибирской деревни,
Малоизвестный поэт.

Мало... А всё же писатель.
Пьяненький ветеринар
(Интеллигентный приятель) –
Это его семинар.

Но после тех обсуждений
Знаком далёких начал
Малоопознанный гений
Душу его отмечал.

Плыли подземные рыбы.
Рыл он пространства столбы.
И прояснялись калибры
Провинциальной судьбы.

В ней стихотворные тропы,
Звёздных небес сеновал
Он не через телескопы –
Красным Ключом* открывал.

С лирикой спорила логика,
Сретенье дум и страстей...
Был он, как малая толика,
Русской поэзии всей.

* Красный ключ – деревня, в которой жил и умер поэт.

Олег ДОРОГАНЬ, Смоленск



* * *

Зеленеют шёлковые почки,
Рожицы янтарною стеной.
Долго пробиваются росточки
Даже этой раннею весной.

Скоро май, но щедрого цветенья
Нет ещё, – несмелые ростки.
Затаилась Русь в затонах, в тенях,
И без половодья даль реки.

Тихая спокойная усталость.
Робкий пересверк апрельских звезд.
Русь остановилась, замечталась
В ожиданье новых бурь и гроз...

Где же вы, вишневые метели?
Где вы, крылья яблоневых вьюг?
Надолго сады здесь опустели,
В гости не спешит мой лучший друг.

Где ты, цвет черемуховых свадеб,
Дух сирени – реющей волной?
Сам я пира праздничного ради
Друга позову к себе домой.

Очищенье ливневое радуг
И застывших запоздалых слез
Излиянье с исцеленьем в ранах –
Все бы это заново сбылось!

Пусть поймет и дальний друг, и близкий,
Как по ним томлюсь, тоскую я,
Пусть услышит ширь земли российской
Паводок журчащего ручья!

Но у ливней долгая ли ярость?
Обнимая дымкой круг берез,
Русь остановилась, замечталась
В ожиданье новых бурь и гроз.

Валерий ДУДАРЕВ, Москва



Вместо предисловия

Из переписки с Аллой Максимовной Марченко

«Дорогой Валерий Фёдорович! Я задержалась с ответом только потому, что никак не могла решиться отправить вам то, над чем все эти дни думала и пыталась изложить словами... А думалось про то, что всё гениальное просто – а просто потому, что вы, вроде бы почти не целясь, «угодили в прицел», в самый центр таинственной «узловой завязи» – загадочной связи всех-всех существенных явлений в мире российской словесности! **«Но тут совсем не человек, (и не век!! И не Россия, которую мы вроде бы потеряли!) – Тут жанр скончался!»** В силу множества специфических обстоятельств, свойств – особенностей **«Русского жанра»**, которые, хотя и «не выводятся друг из друга», однако, аukaются, «ассоциируются друг с другом в результате долгого сосуществования»! А сосуществование уникальных достопримечательностей Русского жанра и впрямь было долгим – с 1703 года («здесь будет город заложен!»). А как точно и до гениальности кратко и просто обозначили в своём прощании с истинно русским жанром эти существенные явления! Перечисляю наскоро. Велесовы ковши – то есть есенинское «Отчее слово» – вот уж воистину самый главный Ключ к феномену русской поэзии. А дым отчества! А последний порог золотой бревенчатый избы и даже поседевшая некогда золотая прядь («разве не от прежнего огня!») К тому же сквозь домашний свечной огонь вспыхивает и другой – вечный:



Не жизни жаль с томительным дыханьем,
 Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
 Что просиял над целым мирозданьем,
 И в ночь идёт, и плачет, уходя.

Да в вашу мини-поэму из отдельных стихов даже Окуджава – бочком ненароком, а втиснулся со своим московским муравьём – «и муравей создал себе богиню по образу и духу своему...» Ну а это? «Мы пред врагом не спустили славный Андреевский флаг! Сами взорвали “Корейца”, нами потоплен “Варяг”... Впрочем, к этой ассоциации вы, думаю, уже отношения не имеете... Какое счастье, что вы есть.

АМ

P. S. Ах, какая прелесть эта «Тамань». Прелесть – и всё тут!

СТРЕЛА

Древний мир живущим не по силам –
 Нам осталась таинства зола.
 Сквозь века настигла и пронзила
 Русича ордынская стрела.

Отмычал пасущийся ветрище.
 Отскулил доверчивый гобой.
 И разбилось русское ветлице –
 Дерево, взметённое судьбой.

Знало всё оно про колыбели,
 Про дымы над каждой трубой,
 Понимало трели и метели
 И держало небо над собой.

Встарь взошли погост и деревенька,
 А теперь вот город заложен.
 Тяжела последняя ступенька
 Золотых бревенчатых времён.

Планомерно забивают сваи,
 Вырывают корни из земли,
 И звенят далёкие трамваи,
 Словно страны дальние
 вдали.

ТАМАНЬ

Долька в небе.
 Долька в море.
 Долька-месяц там и тут.
 Как прожить в таком просторе

Даже несколько минут?!
 Весь простор велик и чёрен –
 Блещут молнии одне!
 Но не тонет мой Печорин
 В набегающей волне.

Долька-лодка по стихии,
 Всем ветрам малым мала,
 Носит тихие, лихие
 Контрабандные тела:

Нож в руке горит – проворен,
 Чик по горлу – и ко дну...
 Не утонет друг Печорин.
 Я скорее утону.

ПРОВИНЦИЯ

Пока велесовы ковши
 Над нами счастье проливают –
 Ты целый мир любить спеши,
 Куда б ни вывела кривая!

Прощанье – что?
 Прощанье – дым!
 Дымит, прощается эпоха.
 Ты на земле необходим,
 Здесь без тебя кому-то плохо.

Пусть побеждают миражи!
 В них канет каждая из вёсен,
 Но ты, прощаясь, расскажи:
 О, сколько в мире вёрст и вётел!

В забытых Богом городах
 Который век кипит работа!
 В них цел языческий размах,
 В них византийское есть что-то.

В них вишня каждая цветёт
 На грани ада или рая,
 И отрок ясный пропадёт,
 Судьбу Рублёва избирая.

Пока орнаменты Руси
 Ещё остались у обочин,
 Ты клятву в ночь произнеси
 Неутолимей и короче!

Провинция!
 Вот часослов!
 Ни грай,

ни публика столичья
Не затемнят колоколов
Её скитаний
и величья.

ПАМЯТИ НОВЕЛЛЫ МАТВЕЕВОЙ

Новелла тихо померла –
Предельно поздно.
Под утро божьи помела
Сметали звёзды
И зайчик солнечный уже
Плясал, качался –
На камергерском этаже
Всё как в начале...

Нет!

Не отлили монумент

В цеху особом
И ни студент, ни президент
Не шли за гробом.
Челнок лишь в жажде новых вех –
Скрипел, качался.
Но тут совсем не человек –
Тут жанр скончался!
Тут переделал Чехов «Нос»,
А Гоголь – «Чайку»,
Тут не шекспировский вопрос
Про чрезвычайку...

Жасмин любила невпопад,
С гвоздями ветер –
Жила-была землёю над
На белом свете.

Ирина ЕВСА, Харьков, Украина



ПОЭТ

Е. Рейну

Ну, брюзглив, брюзглив. И, как ни крути, – не в теме.
Старость мыслит смутно, а изрекает веско.
Подписал не то, не ту похвалил, не с теми
вдруг побил горшки, вломил не тому словесно.
Словно мир не резок, сбились настройки: в луже
мнится небо, тело шага страшится, вдоха.
И ему советчик – всяк проходимец: ну же,
отведи туда, где сухо и нет подвоха.

Но, гляди: в стихах по-прежнему держит спину
и лицо, лицо! Не трусит, не бережётся.
И слоисто слово, и не подвластен сплину
дух, деталь живая жостовским жаром жжётся.
И, каким бы ни был, к Богу он точно ближе,
чем любой из тех, кто злей, голодней, моложе.
Хорошо, не спорю: рифмы теперь пожиже.
Ну, так он и прежде этим грешил. И что же?

* * *

Погибший на живого смотрит сверху:
ну, что он там?.. узнал уже?.. скорбит?
А тот сухую спиливает ветку,
кастрюлю подгоревшую скоблит.

Живой спешит: он ждёт приезда сына.
Посадка в пять, да плюс машиной час.
А ты ещё не брился, образина,
и к ужину чекушку не припас.

По летней кухне мечется: бутылки –
под стол; окрошку – в погреб на ледок.
Но замирает, чувствуя в затылке,
какой-то непривычный холодок.



С чего бы? Целый день жара под сорок.
 Что в доме душегубка, что в тени.
 ...уже, должно быть, въехали в посёлок...
 Просил же: сядешь в тачку – позвони.

И шлёпанцем цепляется некстати
 за спиленную ветку алычи.
 А сын ему: включи мобильник, батя!
 Нет, не включай. Нет, всё-таки, включи.

МУРАВЕЙ

Муравьи, солдаты военной части,
 обживая солнца слепой лоскут,
 разбирают бронзовку на запчасти,
 на себе старательно волокут.

Спозаранку чёрные ходят строем,
 оттесняют рыжих (дави орду!),
 раздают награды своим героям
 и совокупаются на ходу.

Но гнушаясь грудой сухих отбросов,
 никому не мылясь, намять бока,
 в холодке сидит муравей-философ
 под колючим деревом будяка.

И когда избранник щедрот монарших,
 протоптав тропинку к его плато,
 вопрошает грозно: «А ты – за наших?» –
 Он тарачит зенки: «А наши – кто?»

Проводник наитий, ловец понятий,
 он в дрожащем воздухе чует гром:
 это Некто слез, наконец, с полатей
 и в сенях грохочет пустым ведром.

...Гарнизонный вождь нумерует роты.
 И снуют по саду туда-сюда
 то стрекоз громоздкие вертолёты,
 то мохнатых гусениц поезда.

Плавунцы швартуются. «Майна!», «Вира!»
 ...Но, захлопнув Библию и Коран,
 запылённый шланг Устроитель мира
 второпях цепляет на медный кран.

И вот-вот потоп – наплывая с грядок
 валунами слизней, стадами тли –
 перемелет всех, наведя порядок
 на отдельно взятом клочке земли.

* * *

Молодое светило вылезло на вершок.
 Пять утра. Ни морщинки на посветлевшем шёлке.
 Пляж безлюден. Лишь две синюшные шалашовки
 собирают бутылки в пластиковый мешок.
 То ли это мотель на трассе, то ли сераль:
 бирюзовая вязь, понтовая позолота,
 в запотевший цветник распахнутые ворота
 и коровьей лепёшки спёкшаяся спираль.
 Справа – старый погост, где розы крадёт жульё;
 на бетонной ограде красным: «Сдаю жильё»;
 снизу – чёрным – приписка: «Дорого и навеки»
 Неопознанный птичик боком торчит на ветке
 запылённой софоры и верещит своё.
 Слева клуб, от невзгод не спасший свою корму.
 Но фасад уцелел и плиты ещё не спёрты.
 Перед ним постамент, мужик в пиджаке. Кому
 этот памятник? Вроде Киров, но буквы стёрты.
 Куришь, в масляный воздух дым выпуская злой,
 пятернёю вода нелепо, как бы смывая
 этот верхний, сиротский, праздно-лубочный слой.
 И фрагментами проявляется вдруг живая
 виноградная волость, каменная страна,
 всякий раз при угрозе вражеского секвестра
 уплывающая из рук полотном Сильвестра
 Щедрина.

* * *

У него белоснежная спальня, где три окна
 с видом на море. Скрипит по ночам сосна.
 Каждый вечер его в коляске вывозит к молу
 плосколицая тайка, надцатая жена.
 Но он хочет назад, в Гоморру.

«Вздор! Гоморре капец, – ему говорят, – окстись!
 Все твои кореша давно переплыли Стикс.
 Да и сам ты усох, как мумия богомола.
 Кормят с ложки протёртым супчиком. Но старик
 головой мотаает, переходя на крик:
 «Нет! Жива Гоморра!»

Машет лапкой в пигментных пятнах: мол, врёт,
 есть
 коридор общаги, комната 26,
 где жила зимой подружка его с Алтая,
 по холодному полу шлёпала босиком,
 на спиртовке варила кофе свой с каймаком,
 рыжая, аж золотая.

«Ты простынешь, – он говорил ей, – халат надень».
 Зарастало стекло морозом. И каждый день
 приносил им дурные новости из котельной.

Утром в чашке ледком позвякивала вода.
И тепло им было только во тьме, когда
он ловил губами крестик её нательный.

К счастью, тайка не знает странного языка.
Но она притерпелась к выходкам старика;
и когда он опять заводит: «хочу в Гоморру!», –
вытирает ему салфеткой слюнявый рот,
из комода пачку памперсов достаёт
и кивает: okay, tomorrow.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, Тюмень



МОЛЧАНИЕ

Всё глупости...

А. П. Чехов «Чайка»

Вот тебе, девочка, лавка земных чудес:
птичка-свистулька, рожок, воробей ручной.
Лес не волшебный – вполне себе лес как лес.
Поговори со мной!
Что ж ты, болезная, хочешь: большой любви?
Пьер раздобрееет, Болконский уйдёт в запой.
Лучше присядь, на полу уместившись, и
Поговори со мной.
Так не бывает. Наташа пойдёт в декрет,
будет бороться со стрессом и сединой.
Что, сероглазая, сверлишь земную твердь?
Поговори со мной.
Так не бывает. Последний из Могикан
будет растерзан, закопан, снесён волной.
Дурочка Кора, откладывая свой роман,
поговори со мной.
Твой героический эпос – собачья чушь.
Лунные камушки, глина, палящий зной –
Бог тебя создал, забыв про отменный вкус.
Поговори со мной.

Глупая девочка, радужный Индостан –
горка картона, трущобы и перегной.
Мантры – пустышки, а смерть не излечит ран.
Поговори со мной.
В Лету ли канешь, падёшь ли в священный Ганг –
кто тебя знает, чумная. Укор немой
Гаснет во взгляде, сменяясь на миннезанг.
Поговори со мной!..
Спи, непутёвая. Спи, и увидишь явь.
Серые бездны подёрнулись пеленой.
Утро – мудрёней, а сказки врагу оставь
и засыпай со мной.
Самое время читать о тебе Псалтирь,
Самое время молитве, пускай ночной.
Буду просить нам бессмертия.
Бог – как ты...
Бог помолчит со мной.

УТОPIA

Мы спали чутко, воробыно. Качался в лампе
огонёк.
Сын фитилька и керосина на волю выбраться
не мог.
Косматость бабушкиной шали, клыки, кровавая
вода...
Мы просыпались и шептали: «Река, неси меня туда,
Где поле белое с цветами зовёт косматого домой,
Где он щенком пушистым станет, сопя в корзинке
за стеной».
Шумели призрачные воды, в кандее тела череда,
И отступала на восходе видений странных череда.
Дорога славилась камнями и отвергала тормоза.
Дичали дети – сами, сами мечтали время обуздать.
Бесшумно солнце уплывало. Казалось,
смерть его легка.
И на закате застывала у лба косматая рука.
Мы грели камешки в ладони и засыпали у реки,
Галопом загнанные кони. Деревья были высоки
И что-то в воздухе парило, и что-то было в той воде,
За преимущественным илом и пеной цвета
каркаде.
Так одному приснились розы, другому – дикий
виноград,
И сон, не будучи осознан, слезой напитывая взгляд,
Обезобразивал деревья, калечил лица, города.
И тут один из нас поверил.
«Река, неси меня туда,
Где отблеск золота и боли первоначален и лучист,
Где одного придержат двое от череды
самоубийств».
Оставив поиск мыслеформы, стань истуканом,
пеной стань,



Увидишь: дольний станет горним, поблекнет цвет,
 сотрётся грань,
 Вне истерической сансары рука укроется рукой,
 И Тварь со Временем, ослабнув, уйдут неслышно на
 покой.

RUTASIBERICA

Холодно-холодно снегу в сухой траве
 В зевах бессмертника стынувшие вопросы
 ты отложи до весны и ступай ко мне
 не по росе
 Опирайся на слух и посох
 Взгляд по пути не бросай ни на эту тьму
 что позади
 ни на ту что пребудет дальше
 Дом на дороге – обманка
 мертвец глядит
 в пропасть окна
 проходящего манит пальцем
 Чьи имена ты в карманах перебирал
 Есть ли моё среди этих безбожно белых
 что не дают ни мерцания ни тепла
 Шёл пилигрим и дорога его не грела
 Шёл да и вышел
 и срок твой давно истёк
 Алые буквы просыпались из кармана
 Серые лютые выли
 расцвёл цветок
 в снежной пустыне у снежного океана
 Холодно-холодно снегу лететь в траву
 боязно выстелить лоно земного тела
 Rutasiberica вспыхнула на ветру
 путь осветила тебе
 и дотла сгорела

Ольга ЕРМОЛАЕВА, Москва



* * *

Сказал: «Напиши мне стишок!» – на, возьми же,
 дружок...
 ...Мы словно в плену, и везде бэтээры и танки,
 повсюду взрывной этот Шварцев смердит порошок
 от самоубийцы в её гробовой вышиванке...

Меня унижающий и разрушающий шок...
 Каверны, проломы, где реют убитых фигуры,
 и двигатель – нищенский гуманитарный паёк,
 и страшно неловко от дурищи-литературы...

Бетон развороченный, набок свисающий крест,
 сгоревший автобус, в подвалах ужасные ночи,
 и детская эта нашивка у Пегова «PRESS»...
 тут невыносимы длинноты – короче, короче!

Такие родимые – Харьков, Харцызск, Иловайск
 (звала «Целовайск», я умела любить и лукавить,
 бывалоча, с миленьким в скором свернём на
 Батайск...), –
 как пленного женщина бьёт по лицу!.. Целовайск! –
 и коршуном к ней – ополченец, орущий:
 «Отставить!»

* * *

где мой Транссиб весной, моя тяга к дыму,
 угольный шлак у школ (не держи, пусти!
 лучше расстреляну быть, чем тобой любиму...),
 цепи платформ (пожалуйста, не гляди!) –

...что же я делаю, всё улыбаюсь Крыму,
 только и знаю – его прижимать к груди...

...клуб и стройбат... детдом... уже не приеду.
 лывы у станции, мокро и в сапогах.

где мое счастье – шлёндрать легко по свету?
где мои гонки – в ночь на товарняках?

всё отдала – чего нельзя исковеркать! –
каждый свой медный грош, нехитрый секрет...
детская мода – сквозь искры в ресницах зыркать:
в радужных пляшущих сферах выходит свет...

это метель ночная, Москва сырая,
это отчаянье (якобы торжество!)...
мой протопоп, в Пустозерске своём сгорая,
«не позволяй, – кричит, – себе ничего!»

* * *

дети посёлка, жующие «вар» –
в чанах на дамбе ужасный гудрон...
хлад нестерпимый и страшный загар
в сопках, в тайге наших детских времён.

было: мой угольный тяжкий угар,
обморок, несколько вялый испуг;
но как сиял грандиознейший пар –
им паровоз обдавал виадук!

было: КОГИЗ, и сельпо, и УЛаг,
чайная, пчелосовхоз, леспромхоз,
беглых из зон, свор голодных собак
я не боялась, страшилась лишь гроз.

что Катерина из драмы «Гроза»...
...ах, переезды с казённых квартир
с мамой-учительшей... всё чудеса,
эхо, побелка... о нет, рыбий жир!

в радужных стёклах – рассеянный свет,
холод собачий, и зеков ведут.
не расшатать ни один шпингалет
рам – не любили проветривать тут...

...что мне теперь униженья, весь бред?
...то, о чём думаешь – не за горой.
...пол свежeweмыт, бликует, сырой,
и на фрамуге тугой шпингалет.

19 февраля 2017

* * *

кто это в царственной женской поре:
Господи, как влюблена!
долгий кубанский обед во дворе,
блик от графина вина.

яркий, нарезанный мелко укроп...
ох же ты, не прекословь:
грузная, крестит вспотелый свой лоб,
терпит, не любит свекровь.

гроздь изабеллы в станичной пыли,
связки лещей на прутках,
в спальне вишнёв, в бирюзовых крюках
коврик всё в той же пыли...

ты, Васнецова царевич, пальбу
войн не бери на свой счёт.
тайный волшебный фонарик во лбу
слабнет, и скоро уснёт.

слабнут все связи, ушла бирюза
в яркий венчик на погост,
и на заре не вмещают глаза
туч, что нагнал нам «Норд-Ост».

и серебром на царевне горит
явно парча, а не шёлк...
всё васнецовский царевич летит,
и улыбается волк!

14 февраля 2017

Иван ЕРПЫЛЁВ, Оренбург



БАЛЛАДА О ВЫБОРЕ

Триста звёзд – самых ярких –
И триста дорог
На пороге сомкнули лучи.
В доме чисто и жарко,
А чуть за порог –
И навек потерялся в ночи.
Неужели оставишь
Меня без забот? –
Вопрошает задумчивый дом.



И мой сытый товарищ,
 Мой дымчатый кот
 Под кроватью свернулся клубком.
 Вдруг всё выше и выше
 Живого огня –
 Вереницы болотных огней.
 Двести семьдесят вспышек
 Обманут меня.
 Только тридцать – небесных кровей.
 Так несладко в дороге –
 Сплошной караул...
 Я поднял свой тяжёлый рюкзак,
 Постоял на пороге
 И всё же шагнул
 В непроглядный, заманчивый мрак.
 Двадцать девять бокалов
 Разлились слезой –
 По числу неслучившихся звёзд.
 И одна засверкала
 Над страшной грозой –
 Самой лучшей из всех моих гроз.

ФЕМИДА

Фемида держала в руках не весы, а скрижали.
 Правосудье бесплатно, но судьи подорожали.
 Мы учёный народ, не то, что какие-то скифы.
 Растут города – вместе с ними растут и тарифы.
 Пришиты карманы к изнанке судейских мантий.
 Гоняйся за правдой в судах четырёх инстанций.

Истец кричит так, что еле терпит бумага:
 «Отверзи ухо твое, отрыгни ми слово благо!»
 «Рассуди мя по правде!» – срывается слабый голос.
 Но правда – одно, а другое – Гражданский кодекс.

Несытое брюхо к законному иску глухо.
 Старушка Фемида, ну где же твоя проруха?

ОТКОС

Наш поезд быстрее улетит под откос,
 Погрязнет в болотной пене,
 Если по-прежнему лжехристос
 Будет скакать на сцене,

Если Иммануила упечь в Соловки,
 А Ницше вернуть оттуда,
 Если ретивые казаки
 Всё же найдут Иуду,

Если сменяем по сходной цене
 Учебники на бананы,
 Если в каждом соседском окне
 Пылают зомбоэкраны.

Стоп-кран не срывается. Скоро Брест.
 Состав меняет колёса.
 Заманчива синь европейских небес.
 Трагичен уклон откоса.

БОЛОТНАЯ СОВЕСТЬ

Сквозь сахар глянцевых обложек
 Лениво растекается
 Маслянистая капля абсента
 Марки «Болотная совесть».
 Снова в моде носить оковы
 Собственного бесстыдства
 и греметь ими на всех перекрёстках.
 За это могут дать грант
 на поддержание дешёвых
 китайских треников
 или даже провозгласить
 «Человеком Миллениума»
 по итогам административных отсидок,
 хотя уже две тысячи лет
 мы живём под звездой
 проповедника из Галилеи,
 не призывавшего пикетировать
 резиденцию римского прокуратора.

НОЧЬ

Этой ночью воздвигают древо,
 Украшают двери остролистом.
 Будь моею первой королевой,
 Самой непорочной, самой чистой.

Мы пока не знаем о рассвете.
 Собери волшебные коренья,
 Разожги костёр, мы в пляске встретим
 Этот горький день невоскресенья.

Нет у нас ни колеса, ни Книги,
 Идолы покрылись серой пылью.
 Точно первобытные вериги,
 Шкуры твои бёдра облепили.

В эту ночь в пещере будет жарко,
 Тени успокоятся к рассвету,
 А наутро неземным подарком
 К нам заглянет шалая комета,

И тогда – пьянящая, нагая,
Ты шагнёшь истории навстречу.
Только мало нам земного рая,
Мы на звёзды смотрим каждый вечер.

**Варвара ЗАБЛИЦКАЯ, Хельсинки,
Финляндия**



* * *

В землю стекает холодного ливня звон.
В землю упали колосья сгоревшего хлеба.
В землю глядят осквернённые лики икон.
В землю,
в холодную землю уходит небо.
Мерно, спокойно, не бросив и взгляда вниз,
нашей молитве затравленной больше не внемля...
Небо моё!
С собой и меня возьми,
чтобы не видеть мне, как ты уходишь в землю.
Небо моё!
Я мёртвым тебя не отдам!
Люди кричат: «Пощади! Не пришли наши сроки!»
Мы не заметили, время отдав мольбам:
новое небо встаёт на горящем востоке.
Выше, чем прежде, ярче, без облаков...
Радуйтесь, люди! Вам выпал хороший жребий!
Это прекрасно, но, Боже, как нелегко
навек отпустить привычное, старое небо...

ОФЕЛИЯ

Я сберегу береговые ивы,
и нежный свет луны,
и шум травы, и плеск неторопливо
катыщейся волны...
Я сберегу предательскую осыпь
песков береговых

и лёгкий ветер, вторивший так просто
движеньям рук твоих...
И синие цветы, что безмятежно
росли на берегу,
и эту близость нашу, эту нежность
навечно сберегу...
Я помню всё, что сделано когда-то,
как сладкий, лживый сон.
Ты станешь для меня запретным братом,
презревшим свой закон.
И я преодолею наважденье,
укрыв парчой волну...
Ты знаешь, милый – с самого рожденья
я шла ко дну.

ТЕЛЕФОН

Я украла его слова и держу в коробке.
Я украла слова – о них не знает никто.
Удивляюсь себе: никогда не была воровкой.
Видно, в тихом омуте водится чёрт-те что.
Я совсем не стыжусь – я в беде и пытаюсь выжить.
Я украла его слова и ношу с собой.
Даже если он так далеко, что его не слышу –
здесь, в пластмассовой чёрной коробке, моя
любовь.

Я украла его слова. Бесстыдно украла,
хоть они для меня говорились и без того.
И пускай он всё время рядом – этого мало.
Мне всегда слишком мало его.

ГОЛОС ПАМЯТИ

Я слышу как падают листья
в той роще на берегу
и голос как небо чистый
и я на него бегу
зелёные воды речные
как винной бутылки стекло
и эти воды вечны и
то время давно утекло
неделю назад было лето
в сырых утонувшее днях
и листья что сорваны ветром
гниют в намокших корнях
и тлением берег выслан
но в памяти через дрожь
я слышу как падают листья
и как ты меня зовёшь
и сердце съедает голод
по чертам твоего лица
и я бегу на твой голос
как зверь бежит на ловца

РЕВНОСТЬ

Допей вино скорее и уйдём,
здесь слишком много тех, кому ты нужен
тех, кто таится в тёмных норах днём
и выползает вечерами дружно
мне душно здесь от испарений зла
я вижу – в этом полумраке пьяном
бесчисленные женщины в углах
к тебе ладони пламенные тянут
увлечь, пытаясь, сквозь тягучий дым
они поют, смеются и рыдают
не потому, что ты так нужен им
а потому, что я в тебе нуждаюсь
мне этот мир всё делает назло
и самый светлый миг всегда отравлен
давай уйдём, пока ещё светло
я так боюсь, что с темнотой не справлюсь

ПРЯЖА

Я распутывала пряжу
про себя мастериц кляня
кто напрял, тот пусть мне и скажет
какая нить для меня
воедино сплелись волокна
быль от боли не отделить
видишь, память глянула в окна
надо свет скорей погасить
что вы, пряхи, дуры аль спите
раскрутилось веретено
разорвать бы прошлые нити
что с твоею сплелись в одно
болью, как родовые схватки
где-то в самой моей глубине
отзываются все слова твои
что сказаны

не обо мне

Николай ЗАЙКИН, Москва**СОН**

Был сон такой. Сердца дрожали,
Даль простиралась в синеве.
Мы, взявшись за руки, бежали
По мягкой, бархатной траве.

И не мешал нам встречный ветер –
Он только лица охлаждал.
Всё ближе был волшебный вечер,
А день прекрасный уходил.

Не добежали мы немножко,
Совсем немножечко, чуть-чуть...
Поторопить бы наши ножки
Да время в сторону качнуть!

ЕЗДОК

Бывают странные сближения.

А. С. Пушкин

Никто не знает смысл конечный
Побед, триумфа, пораженья.
Мудрее всех ездов беспечный,
Не знавший трудного решенья.

Скользит по жизни лёгким взглядом,
Живёт без мук, без напряженья.
Вдали – земля и небо рядом.
Бывают странные сближенья.

А мы стремимся не туда ли,
Почти за край воображенья?
Там бесконечны Божьи дали –
Ни зла, ни слёз, ни раздраженья.

НАСЛЕДСТВО

Не уйти от этой темы.
 Поле, лес, дорога, речка,
 Дом родимый – крыша, стены,
 Окна, дверь, порожек, печка...
 Бесконечна жизни гонка,
 Больше прежнего усталость –
 Только мамина иконка
 Из наследства и осталась.

СЛОВО

Павлу Крючкову

Глупое сердце, не рвись, не части,
 В стену глухую не бейся.
 Честь, как известно, давно не в чести.
 Плачь, человек, или смейся.

Разницы нет – надо жить всё равно.
 Истина проще простого...
 Вот и спасает всё чаще оно,
 Светлое слово Христово.

ДУША

Евгению Карасёву

Реки Волга и Тверца.
 Паводки, излуки.
 Жизнь не ластила мальчика.
 Горькие разлуки,

Сроки, тюрьмы, кореша,
 Новые паденья...
 Слишком тонкая душа
 У него с рожденья.

Вот она-то и спасла,
 Вывела, успела
 Дать семейного тепла.
 Отошла, запела.

.....
 Дни осенние тихи.
 Он их сберегает.
 Пишет лучшие стихи.
 Жизнь перелагает.

2017

СВИДАНИЕ

Не настоишься у могилы
 И слов последних не найдёшь.
 Подует ветер холодный, или
 Польёт отчаявшийся дождь.

И побредёшь назад устало,
 Глаза от встречных хороня,
 Обрывки памяти листая,
 Печально голову клоня.

ДАВНОСТЬ

Что твоё счастье? Сказать мудрено.
 Разнообразным бывало оно.
 Даже казалось, что большего нет...
 Всё изменилось за давностью лет.

Снова в каком-то далёком году
 С поезда ночью в деревню иду.
 Светится в мамином доме окно.
 Счастье...
 Вот это и было оно.

Максим ЗАМШЕВ, Москва



* * *

Всю жизнь прожив на острие ножа,
 Мы в соль не превратились, ну и ладно.
 А ранняя весна всегда свежа,
 И тело у земли ещё прохладно.
 О, как любили мы товарняки:
 Считать вагоны и вздыхать тревожно.
 Те разговоры были так легки,
 Что ветер до сих пор их слушать может.
 А тот портвейн и плавленый сырок



Могли бы сдать в музей, но всё допили
И дожевали – всякому свой срок.
Всё дело в стиле, друг мой, дело в стиле.
И в том, что человек – совсем не стиль,
А продолженье чьей-то неудачи.
Звезда присела на кремлёвский шпиль,
Весна присела на скамью и плачет.
А мы уже давно живём навзрыд,
И что нам эти плачи, эти слёзы.
Портвейн, сырок, тоска, девичий стыд,
Опять тоска и мстительные грозы.
Я вижу юность, что стоит, дрожа,
Давай её возьмём, напоим чаем,
Когда б мы были солью, то с ножа
Нас кто-нибудь просыпал бы случайно.

* * *

Монетку наугад кидаю,
Орёл иль решка – всё равно.
Я ничего не загадаю,
Где были звёзды – там темно.
Хотелось счастья... что за дикость?
И торг закончился, и бум.
Душа истаяла без криков,

чтоб продолжаться наобум.
И безразлично: с нами? с ними?
Она утратит ход минут.
А там уж ей подыщут имя,
Но звуков гласных не вернут.

* * *

Я наконец сжался
До самого себя.
Маленькое своё жало
Сильно втянул в себя.
Я наконец увидел,
Что значили для меня
Гораций, Катулл, Овидий,
Не знающие меня.

Я наконец остался
Любящим только тебя.
Только когда стал я
Невидимым для тебя.

Теперь уже можно
рассказать о себе.
Хотя это очень сложно –
Рассказывать о себе.
О том, как ты проявлялась

Каждую ночь во мне,
О том, как ты прикасалась
К каждому из камней,
Которые я не бросил,
так и не бросил в тебя.
Которые я не бросил,
так и не бросил в себя.

* * *

Последний троллейбус в Варшаве,
и первый трамвай в Ленинграде,
И губы, что шепчут: – Ты мой...
Утонешь в осенней отраве
Не только забвения ради,
а чтоб не остаться со мной.

Как гость пробирается поздний
В парадное, так одинокий
К земле пробирается лист.
И как этот северный воздух
Вдыхать, если музыка ночи
С утра превращается в свист.
А месяц как будто бы вышит
рукою всезнающей парки.
И небо всего лишь сукно.
Кондуктор на пенсию вышел,
В трамвайно-троллейбусном парке
Ночами снимают кино.
Мы в этом кино каскадёры.
Мы даже рискуем мгновенно,
Улыбка не сходит с лица.
А губы всё шепчут: – Не скоро
Расстанемся, но непременно.
Иного не будет конца.

И поздно уж думать о славе,
Солдаты бодры на параде,
Но стали их песни листвою.
Последний троллейбус в Варшаве,
И первый трамвай в Ленинграде,
И в каждом ты едешь со мной.

* * *

Ах, как же раньше сирень цвела,
Как широко и пышно.
Какой бы длинной жизнь ни была,
Она коротка как вспышка.

Россия – это колокола
и буквы на конверте.

Какой бы странной жизнь ни была,
Она не страннее смерти.

Сияют золотом купола,
Кресты в небеса воткнули.
Какой бы горькой жизнь ни была,
Она подсластит пилюли.

А птички стаи сгорят дотла
В бесшумном пожаре листьев.
Какой бы тёмной жизнь ни была,
Она осветляет лица.

Пусть невозможна победа зла,
Тревожно пустует плаха.
Какой бы страшной жизнь ни была,
Она не страшнее страха.

Плохие сны – как ночной конвой –
Ждут каторжную усталость.
Какой бы жизнь ни была чужой,
Прожить её мне досталось.

* * *

Я в бывшей Пруссии. Летит мне в грудь
То, что должно стать снегом, но не стало.
И будь германофилом иль не будь,
Почувствуешь, как время здесь отстало
От самого себя... И палимпсест –
Не только слово, но и прегрешение.
И чёрной птице негде будет сесть,
когда найдётся верное решение.
Здесь осенью тоски большой улов
Приносят с моря взбалмошные ветры.
Деревья, подходящие для снов,
Как руки, расставляют всюду ветви.
Нещадная борьба небесных сил
Закончилась дождём, пустым и мелким.
Я в бывшей Пруссии. Здесь Кант Иммануил
Лежит в земле. И все его проделки
Теперь тревожат лучшие умы.
Как ни крути – полжизни за плечами,
И мысли выбираются из тьмы,
чтоб осознать, что свет ещё печальней.

Геннадий ИВАНОВ, Москва



* * *

Почему-то тянет, тянет
вдаль глядеть с откоса –
здесь душе ответ приходит
даже без вопроса...

Что метаться и тужить,
если столько света!
Надо верить, надо жить –
это суть ответа.

ТИМОНИХА

На свете на белом, на небе ли –
Отрада в душе и покой!
Тимониха. Белые лебеди
Летят над беловской избой!

Чудесные лебеди белые!
Откуда в конце октября?
Догадки являются смелые,
Мол, лебеди – это не зря.

Мол, это Василий Иванович
Приветствует добрых гостей...
Родной наш Василий Иванович,
Стою у калитки твоей!

Окрестные дали завьюжены.
Снежок налетает, снежок!
А лебеди быстро и дружно так
Уходят на юго-восток.

Прекрасные лебеди белые!
Двенадцать в клину лебедей.
Окрестности осиротелые...
Большие дома – без людей...



А что впереди – нам неведомо.
Воскреснет ли наша земля,
Наполнятся ль новыми бедами
Родные леса и поля?

Привычны, конечно, нам горести,
Но может быть, лебеди – знак,
Что жизнь повернётся по совести,
Что будет всё как-то не так,

Как нынче... Тимонихе, родине,
И кладбищу низкий поклон,
И жерди любой в огородине...
А клин удалившийся, он

Навеял надежды. Красиво тут.
Озёра, леса – благодать!
И птицы летели как символы:
Здесь жизнь не должна умирать!

* * *

Много в мире всего симпатичного...
Но потом понимаешь в пути,
что несёшь ты зерно горчичное –
до конца бы его
донести.

Миру чудному и воспетому
надо должное отдавать,
но вниманье особое
к **этому**
поручению
устремлять...

* * *

Небо серое, словно рентгеновский снимок души.
А душа моя плачет, что снова в грехи опускаюсь.
А ведь были и ночи, и дни так светлы, хороши!..
Помоги мне, Господь, и поверь, что я искренне
каюсь.

Вразуми, научи, помоги эту жизнь проходить
без ошибок, и слабостей, и без страстей
безрассудных.
Помоги эту жизнь, этот финиш достойно дожить,
Не застрять в суете, в болтовне или в помыслах
скудных...

* * *

Какая мягкая трава
На родине моей.
Какие жаркие дрова
На родине моей.
Какие древние холмы
На родине моей.
Какие светлые умы
На родине моей.
Талантов столько, как цветов,
На родине моей...
Всегда, всегда мне будет кров
На родине моей.

* * *

Поля зелёные, коричневые пашни,
В душе любовь и к небу, и к земле –
И оттого немного даже страшно,
Что ничего не надо больше мне.

Иду пешком из Ханино в Слепнёво,
Иду тележной узкой колеёй,
Я знаю жизнь и горькой, и суровой,
Но нынче это в недрах, под землёй.

Всё где-то там до времени таится
И жутко машет острою косой.
А здесь – ромашки, ветер на пшенице,
И я иду в рубашке и босой!..

Горит костёр,
Горит костёр на тёмном побережье,
Горит вдали от дома моего.
Я стал другим. Ну разве мог я прежде
На расстоянье греться от него?

Наталья ИВАНОВА, Сингапур



ВЬЕТНАМ

Страна-новолюбие... царственный полумесяц
вьетов.

Лодка рыболовецкая, бамбуковая субмарина.
Ребёнок за спиной полуострова, привязанный
к суше лентой,

Ловит руками креветок, кладёт их в ту же корзину,
Где пойманный жемчуг скрипит парусами
солёного флота,

Где рисовых рос хватает всё сёстрам на
ожерелья...

И женщины чинят
и сети,
и жёлтые флаги,
и раны – такая у них работа.
А ласточки сушат гнёзда на бельевой параллели...

* * *

Господи, дай мне панцирь,
Тридцать девятый, новый.
Просто избавь от глянца
Слово.

Я его слышу гласным –
Праздничным, с ударением.
Господи, дай мне разное
Зрение.

Мир сотворён нечётно –
Угол отвергнут камнем.
В каждой неделе нотной –
Гаммы.

Корни, основа, базис:
Ящер и плод изгиба.
Кто покидал оазис? –
Двое.
А возвращались розно.
Пряча глаза и речи.

Страшен ли Суд, грозно ли
Вече?

Видишь, весы крылаты:
Каждого чаша – вышня.
Господи, дай мне латы
Лишние.

* * *

Нам бы до ста добраться в аскезе,
В здоровом уме и здоровом теле.
Свиток короткий – в него не лезет
Всё, что хотели, но не имели.
В нём не бывает страниц, закладок –
Чистый поток и попутный ветер.
И вырастают из всех тетрадок
Корни деревьев, яблоки-дети.
Падают рядом и вносят лепту –
Следом идущим шагать ровнее.
«Существовать» заменив на «суший»,
Хлебник – замесит, Сеятель – сеет...

* * *

Эта жизнь вдруг такая стала – связные
и позывные.
Никаких смс, разговор – без решётки Кардано
не разберёшь.
Интересно, как долго живут дублёры и запасные –
В один кадр с героем главным не попадёшь.

Статуэтку – за план вторичный, второстепенный.
Имя в титрах не значит. Фейк – а не фея, смех.
Жемчуг, брошенный под ноги, тоже осядет пеной.
Даже тень моя выпадает из кадров всех.

А могла бы – собака Динго, девичья повесть.
В темноте не софит сиял бы, а лунный глаз...
Расскажи, режиссёр, что видишь ты в эту прорезь.
Млечной лентой идёт кино, и оно – о нас.

* * *

Свист-посвист, Родион, нынче в клубе кино
и танцовки.
Сколько раз говорил: вот сегодня я к ней подойду.
Белый танец, гитара, и вечер не хочет концовки,
Рок-н-ролл и винил – так бывает однажды в году.

А потом через вьюгу кружить до соседней деревни –
Провожать, укрывать, размораживать иней
с ресниц.



Из ладони в ладонь обещание делалось древним,
Проникало под шаль и под мёрзлую шерсть
рукавиц.

И обратно – в позёмку. Дорога сужалась до щели.
Сзади фары подслепло подпрыгнули и –
напрямик.

Ты куда, тракторист, ошалелый под градус метели,
Жерновами-колесами мнёшь человеческий крик?!

Мы потом тебя, Родька, мыли от красного снега,
На гробу рисовали дверной и оконный проём.
И лопатами землю рубили,
покуда телега,
Увязая,
тянула на небо
сколоченный дом.

* * *

Если взглядеться в даль, не плывёт ли плот...
Веер-журавль машет: сюда-сюда.
Не шелохнётся высохшая вода.
Девочка-статуэтка сидит и ждёт.

Что неподвижной: плот или острова?
Миф корабельный ржавеет от века к веку.
Море воздушное, дай мне того человека,
Кто наводнит эти реки и рукава.

Кто испытает парус у красных скал...
Зонт раскрывается, сливы щебечут томно,
Плот приплывает к берегу, словно к дому.
Этот шатёр не такой ли, как ты искал?

После потопа, двенадцати лет мытарств,
Рейсовых вылазок – строго по параллелям,
Что твоя гребля!
Я поднимаю с мели –
вёсла,
осколки,
лодки
забытых царств.

Александр ИВУШКИН, Волоколамск Московской области



ГРИБНОЙ ДОЖДИК

Я не верил,
что дождик грибной существует.
Это солнышко, плача, о чём-то тоскует.
Мочит плечи мои теплотою щенячьей.
Поглядите внимательней: солнышко плачет!

Но бегут кто куда
люди в спешном веселье,
словно их закружили в саду карусели.
Словно нет на земле бед, обид, неудачи...
И не видит никто: моё солнышко плачет!..

Может, зря я кручусь здесь
кричащей вороной,
словно только сейчас кем-то я обворован?
Может, дождик грибным не напрасно зовётся,
может, солнце не плачет, а всё же смеётся?!

На ветвях
золотистые капли повисли.
Наполняясь, блестят, как весёлые мысли.
Улыбаясь, глядят: ну, довольно сердиться!
Дождик!.. Дождик грибной
над землёй веселится!..

НЕ УГОДИТЬ!..

В январе вдруг задождило.
Вновь зима не угодила:
нам снежку бы да морозца,
чтоб румянец на щеках!
А мороз ударил – плохо.
Снег пошёл – мы тут же охать.
Не зима, а наказание:
не замёрзнуть бы в снегах.

Стоишь и смотришь вдаль, окружена
Печалью вековой, печалью древней.
Над тусклой вымирающей деревней
Рассветная нависла тишина.
Махнуть и позабыть бы разум рад!
Да только здесь твой дед, отец и брат...

Чему служили век, не заслужив
Ни почестей, ни звания, ни чина
Твоей семьи великие мужчины,
Отечества достойные мужи
И женщины, им равные под стать.
Всех не упомнить и не рассказать.

Измученный и жертвенный народ,
Овеянный прощением и тайной.
Он на костёр прощальный, погребальный
В который раз, не сетуя, взойдёт.
Стоишь, и века крутится спираль
И всех так жаль, так бесконечно жаль.

Задумаешься снова ли, Бог весть,
В московской ошалелой круговерти
О святости служения и смерти.
Поэтому вдыхай, пока ты здесь
Стоишь – и как в былые времена –
Причастна, сожжена и прощена.

* * *

Есть на земле особые места,
Где времени раздел особо тонок,
С невидимой духовною нагрузкой,
Куда ты приезжаешь, как домой.
И где бы дух твой ни произрастал,
Будь ты старик, и взрослый, и ребёнок –
Ты станешь здесь невыносимо русским,
Невыразимо русским, милый мой.
Пройди продольным берегом реки,
Сквозь луга зеленеющую поросль,
Сквозь рощ цветущих яркое убранство
Под храма белоснежный монолит.
Здесь корни оживают, глубоки,
Услышав с детства столь знакомый голос –
То сквозь незримые столетия и пространства
Бессмертный Пушкин с нами говорит.

* * *

Расскажи мне, как можно остаться самой собой.
Я оставила гул Москвы и морской прибор
И вернулась к истокам пустой и осоловевшей.

Май махал мне вослед цветущей в садах черешней.
Папа встретил меня на вокзале совсем седой.

Расскажи мне, как можно не помнить весов и мер,
Как смириться и жить по велению небесных сфер,
Как ни боли, ни зла, ни времени не бояться.
Моей младшей сестре, не заметишь,
как стукнет двадцать.
Я во всём такой дурной для неё пример.

Расскажи ей о том, что можно не уезжать,
Что быть можно счастливой, если рядом отец
и мать,

Что чужой порог далёк, и высок, и крут,
Что нигде, кроме дома, не любят нас и не ждут.
Двум домам, как двум родинам, не бывать.

Расскажи ей, что год скитаний идёт за три,
Что не стоит играть даже за ценный приз,
Что бывает неважно, прав ты или не прав ты.
Дай везенья и сил напрямую дойти до правды,
Что на самом деле сияет у нас внутри.

Галина ИЛЮХИНА, Санкт-Петербург



ПОЭТ И ЯБЛОКИ

(осеннее, почти несерьёзное)

Ты у окна сидишь, небритый,
подперши щёки кулаками.
А яблоки летят с орбиты,
сверкая лунными боками.
Трещина от спелости, ранетки
о землю стучаются глухо.
А ты на даче, словно в клетке,
где жизнь твоя скучна, как муха,
жужжащая в проеме окон
за рваной тюлевой гардиной.
Тоска, свивая серый кокон,

ворочается за грудиной:
кому – венец лауреата,
земная слава, Ницца, Варна...
А ты вот – жертва плагиата,
интриг и сплетен кулуарных.
Не оценив, тебя забыли,
и быт накрыл разбитой лодкой...

...А в кухне, в облачке ванили,
жена щебечет над шарлоткой.
Он подышать выходит в сени
и там стоит, забытый богом,
как яблоко с подгнившим боком
в траве осенней.

* * *

В день солнечный, стеклянно-ледяной,
о мелочной судьбе своей не ной –
о нищете, соломенном вдовстве...
Иди, шурши, раскинься на листе,
вдыхай арбузный воздух октября,
как будто ты не зря, и всё не зря:
и осени неистовая синь,
и синяки у входа в магазин,
и скверик в конопатой пестроте,
и мамочки, пасущие детей,
и куполом сияющий собор,
и некто, наблюдающий в упор,
как падает его стеклянный шар,
в котором он все это намешал.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

У талой воды металлический привкус тоски
и вязаной варежки в корке налипшего снега.
Сиротские сумерки, насыпь до самого неба,
и к рельсам сбегает блестящего льда языки.

В желтушном закате чернеет ветвей нагота.
Смурные вороны срываются с серых сугробов –
крик электровоза под гулкой машиной моста –
и с насыпи мчатся путейцы в оранжевых робах.

Иришкины санки швырнуло, согнуло в дугу,
и снег набухает под ней, как арбузная мякоть.
Я рот зажимаю и глаз отвести не могу
от этой картины. Стою и не смею заплакать.

Ей мама твердила: «чтоб дома не позже шести!»
Иришка кривлялась украдкой, и я хохотала...
Яичное небо вспороли кусты краснотала.
Вот там и тогда начала я взаправду расти.

* * *

Тут солнечно и холодно. Зима.
Вот девочка с коленками худыми,
протаивает лунку в белом дыме.
О, господи, да это я сама
проваливаю в облачный сугроб
холодный лоб.

Дышу-дышу. Совсем осталась малость.
Сим-сим, откройся! Нету терпежу.
Ещё чуть-чуть – и лунка продышалась,
и я в неё так пристально гляжу.

А там, внизу, виднеется земля –
мохнатая, зелёная, большая.
И море. И скорлупка корабля.
А тут зима, сугробы распушая,
сверкает ослепительно окрест.
И я как перст.

Кому сказать – «я больше так не буду,
кому кричать сиротское «ау,
пожалуйста, пусти меня отсюда
опять туда, домой, где я живу»?

Сама себе и птица, и гнездо,
сама себе ребенок и родитель.
И медленно, как болеутолитель,
внутри меня, стихая, нота «до»
уходит в шорох зрелого зерна.
И – ти-ши-на.



Елена ИСАЕВА, Москва



* * *

Холодно. Ветер.
 Жёлтые фонари.
 Чем в эту пору
 Греть себя изнутри?
 Холодно. Кризис.
 Мало в кафе людей.
 Как же нам выжить?
 Нет никаких идей.
 В «Хлебе насущном» –
 Хумус. Горячий чай.
 Летом грешили –
 Осенью отвечай.
 Отогревая
 Руки – ладонь в ладонь,
 Господи, мизансцену
 Мою не тронь!
 Сколько позволишь,
 Столько продлится, чтоб
 Жизни конечной
 Не охватил озноб!
 Ляжет на лица
 Отблеск от фонаря.
 Буду молиться,
 Чтоб ничего не зря!
 Чтобы он вынес
 Жизнь и со мной, и без...
 Хумус мой! Цимес!
 Белый песок с небес!

* * *

Цвет сезонный, красивый, бежевый!
 Босоножки – каблук литой!
 Не удерживай! Не удерживай
 Ни умом и ни красотой!

Может, он просто добрый, вежливый,
 А ты рифму всё – на любовь!
 Не удерживай! Не удерживай!
 Что отпустишь – вернется вновь!

Эта жилка, такая нежная,
 Бьется трепетно у виска!
 Не удерживай! Не удерживай!
 Не удерживай! Отпускай!

* * *

Вот упал человек, обагрился под ним тротуар.
 Он глядит в небеса, подогнув неестественно стопы.
 Ни за время поллёта, ни за превентивный удар,
 Ни за цены на газ, ни за благополучье Европы,
 Ни за что, ни за что! Просто он под раздачу попал
 В этом месте, где парки свою непослушную пряжу
 Завихрили воронкой в жестокий и злой карнавал...
 Но, конечно, верхи всех резонов низам не
 расскажут.

И лежит человек. Он отсюда теперь далеко.
 Днесь он выбыл уже из земного порочного круга
 И глядит в облака, где свободно, легко и светло...
 Там, где укры и ватники – все обнимают друг друга.

* * *

Чтобы раны нежно смазывать,
 Бред спасительный несём.
 – Обо всём тебе рассказывать? –
 Знаешь, нет, не обо всём!
 Нежность сглатывать по ложечке,
 Чтобы ёкало в груди...
 – Ты щади меня немножечко,
 Малость самую щади...
 А в глазах смеются чёртики,
 Хоть и преданно глядит.
 Знаю, что однажды всё-таки
 Он меня не пощадит!

* * *

В отношениях что-то новое
 Силуэтом в углу пейзажа:
 «Разрешаю тебе другого.
 Так люблю – разрешаю даже.
 Век не вечен, и мир не тесен.
 Что друг с другом нам притворяться?»
 А другой – он красив и весел,
 И моложе их лет на двадцать!

«Разрешаю...» – и таёт голос
 В неохватном пространстве млечном...
 И грустит одинокий космос,
 И завидует человечкам...

* * *

Когда выбираешь дорожки,
 Смотри неотрывно вперёд!
 Наденешь другие серёжки,
 И жизнь по-другому пойдёт.
 Волнение это знакомо –
 Что если бы там да кабы...
 И ты улыбнёшься другому,
 Меняя рисунок судьбы!

* * *

За то, что в унисон дышали,
 Расплачиваться надо резко:
 Пространство ей не разрешает
 К нему пробиться эсэмэской.
 Она не будет, как подростки,
 Гадать на кофе и на воске,
 Что там судьба за них решила...
 Она стоит на перекрёстке
 И смотрит на поток машинный...
 И от неправильного шага,
 От страшной пропасти бездонной
 Спасает, как всегда, сермяга –
 Вдруг зажигается зелёный!
 Она проходит – на зелёный...

* * *

Что ты об этом вспомнишь?
 Жгущей крапивы плеть?
 Может быть, это помощь,
 Чтобы не умереть?
 Ох, и крута тропинка!
 Ну, и куда ведёт?
 В заросли Метерлинка?
 В Бунинский «омут вод»?
 В трепетности растений
 Кроются ли шипы?
 Сколько сочтёшь мгновений,
 Краденых у судьбы?
 Солнца счастливый мячик
 Над головой его...
 Что друг для друга значим?
 Всё или ничего?

* * *

Там, на дороге в никуда,
 Светила яркая звезда,
 Светила так, как никогда
 Светить не будет!
 Она светила, как могла,
 Она себя не берегла,
 И тот, кто не был там – пускай
 Не судит.

Я угадала без труда:
 Любовь меж пальцев, как вода,
 Уйдёт, оставив у двоих
 Ожог саднящий.
 Вела дорога в никуда,
 А эта ложная звезда
 Светила ярче всех других –
 Звёзд настоящих.

Там, на дороге в никуда,
 Мы расставались навсегда,
 Любовь, оставив нас одних,
 Брела к обрыву.
 Ты вспоминай хоть иногда,
 Как та несчастная звезда
 Светила ярче остальных –
 Вполне счастливых!

Инна КАБЫШ, Москва



* * *

Была любовь у нас, как море,
 а после – началась война,
 и слишком много было горя,
 и слишком я была одна.
 И жизнь короткою казалась,
 и старость снилась мне во сне:



к себе сильнее стала жалость,
 чем к тем, что гибли на войне.
 И было ждать невыносимо
 (хоть с детства знала «Жди меня»),
 казалось, жизнь проходит мимо,
 и мало ночи, мало дня. . .
 Не потому что я плохая
 (ну извини – не дождалась!),
 а потому что жизнь такая –
 любовь и кровь,
 война и грязь.
 . . Ты из такой вернулся дали,
 ты видел смерть,
 ты видел ад.
 И как звенят твои медали.
 Уходишь –
 а они звенят.

* * *

Вот и всё. Севастополь в июле,
 уплывает мой выросший сын,
 но совру, что меня обманули:
 человек не бывает один.
 Севастополь в июле, а значит
 не чужой он уже, не пустой:
 за деревьями где-то маячит
 молодой и красивый Толстой.
 Это кажется только, что вымер
 этот город, восьмой из чудес, –
 молодой и красивый Владимир,
 взявши воду, берёт Херсонес.
 И «Силистрия» снова на рейде,
 и Нахимов такой молодой.
 И живой.
 И вина мне налейте,
 что с утра ещё было водой.

* * *

Затаилась природа – и ждёт,
 что ещё бы устроить такое:
 каждый миг (каждый день, каждый год –
 днесь и присно!), лишая покоя.
 Знаю я, чего стоят они –
 её виды, лужайки, полянки,
 все труды её знаю и дни –
 все ужимки, прыжки, заподлянки.
 Вижу я, как тонка эта нить,
 как всё зябко, и зыбко, и тонко,
 и готово пожрать и убить,
 утопить, как слепого котёнка.

И в лицо ей, родной, говорю
 (это мука, а вовсе не смелость!):
 ненавижу всю сущность твою:
 равнодушие, жестокость и смертность

* * *

Зимой, когда страшно просто взглянуть в окно –
 не то что куда-то ехать, хороший мой,
 когда по утрам за окном до того темно . . .
 короче, нашей отечественной зимой,

когда я со всеми вместе иду к метро
 и в сумке бездонной моей вся война, весь мир,
 все слёзы мира, всё зло его, всё добро –
 и йогурт, а иногда кефир,

когда я штурмом, как крепость, беру вагон,
 где глупо держаться и трудно порой дышать,
 где я засыпаю стоя и вижу сон,
 где ты не ушёл и где живы отец и мать,

где все до того близки мне – со всех сторон,
 что чья-то ушанка мне лезет упорно в рот, –
 я вдруг понимаю, что я – это, в общем, он,
 прости за пафос, имея в виду народ.

И если меня не грохнули в тридцать пять,
 и если я не повесилась в сорок семь,
 то надо дальше как-нибудь доживать
 не чтоб назло или на радость всем.

А просто – проехали – всё – не вернёшь билет –
 и с каждым годом светлее моя печаль,
 и смысла теперь умирать никакого нет,
 поскольку старых, их никому не жаль.

* * *

И ехали всего-то мы на дачу –
 не в монастырь, не с палкой по Руси, –
 в киосках придорожных брали сдачу
 и обгоняли фуры и такси,
 то голод утоляли мы, то жажду,
 и всё дорога делалась длинней –
 и кончилась любовь твоя однажды,
 и кончилась печаль моя по ней.
 И я просила самую лишь малость –
 ВСЁ кончилось, и я теперь одна, –
 и только чтоб дорога не кончалась.
 . . . И так-таки не кончилась она.

* * *

И окно ли выходит в деревья,
иль деревья заходят в окно,
и печаль, словно мир, моя древня,
и ему, как всегда, всё равно.

И деревья кончаются небом,
но туда ты меня не мани:
не корми меня, Господи, хлебом –
утоли ты печали мои.

Не выходят наружу рыдания,
но спекаются комом в душе.
и такая там плотность страданья.
что оно как бы счастье уже.

* * *

Никакая война
далеко не бывает:
пуля-дура летит –
и меня убывает.
И становится тень
на стене слишком узкой:
никакая война не бывает не русской.
Никакая земля не бывает далёко –
за полями поля,
а не око за око.

* * *

У меня, как у всех, нынче есть свой e-mail,
Нынче есть, как у каждой собаки, мобила.
Но кто письма писал, тот теперь онемел,
И ушёл, кто звонил и кого я любила.

И уходит день за день земля из-под ног,
мои дети уходят – свои и чужие.
Только вскрикнешь по-бабьи: «Куда ты, сынок?..»
А они всё идут – все такие большие.

Даже буквы срываются нынче с листа
И летят словно клин, а потом –
словно точка...

Я стою на ветру, я совсем сирота,
одиночка ли мать, капитанская ль дочка,

хоть горшком назови, хоть совком – не боюсь:
я как мёртвый, который не ведает сраму.
...А ночами мне снится Советский Союз,
тот,
где мама моя моет вечную раму.

Вечеслав КАЗАКЕВИЧ, Токио,
Япония



* * *

Все ушли, а дверь закрыть забыли,
и стоит в ней жаркий, золотой,
с ослепительной крупницей пыли,
будто с леденцовой звездой,

летний свет... И в душу мне сияют
всех ушедших яркие глаза,
всех умолкших к сердцу подступают
бодрые живые голоса.

Кажется, подай ладонь неловко,
и тебя цветами поведут
то ли за посёлок на маёвку,
то ли к Господу на Страшный Суд.

* * *

В гавани серой, где возятся волны,
встретился я с компанейским бездомным.
Жестикулируя, возле перил
с мусорным ящиком он говорил.

Тоже нашёл себе собеседника!
Господи, что за болван... –
пробормотал я морю осеннему,
тумбам, с вонючим связавшимся сейнером,
хлюпающим столбам.

* * *

Сидишь где-нибудь в Патагонии,
и сердце совсем не болит,
хоть осень на подоконнике,
и дождик по сердцу стучит.



По белому сердцу из цинка,
которому всюду уют.
Артистам бродячего цирка
такие сердца выдают.

* * *

Белое платье в синий горошек.
«С мамкой сегодня сажали фасоль...»
Пара ужасно уступчивых ножек.
Нет, не читала она про Ассоль!

За общепитом, под месяца вывеской
я ей о верности не говорил.
Нет, не увидит она романтических
алого цвета дутых ветрил!

Парусник, пахнувший свежими досками,
пусть её тоже захватит врасплох,
но с парусами, конечно, неброскими:
белыми просто, в синий горох.

* * *

Хватит пить вино в больших количествах,
шестьствовать нетвёрдо под луною
и ругать японское правительство
так, будто оно уже родное!

Стану в парке дрыхнуть над газетой,
лишнего движения не делаю.
Всё равно, Марго, из жизни этой
уведут меня под руки белые.

ПОЛУБЕЛЫЕ СТИХИ

Подтаскивали лестницу большую
к рябине и взбирались вместе с братом
в шуршание, на толстый скрип садились,
срывали гроздь твёрдых красных ягод...
Сестрёнка бусы делала из них –
на нитке белой кислые кораллы.

Отец авторитетно говорил,
в Москве из этих бусин производят
такую бесподобную настойку,
что пробуют её лишь иностранцы,
восторженными чмокая губами
и хором восклицая: «Сто чертей!»

Сдавал он ягоды в заготконтору.
С рябины нашей мы порой могли
нарвать рубля два-три...

Но было проще
с неё за паутину ухватиться,
летучую, вскочить на журавля –
и ринуться в далёкие края!

Давно я тут...

Здесь красота. Зимой
вовсю цветут камелии и сливы,
вороны обедаются хурмою,
анютины глаза глядят на пруд...
Не видно только ни одной рябины,
они здесь почему-то не растут.

В Россию этой осенью летала
одна моя отважная студентка,
я попросил её купить «Рябину
на коньяке»... Был выполнен заказ!
Я рюмку себе доверху наполнил,
хлебнул разок, другой...

Но не явились

ни радостный отец с сестрой и братом,
ни синева с невидимой сосулькой
и с журавлиною плаксивой ниткой,
ни налетающий восторга вихрь...
Бутылка приторного грубого напитка
не знала и не помнила о них.

Под радужною маркою акцизной,
вцепившейся в стеклянные бока,
там не было ни детства, ни отчизны,
и что ещё печальней,

коньяка.

* * *

Не выси снежные Монблана,
не Синей Бороды дворец,
не хор районных ветеранов,
где выступает мой отец –

зовут меня из темноты,
хватают за одежду цепко
цветок куриной слепоты,
упавшая в траву прищепка.

* * *

Нигде пути не разбирая,
через тоннели и спирали,
сквозь ядра звёзд и глыбы льда
летя неведомо куда
и с кем, и сам уже не свой,
вдруг вспомнишь, как гулял Москвой –
на двух ногах, с двумя руками,
с одной счастливой головой.

Юрий КАЗАРИН, Екатеринбург



* * *

В деревне зимний день длинней.
Сугроб разбит в стекло и в стружку –
сосна упала, и над ней
медведь небесный носит кружку
и звёзды плещет на коней...
Так, засыпая, бьют подушку,
чтоб стало глубже и страшней.

Чтоб сад не чувствовал корней,
чтоб шорох девок и парней
тревожил месяца осьмушку...
Так, умирая, ждут подружку
и лунный снег из-под саней.

ПЕВЧАЯ ЖЕНЩИНА

Ночью не холодно. Просто темно.
Есть сигареты. Светает в четыре.
В небе моём, в незнакомой квартире,
певчая женщина моет окно.
Скоро уже прояснится оно –
так по ладони гадает цыганка.
А у окна городская изнанка:

небо, завод, стадион и кино.
Новая песенка спета давно,
лампа настольная тени тасует.
Так высоко и поёт, и танцует –
вечная женщина моет окно.
Скоро до неба протрётся оно –
вот почему и светает в четыре.
В небе моём, в незнакомой квартире,
певчая женщина моет окно.

* * *

Вязанье тишины запечной,
шум – и подлёдный, и речной.
Встаёт светлее стужи вечной
артериальный дым печной:
так деревянное тепло
молчит – и мучит мирозданье,
лицо любви, лицо страданья –
всё, что до звёзд белым-бело...

* * *

Когда сквозь сердце свет вязальный
проходит спицами зимы,
растёт узор первоначальный
любви, последней и печальной, –
из дикой шерсти дикой тьмы,
где неба снежные холмы
нас вознесли, и плачем мы
полярной нитью вертикальной.

* * *

Ю. Казакову

Я чувствовал, когда на мушку
меня, стреноженного, брали.
И – алюминиевую кружку
срывал с цепочкой на вокзале.
Кончалась водка. Поезд вышел,
солдат по тамбурам качая.
Я даже выстрела не слышал
за колокольчиками чая.
Как после сечи, лес валился –
в лицо – от скорости – навстречу.
А мой вагон остановился –
и семафор плеснул на плечи.
Когда ты мёртв, ты больше значишь
в глухой российской тишине,
где наяву ты горько плачешь
и улыбаешься во сне.



* * *

Небо не глубже боли –
с деревом на краю.
Дерево, выйди в поле –
видишь, один стою.

Небо светлее боли –
звёзды болят в груди...
Дерево, выйди в поле –
прямо на свет иди.

* * *

Птица с наличника смотрит в окно –
в доме темно:
пара пылинок небесного света,
вспыхивает сигарета –
видишь, затяжка и выдох... И вдох.
Это зима упирается в лето.

Это не сумрак, а Бог.

* * *

В каждом снеге – что-то золотое:
видишь, глубже неба снегопад.
Ангелы летают – стоя,
словно в яблоню летят.

Снежный шар качается над бездной,
наливаясь алой белизной,
словно бьётся плод небесный –
в плод земной...

* * *

Когда в тебе зима, а в Тютчеве свобода
и в холоде любом – цыганская игла,
когда в глазах болят и выходы, и входы, –
мерцает Бог из каждого угла –
так из себя выходят зеркала
и в сердце водят хороводы.

И пригоршни синиц несут иные свисты,
и звёзды сквозь тебя пронизывают твердь,
и белые снега легки и золотисты,
когда в тебе, как бог, твоя мерцает смерть.

* * *

Вонзить лицо в мороз до синевы в пейзаже,
где проступают господа персты,
где зеркало берёз, протёртое до сажи,
до розовой и чёрной бересты,
где белая верста длинней любого взгляда,
где шелест или плач большого снегопада
над радостным распадом высоты...

Александр КАЗИНЦЕВ, Москва



БЛАГОДАРЕНИЕ

Строй деревьев в преддверьи заката –
луч с верхушек на землю упал,
день огромный как будто кантата
разрастается в светлый финал.
И в наплывах зелёного света,
словно в сонном спокойствии вод,
к равноденствию катится лето,
и зелёное солнце плывёт.
И бескрайно уже славословье,
но всё ширится, ширится хор,
завершая, скрепляя любовью
всё разрозненное до сих пор.
И в блаженные эти мгновенья
всё мне кажется – это за нас
мир громадный и полный значенья
обращён в благодарственный глас.

* * *

Вода стоит. И облака
по грудь уходят в воду. Веток ивы
касаются. Река нетороплива,
и вечность зелена и глубока.
А там на убегающих холмах

огромный мир залит кипящим солнцем,
и потемнев, и с ужасом в глазах
большая туча в стан грозы несётся.
Как нестерпимо блещет море крыш
всё в оловянных, мёртвых вспышках света.
.....

Ты на плече моём тихонько спишь
в вагоне поезда, летящего сквозь лето.

* * *

Дневная пыль дождём примята,
и тучам вслед летит озон.
Голубоокий мир заката
в прохладных стёклах отражён.
Но он теряет очертанья
в зелёных лужах по дворам
и в тёплом мареве, в тумане
сплошным обманом снится нам.
Но блещет скат у водостока,
и крыши золотом горят,
и кавалькада красных окон
летит на огненный закат.

РОЗА ВЕТРОВ

«Роза ветров» – как в тиши
отдалённый, таинственный зов...
Где бурь перекрёсток лежит,
растёт эта роза ветров.
Маршруты старинных судов,
обрывки долгот и широт –
чудесная роза ветров
над детством неярким растёт.
И если пойти на восток,
на северо-запад пойти,
увидишь её лепесток
в конце ветрового пути.
Есть магия слов. Есть слова
с крючком, с зацепкой к душе:
прочтёшь, повторишь раза два –
И всё завертелось уже –
и в серые тучи Москвы,
«где дождик, и сырость, и мгла»,
цитатой, обрывком молвы
далёкая роза вошла.

ИЛЬИН ДЕНЬ

Медленно вplывает в облака
облако сиреневого флокса.

Ветер налетел – но вдруг осёкся.
Дышит всё спокойствием цветка.
Меж ветвями световые щели,
и лучи огромны и светлы
вверх восходят, будто это елей
вековых горячие стволы.
И на всём спокойствия улыбка,
и во всём такая тишина –
мир цветов, деревьев мир – улитка,
что сама собой завершена.
День Ильин, и Спас, и всё как встарь,
тёплый месяц лени и печали.
В август, словно в золотой янтарь,
лето у порога вмуровали.

* * *

... А останется – в горле ломота
и вскипающих слёз торжество.
Стихотворца нарядна работа,
но она не излечит его.
Строки катятся косо и криво,
далеки они от образца.
Стихотворца работа красива,
но она не излечит творца.
Зренью глаз моих мир подневолен,
и язык мой его властелин.
Но пред этим нашествием воли
я бесславно оставлен один.

ТИШИНА

Тут с тишиною нету сладу,
тут шорохов ночных содом,
тут сад всю ночь ведёт осаду
и сдавливают тьмою дом.
Лишь только выйдешь на террасу
и упадёт подалее свет –
обступит шелест капель сразу:
весь сад дождём с ветвей одет.
Ты в скорлупе из жёлтых брёвен
прислушиваешься к ночи.
А мир огромен и бездомен
и в ставень ветками стучит.

* * *

Я впущу в себя звуки дождя,
тёплого, шепелявящего по пыли...
Лето оглядывается, уходя, –
были ли дни эти долгие? Были.
Были без края и без конца,

сотканы из белоснежной вискозы,
дни, славословящие Творца,
где на осоке повисли стрекозы,
где над рекою завесою ив
стлалась прохладная зелень урёмы,
где за деревней, как дальний разрыв, –
грохот белоголового грома,
там, где в испарине блещущих тел,
в острых песчинках слепящего кварца
полдень июньский грозою кипел,
с ширью земной не хотел расставаться.

Геннадий КАЛАШНИКОВ, Москва



* * *

Дождь переходит в снег, а снег
обводит мелом дороги и кровли...
Мы с тобой давно задумывали побег
туда, где крестьянин свои обновляет дровни.

Нет, наверно, задумывал я один,
прослышав о счастье, покое, воле,
сам себе царь, себе господин,
но – один всего лишь на миг – не боле:

ведь и в глуши очерченных мелом лесов,
застывших с разбегу рек, в тесноте просторов
ты расщепляешься на множество голосов,
ведущих невнятные разговоры и бесцельные споры.

Всё то, что читал, что тебе напевала мать,
что сверстник рассказывал, невпопад, украдкой,
всё это не спит и мешает спать,
листает, нервничает, шуршит закладкой.

Ты тёмную реку переходишь вброд,
ища во тьме огонёк папиросы,

словно на берегу тебя поджидает тот,
кому задаёшь и на чьи отвечаешь вопросы.

При чём здесь крестьянин, и санный след,
и пушкинский почерк по белому белым?
Татуировка синеет, мол, счастья нет,
а есть только свет и тьма, обведённые мелом.

Мы живём впотьмах, впопыхах, и весь этот мир,
где досужий крестьянин успел обновить свой полоз,
всего лишь эхо, неясный, зыбкий пунктир,
надтреснутый, запинаящийся, негромкий голос,

говорящий чудную, чудную весть,
о том, что ты здесь и уже с пути не собьёшься...
– Господи, – пробормочешь, – если Ты есть...
И тут же заткнёшься.

* * *

Дно колодца мерцает, дробится – то ли
зеркало, то ли глаз кита, на спине которого лежит
Земля.

Дом стоит на пригорке, за перелеском пустое поле
да бурун облаков от проплывшего небесного
корабля.

Спорят с ветром деревья, вскипают и даже,
выворачивая листву, переиначивают своё естество.
Весь набор: свет и тень, необходимые для пейзажа,
как и прочие – крупные и мелкие – части его.

Циферблат небосвода всегда педантично точен:
по-имперски безлик, облаков принимая парад.
Здесь подробностей нет, лишь сплошное зиянье
и прочерк,
ибо точен и сух небосвода слепой циферблат.

Это бездны следы, на лазури её отпечатки,
это вечности цепкий, недвижно-внимательный
взгляд.

Сохраняется всё на фасетчатой влажной сетчатке:
никуда не уйдёшь, никогда не вернёшься назад.
Неподвижно плывут облака, циферблат никогда
не проснётся,
дом стоит на пригорке, и в этом какой-то расчёт.
А река под горой и вода в подземелье колодца
всё течёт, Гераклит, всё течёт, и течёт, и течёт.



* * *

Ночная река, расширяясь, беззвучно уходит
 во тьму,
 там что-то дрожит и пульсирует слева,
 поток замирает, и низко склонилось к нему
 бессонницы серое голое древо.

Тяжёлая птица сутоло сидит на суку,
 из мрака во мрак переходит неясная нежить.
 Прихлынет волна – про любовь и тоску,
 отхлынет волна – про разлуку и нежность.

Такая любовь, что и ельник горбатый колюч,
 такая разлука, что реку сгибает в излучку.
 Сквозь чёрную воду мерцает серебряный ключ,
 и больно туда опустить ослабевшую руку.

Как страшно река обрывается: сразу и в не
 любых оговорок, всплывает изгладанный
 ревностью камень,
 дробится луна на беззвучной покатой волне,
 и рыбы плывут, и луну задевают боками.

* * *

Последний трамвай, золотой вагон, его огней
 перламутр,
 и этих ночей густой самогон, и это похмелье утр,
 как будто катилось с горы колесо и встало среди
 огня,
 как будто ты, отвернув лицо, сказала: живи
 без меня, –
 и ветер подул куда-то вкось, и тени качнулись врозь,
 а после пламя прошло насквозь, пламя прошло
 насквозь.
 огонь лицо повернул ко мне, и стал я телом огня,
 и голос твой говорил в огне: теперь живи без меня, –
 и это всё будет сниться мне, покуда я буду жить,
 какая же мука спать в огне, гудящим пламенем быть,
 когда-то закончится этот сон, уймётся пламени гуд,
 и я вскочу в золотой вагон, везущий на страшный суд,
 конец октября, и верхушка дня в золоте и крови,
 живи без меня, живи без меня, живи без меня, живи.

Григорий КАЛЮЖНЫЙ, Москва



* * *

Снова здесь не узнали меня,
 Не признали ни друга, ни брата.
 Я прошёл, направленье храня,
 Все возможные точки возврата.

За собою не знаю вины
 И не жду ни любви, ни привета.
 Выбирать мы порой не вольны,
 Ты прости мне, родная, и это.

Растерял я советы иных,
 Промотавших всю жизнь на приколе.
 Наплевать мне, что нет запасных –
 Примет русское поле.

* * *

Клянусь погибшею рекой,
 Чью синь оплакали лягушки,
 Что страшен сумрачный покой
 Пустой навеки деревушки.

Зачем оставили её?
 Куда ушли и что с ней будет?
 По крышам тянется быльё,
 И дикий тлен по избам блудит.

Где отыскивали счастье те,
 Кто здесь родился на свободе,
 Кто был в душевной простоте
 Издревле мил живой природе?

Не объяснит всего расчёт –
 Покинуть этот край не просто.
 К деревне брошенной ведёт
 Тропа от древнего погоста...



Но тень мелькнёт иль гость какой –
Уже бодрится и вздыхает
Сад над погибшею рекой.
И вдруг калитка зарыдает...

* * *

Занавесили Божий лик,
Не сказали, что это значит.
Потеряло село язык –
Не кричит, не поет, не плачет.

Поразъехались кто куда
Из насиженных мест крестьяне
В полоумные города,
Словно сели в чужие сани.

И явился голодный год,
Потекли ручейки исхода,
И узнал, наконец, народ,
Что таила в себе «свобода».

* * *

Я живу в сосновой бане,
Мне не спится по ночам.
Рад я солнышку в тумане,
Рад сорокам и грачам.

Рад пчеле миролюбивой
И цветам, что ярче свеч,
Рад росистой крапивой
Ноги начисто обжечь.

Лужам рад и майской грязи
И чему названья нет.
Рад живой обратной связи
Длящей тот и этот свет.

Май 2013 г.

* * *

Повсюду множатся заборы.
Как хорошо, что есть простор,
Что наши Пушкинские Горы
Не упираются в забор.

Не уповая на погоду,
Я говорю, когда гроза,
– Не только им, всему народу
Ограда – Божьи образа.

21.06.2017

* * *

А. С. Глыбину

Други! Выпьем за отвагу,
За нетленный идеал!
Свой приказ: «Назад ни шагу!»
Сталин ведь не отменял.

Вспомним: в пору ратных споров,
В дни раздоров и опал
Полководец наш Суворов
Никогда не отступал.

Вспомним гром его удара:
Гренадёры в полный рост,
Глядя в пропасть Сен-Готара,
Одолели Чёртов мост.

Укротим же дух раздоров,
Чтоб звучал Победы глас!
Ведь на небе сам Суворов
Богу молится за нас.

Людмила КАЛЯГИНА, Москва



ВОДОВОЗНОЕ

Счастье просто и беспородно, если выберет –
то само.
На обиженных возят воду, на волшебниках –
эскимо.
Водовозы усталым шагом измеряют пути в длину:
Каждый тащит свою баклагу, даже, может быть,
не одну.

Ничего никогда не поздно, если выберут – то тебя.
Кто-то щедро насыплет проса зимним встрепанным
голубям.



Бахытжан КАНАПЬЯНОВ, Алма-Ата,
Казахстан



* * *

И пролегли вдоль берега следы,
Их волны неустанно омывают,
И с каждой волною они тают,
И в каждом – дышит горсть живой воды.
И если ночью волны затихают,
Забьётся чешуёю свет звезды,
Быть может, звёзды, только звёзды знают,
В какую даль ушла по жизни ты.
Звезда молчит со мной наедине.
Волна спешит, спешит волна к волне.
О волны, волны, вы по звёздам сверьте
Необратимый этой жизни путь.
Он далеко за морем где-нибудь
Соприкоснётся с горизонтом смерти.

СТАРАЯ АЛМА-АТА

Природой сотворённый сад камней
Меж горных речек двух – Алмаатинок.
Там засмотрюсь на тишину снежинок,
Прислушаюсь к дыханию огней.
Мне в мире нет и не было родней
Той улочки, где чёрно-белый снимок
Всплывал из ночи памяти, а в ней
Звон под карнизом родниковых льдинок.
И в рифме «горы – город» есть ландшафт,
Там в мамин я закутывался шарф
В одном из обживаемых ущелий.
Пугасов мост. Фуникулёр. Базар.
Кресты могил, и на холме мазар –
Сквозь голубые царственные ели.

* * *

Когда я заплакал однажды во сне,
Волшебное слово промолвили мне.
А утром я вспомнить то слово не мог,
Мне мать отвечает: – Не знаю, сынок...
Волшебное слово для близких людей
Мерещится рыбкою в неводе дней.
Когда засыпаю – в ночной тишине
Опять это слово приходит извне.
А утром не вспомнить, найти не могу.
Один только вздох, что не вставить в строку.
Как будто бы ношу сын принял из рук:
Всплакнул он во сне, заворочался вдруг.
Заветное слово пройдёт ли сквозь сон?
А если пройдёт, то запомнит ли он?

* * *

Дыхание моей любимой
Качнуло тишину слегка.
Быть может, ангелом хранима,
Что входит в образ мотылька.
Я тайну женского покоя
И не пытаюсь отгадать.
Я шторой свет луны прикрою,
Чтобы не падал на кровать.

МАЛЬЧИК

И как по тропинке мальчик бежал,
по забытой тропинке,
и как по арыку плыл лист пожелтевший,
лист пожелтевший,
И как по дороге, впрягшись в телегу,
шла лошадь понуро,
И как по щеке слеза пролегла,
на губах горький привкус.
Высохли слёзы, сгнил лист пожелтевший,
а мальчик остался.
Птицы исчезли, скрылась лошадка,
а мальчик в матроске
стоит на обочине детства,
взглядом меня провожая...

Александр КАПУСТКИН, Севастополь

ПАМЯТИ ИОСИФА БРОДСКОГО

А где-то в Венеции стилой
Венецианская кошка
Похожа на кошку в России
И на поэта немножко.

Гуляет по камням вдоль пирса,
Как будто по невским гранитам
Гуляют ожившие сфинксы
Похожие на пиитов.

И что-то мурлыкает нервно,
Почувствовав непогоду,
Но будет прохлада верная
Похожая на свободу.

И будет волна настойчиво
Врезаться в гранит до времени,
Царапая неразборчиво
Похожее на стихотворение.

А чайка летит бессмысленно
От берега вдаль до берега,
Туда, где прощались с листьями
Блокноты сродни с деревьями.

Туда, где автобус-бочечка
Его сохранил дыхание
На стёклах, прогретых строчкою
Похожею на прощание.

А кошке не надо премии,
Ей хватит мостов и лунности.
Венеция – сердце времени,
И часто – влюблённость юности.

Но сердце, стучать замаявшись,
Осталось навечно спето,
На Божьем колечке камешком –
Застыла судьба поэта.

* * *

Ты с планеты одной,
Я с планеты другой,
Межпланетное что-то
Между мной и тобой.
Я тебя не люблю
И твой взгляд не ловлю,
Только тянет опять
На планету твою.
Это космос какой-то
Этот взгляд неземной,
Я рисую тебя
Обгоревшей звездой.
Уголёчек звезды
Чертит высь серебром,
Я пишу о тебе
Птицы феникс пером.
Межпланетное что-то
Между мной и тобой,
Я тебя не люблю,
Я с планеты другой.
Межпланетное что-то...
В галактическом сне
Ты приходишь ко мне.
Ты приходишь ко мне.

Алёна КАРИМОВА, Москва



* * *

Твоей депрессии вечная мерзлота,
твоих похвал фальшивая позолота...
и каждый раз я думаю: «вот черта»,
но за чертой опять возникает что-то,

и за пределом новый встаёт предел –
то ли терпенья, а то ли уже эмоций.
Красивый эндшпиль не всякому удаётся.
Ты утверждаешь, что не хотел.
Хотел.

* * *

Озеро прячет рыб,
по берегам – трава,
от золотой жары
кружится голова.
Сосны растут в песке,
тропки уводят в лес,
будто на волоске
мы от больших чудес.
Странностям нет числа.
Ближний молчит, дурак.
Я бы его спасла,
если бы знала, как.

* * *

Не смей меня ловить в лукавой перекличке –
нескладный алфавит, как ящерицын хвост
достанется тебе – я выйду сквозь кавычки –
возьму прямую речь, её рисунок прост.
Когда-то и меня кружило в карнавале,
и тайны вождедев, вослед тебе влекло,
но нынче близорук мой взгляд, и трали-вали
мне скушно заводить сквозь умное стекло.
Мильоны мелочей сплетут густую чашу,
покуда в пользу «быть» решается вопрос...
Не смей меня любить – я стану настоящей –
и не смогу других воспринимать всерьёз.

Николай КАРПОВ, Москва



В КОНЦЕ ДОРОГИ

В конце дороги неуместны
Очковтирательство и лесть.
Предстать пред Богом надо честно, –
Таким, каков ты, грешный, есть.

Не в этом суть, что Он всё видит, –
Твою Судьбу и твой позор,
И что напрасно не обидит,
Свершая Высший Приговор.

А в том, чтоб ты сказал открыто,
Последней правды не тая,
Что натворил ты в бездне быта
И на высотах бытия.

Чтоб со своим прощаясь веком,
Не украшая ничего.
Ты оставался Человеком –
Посильным образом Его...



* * *

Внуку Алёше

На участке песчаных земель,
Обиходив, как скажет наука,
Голубую аянскую ель
Я возвращу для любимого внука.
Чтоб он видел в своём далеке,
Вне привычных законов и правил:
Дед стоит в голубом пиджачке, –
Попеченьем его не оставил...

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

Вы мать двоих детей
И я – отец двоих.
Покой своих семей
Мы бережём для них.

Нам кажется у вод,
У вытертых перил,
Мы ждали пароход,
А он давно уплыл.

Пусть не было и нет
Меж нами ничего,
От вас исходит свет
Из существа всего.

И в тихий поздний час,
Когда пейзаж грустит,
Я думаю о Вас,
И Бог меня простит.

ЖАСМИН

Когда брожу под небом млечным
И наблюдаю звездопад,
Со дна души всплывает нечто,
Похожее на Китеж-град.

Сперва идут четыре древа,
Затем кирпичная труба
И три окна, и в том, что слева, –
Моя начальная Судьба.

И мальчик, светлый и губастый,
Неповоротливый, смешной,
Мне успеваешь крикнуть «Здравствуй!»
И покрывается волной.

И я опять в полночном поле
Гуляю медленно один,
И звёзды в небе поневоле
Напоминают мне жасмин.

Посажен добрыми руками,
Возросший в сумрачную высь,
Он светит белыми цветками
На всю оставшуюся жизнь ...

* * *

Голос из Мироздания
Слышу как Благодать:
«Хочешь ли три желанья
Главные загадать?»

Заколотилось сердце...
Я перевёл дух:
«Господи, Милосердный,
Хватит с меня и двух! –
Пусть, как в осеннем поле,
В мерзости “перемен”,
Будут Покой и Воля,
А остальное – тлен!..».

УХОД

Мне стало грустно, сгнула отрада.
Замучен каждодневной суетой,
Я вдруг подумал: «Мне уйти бы надо,
Как это сделал некогда Толстой...»

Решил – уйду! В любое время года
Мне снова счастье станет по плечу.
Но на дворе промозглая погода, –
Там снег с дождём. Вдруг ноги промочу?

Потом помру. Сбегутся на поминки.
Навалятся на водку и еду.
Купить бы надо новые ботинки.
Скоплю деньжат. Куплю. Потом – уйду...

Светлана КЕКОВА, Саратов



* * *

Плода запретного вкушение,
Тоска, и мука, и вина...
Обломки кораблекрушения
На берег вынесет волна –

Ковры, торшеры, кресла дачные,
Цветастые половики,
Размокшие контракты брачные
И тени рыб со дна реки.

И жёны, бытия виновницы,
Чтоб завести в домах уют,
Из листьев мяты и смоковницы
Своим мужьям одежду шьют.

* * *

Я буду вглядываться в прожилки
кленовых листьев,
я буду жить
в своей камерке, как джин в бутылке,
я буду длинное платье шить.

Успеть бы вовремя мне,
узнать бы,
как превращается слово в свет,
я буду платье для белой свадьбы
себе готовить на склоне лет.

Всё, что мне дали, – верну сторицей,
и только смерть не возьмёшь живьём...
Но стало слово жуком и птицей,
пчелой, архангелом, муравьём.

Вода из крана, как речь без пауз,
струей серебряною течёт,

и копошится словесный хаос –
провал – сияние, нечет – чёт,
орёл и решка, разрыв – объятье,
любовь – убийство из-за угла...

Пока ещё не дошито платье.
Но где же нитки? И где – игла?

* * *

Если птица летит на свободу –
бьётся сердце у птицы внутри...
Не смотри на меня как на воду,
на меня как на пламя смотри.

Если я твои ласки приемлю –
значит, ты не боишься огня...
Не смотри на меня, как на землю,
как на воздух смотри на меня.

Волны моря – солёные глыбы,
это море бушует во мне,
и плывут разноцветные рыбы
где-то там, на большой глубине.

В дивный ад, в голубую могилу
ты нисходишь, как в призрачный сон,
чтобы соль, потерявшую силу,
взять в ладони и выбросить вон.

Складки волн, их извивы, изгибы
замирают в предсмертной тоске –
и лежат разноцветные рыбы
на камнях и на мокром песке.

* * *

Болят у тополя голова –
он будет листвой шуметь...
И если всё же мои слова
не олово и не медь,

и если вправду мои стихи –
признание моей вины,
и если будут мои грехи
действительно прощены,

то, значит, в будущем стану я
потоком, текущим с гор,
поскольку всё-таки жизнь моя
не только словесный сор.

Когда-нибудь – ты меня прости –
я снова к тебе приду,
я буду в зарослях слов цвести,
как роза в чужом саду,

я буду новые песни петь
некстати и невпопад,
и буду в воздухе я висеть,
как ангел и водопад...

* * *

Расскажи мне о жизни в пустыне,
о тоске, о великом огне,
о любви, об отце и о сыне,
расскажи о бессмертии мне,

о грехе, милосердии, страхе,
о предательстве мне расскажи,
о победе, о жизненном крахе,
о молчанье, о правде, о лжи,

о страдании, смехе и плаче,
о враче – или нет – палаче
расскажи – ты не можешь иначе:
плачет мир у Тебя на плече.

Юрий КЕКШИН, Смоленск



* * *

Он рванулсá сквозь темень на дот,
Не кричал и не гнулсá,
Но, за десять шагов до высот,
Он о пулю споткнулсá.

Он поднялсá, споткнулсá опять,
И поверил – что поздно:

Повернулсá галактика вспять
И осыпалсá грозно.

Он поверил, что кончилсá бег,
В муках смерти забилсá,
Окровавлённый тающий снег
Его жизнью дымилсá.

А душа его, с горних высот,
С болью зрила, как с вражьей пехотой,
Смертно бились родной его взвод
И его поредевшая рота...

* * *

Над домом и полем, над рощей и садом
И вечен, и странен огонь звездопада.

Стареют и звёзды за счастьем в погоне,
Им срок обозначен на Божьей ладони.

И скорбно летят на небесный погост
Горящие жизни невидимых звёзд...

Михаил КИЛЬДЯШОВ, Оренбург



СЛОВА

Хула, хвала или пророчество,
То мелодичны, то сухи,
Слова боятся одиночества –
Объединяются в стихи.

Мы в них всегда найдём прощение,
Порой погрязшие в грехах.
Слова боятся обмирщения –
Сакрализуются в стихах.

* * *

Что-то важное мы утратили,
В чём опора для всей земли.
Строим чёрные к нам копатели
На могилы отцов пришли.

И в пустые глазницы Йорика –
Новых Гамлетов монолог:
«Мы смогли обогнать историка –
То-то будет вам всем урок».

* * *

Мы яблоко храним на чёрный день,
Кто знает, сколько быть ещё скитальцами,
Мы не одни – и что-нибудь надень,
Обет молчанья ты покажешь пальцами.

В дороге умываемся дождём,
Ты знак согласия подаёшь мне веками:
В пределы чужеродные войдём
Мы варварами, немцами и греками.

Мы поздно принесли запретный плод,
Тут змея на груди пригрев проклятого,
Потерянный беснуется народ
И хочет доказательств от Распятого.

* * *

То ли разведёнкой, то ль вдовой
В дом, где я по-прежнему живу,
Ты придёшь с седою головою.
Я ли тебя в жены не зову?

Будет в шалаше моей невесте
Рая, хлеба, почести сполна,
Но с тобой пришли худые вести:
Будто на окраине война.

Мы с тобой разделим соль и спички
И о счастье детскую мечту,
Седину в девчачие косички
С горем пополам я заплету.

Опустеет бедное селенье,
Иноземец вступит на крыльцо,
Нас возьмут с тобою в окруженье,
Словно в обручальное кольцо.

* * *

Терпеливые до поры,
Нынче силе мы дали волю,
Сжав дубины и топоры,
Взрыв за взрывом идём по полю.

Сёла наши огнём горят –
Прах и терему, и бараку,
Из окопов заградотряд
В авангарде бежит в атаку.

А за лесом засадный полк,
Где могильщики хмурят брови:
На мгновение мир умолк –
Слышно первые капли крови.

Лишь бы только к плечу плечо –
До Победы и до парада,
Телу брэнному горячо,
А душе от небес прохлада.

* * *

Сон тяжёлый хоронит сестрицу
В тихом омуте чёрной реки.
Что ж ты, миленький, пил из копытца –
Всюду чистые бьют родники.

Ты из рук иноземцев кормился
Золотым ядовитым зерном,
Ты всего на мгновенье забылся –
И на привязи в доме родном.

А кормильцы ножи наточили
И войска созывают, трубя.
Ты не первый, кого приручили,
Не последним зарежут тебя.

...И кругом постаревшие лица,
И на братских могилах венки.
Что ж мы, милые, пьём из копытца,
Отравляем свои родники.

* * *

Если не справляется свинец,
Мы детей уводим со двора,
Мне не жаль цепочек и колец
Для отливки пуль из серебра.

Я магический рисую круг,
Я даю тебе свой оберег,



Ты теперь единственный мой друг –
Самый непорочный человек.

Этой ночью мне идти в патруль,
Если поломаются ножи,
Если мне в бою не хватит пуль,
Ты молитвы в памяти держи.

... В битве обнуляются грехи,
Слава Богу, есть кем дорожить,
Утро протрубили петухи –
Значит, мы с тобой остались жить.

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

Ты всегда нарушаешь традиции:
Ты мальчишеской бредишь игрой:
На столе занимает позиции
Оловянных солдатиков строй.

Над войсками верховной Богинею
Назначаешь предел бытия,
Замыкаю я стройную линию,
Знаю: первая пуля – моя.

Я сложу по нелепости голову,
Ведь непрочно стою на столе.
Как никто знаю цену я олову,
Я расплавлюсь в каминной золе.

Вся игра. Уцелели немногие.
Спрячешь раненых ты под кровать,
А когда протрубишь, то безногие
Вновь придут за тебя воевать.

Наташа КИНУГАВА, Москва



* * *

Где мой ветер? Где мои травы?
Где ты, серенький соловей?
Что тебе в этот раз не по нраву?
Встаньте, травы, и ветер, вей!
Я найду, наконец, этот камень
Или сам он меня найдёт,
И табличку «не трогать руками»
Прочитаю наоборот.
Прочитаю: «пойдешь направо,
Будет то-то, налево пойдешь...»
Где ты, ветер мой? Где мои травы?
Где моя соловьиная дрожь? –
Тишина. И Перун к водопою
Катит землю, просящую пить...
И знакомой иду я тропую,
На которой «убиту быть».

ТНК

«Перекрёсток» за «Копейку»,
За «Пятёрочку» «Метро»...
Размурлыкался котейка,
Набивается нутро!
За *Седьмым* за *континентом*
На японский контингент
«Джаско» радуется контентом –
И чего там только нет!
Всю планету за *Ашаним*,
Перетрём на *Мегамо!*
Сам Андрей забьёт Аршавин
Транснациональный гол!
Мы умрём не за идею –
За Икею и биг-маг...
Пусть жуя, и пусть – потя –
Сдохнем все – да будет так!

* * *

Ты идёшь по воде
 безмятежным Петром –
 не смотри себе под ноги –
 лёгким пером
 выводи эти знаки
 на светлой воде –
 их никто не прочтёт –
 даже звёзды, и те...
 Шаг за шагом –
 рябь,
 шаг за шагом –
 зыбь,
 связь шагов
 не ослабь,
 впереди неусып-
 ная млечность раскинулась
 стражем пути –
 и шаги не нужны уже –
 просто лети...

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ

...Но не будем
 называть вещи
 плохими именами,
 даже своими...

В ХВОСТЕ ПОГРЕМУШКА

Вот и ушла эпоха
 с безграничной верой в человека,
 как когда-то ушла другая,
 с верой в безграничного Бога,
 как когда-нибудь сгинет и эта –
 с верой в теории Фрейда...
 По гремучим пескам змейка
 петляет, в хвосте погремушка...

ВЕТЕРОК

И «светлое будущее» на бездонной ладони
 у смерти,
 И «тёмное прошлое» в
 треугольном конверте,
 И это пройдёт, и не это, как молвил пророк...
 Но веет и веет Божественный нам ветерок...

Илья КИРИЛЛОВ, Оренбург



* * *

Сжигают листву по предместьям.
 Натянут канатом витым,
 каким-то неясным предвестьем
 возносится к облаку дым.

Ваш ровня по слову и делу,
 по взору и духу – родня,
 в родные до дрожи пределы
 вступаю, как в область огня.

Объятый мучительным жаром,
 минуя ряды бочагов,
 как по пламенеющим мшарам,
 вдоль зыбких иду берегов.

Не глину в печах обжигают,
 не жгуче цветёт сухоцвет –
 то, Родина, путник шагает
 на твой очистительный свет.

И Родина всеми тылами
 тому, кто охвачен в кольцо,
 сквозь пепел и жёлтое пламя
 вдруг пристально смотрит в лицо.

– Скитаясь по чуждым пределам
 в сиянии чуждого дня,
 о сыне мой, словом ли, делом
 ты не отступил от меня?

– Встречавшимся разным пройдохам
 о разном далёком трубя,
 о мать, ни взором, ни вздохом
 я не отступил от тебя!



И вновь на разбитой дороге,
 подобный приبلудному псу,
 свои вековые ожоги
 как знак благородства несусь.

* * *

Холодает. Округе не спится
 под осенний пернатый галдёж.
 На заре поспешишь позабыться –
 и крыло невзначай обретёшь.

Я короткий мой век не осилил,
 до дивана едва доволок.
 И теперь погляди: не Россию ль,
 не Россию ль туман заволочь?

Вновь самум задувает с востока,
 и на западе порох и дым.
 Ты, я вижу, обманут жестоко,
 что зовёшь это время худым.

По душе тебе дом у дороги
 и слепое круженье листа,
 но растущее чувство тревоги
 не врачуют родные уста.

И покуда оно не окрепло,
 губы алы, глаза голубы, –
 злое облако пыли и пепла
 оседает на спящие лбы.

И витает, звучит над тобою,
 долетев с пограничных застав,
 сказ о том, как вернулся из боя,
 ни семьи, ни страны не застав...

Пробудиться, вскочить запоздало!..
 Ночь как ночь, только дали тесны.
 Только привкус огня и металла
 отравляет поэмы и сны.

Виктор КИРЮШИН, Москва



СКРИПАЧ

Где точит берег невысокий
 Густая тёмная вода,
 На струнах высохшей осоки
 Скрипач играет иногда.

Смычок невидимый взлетает
 В озябшей маленькой руке,
 И, невесомая,
 Не тает
 Снежинка на его щеке.

Но услышать мотив нездешний
 Не всем дано, и потому
 Лишь опустелая скворешня
 Внимает с берега ему.

Наивно требовать оваций,
 Но даже зная, что почём,
 Невыносимо оставаться
 Неоценённым скрипачом.

И он задумается грустно,
 Иронизируя незло,
 Что лишь сочувствие – искусство,
 Всё остальное – ремесло.

СОЛОВЕЙ

Сколько их
 Под этой звёздной сферой –
 То правее трели,
 То левей...
 Говорят, он маленький
 И серый,
 В зарослях поющий
 Соловей.

В темноте
Почти бессильно зренье,
Но глубок
И осязаем звук.
Ни к чему
Цветное оперенье
Этой песне
Воли и разлук.

Ничего не знаю совершенней.
Слушаю –
Живую воду пью!
Никаких особых украшений
Русскому не надо соловью.

ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ

Летит, прогнозами нечаемый,
Из галактических прорех
Неосмотрительно отчаянный
И обречённо-поздний снег.

Над городами и над пашнями
Уже весенними вполне
И эта дерзость бесшабашная,
Необъяснимая,
По мне.

По мне,
Поскольку откровения
Невыносимо серых дней
Не стоят одного мгновения
Полёта к гибели своей.

МИГРАНТЫ

Тумана пелена
Окутала полмира.
Кремлёвская стена
Едва видна с Памира.

В Хороге дождик льёт,
Взволнованный и гулкий.
Таджики долбят лёд
в Армянском переулке.

О, несравненный век,
Чудны твои дороги!
С утра метёт узбек
У хмурой синагоги.

Меня унитаз
Грузинам на Хованке,
Мыкола из Черкасс
Грустит о вышиванке.

Иззябнувшим леском
На дачу к дяде Ване
Торопятся гуськом
Умельцы-молдаване.

Империи финал...
Кому теперь пеняем?
Интернационал
Уже неотменяем.

КАЛЕНДАРЬ

Что там нынче на дворе –
Детство, отрочество, старость?
Два листка в календаре,
Неоторванных, осталось.

Две случайных запятых
На краю, а не в начале.
Два мгновенья золотых
Для надежды и печали.

Суматошной жизни бег
По канатику над бездной...
И струится белый снег
С тихой родины небесной.



Любовь КИРЮШИНА, Беломорск



ВЫГ-РЕКА ВЕСНОЙ

Проснулась ты, безумная дикарка,
Швыряешь льды – никчёмные подарки.
В тебе – сиянье дня, смятенье гроз,
И свежесть утра, и надменность звёзд,
И страсть...
Ты по-цыгански бесшабашна,
Шумна. Мне близ тебя светло и страшно...

Люблю ветров неистовых сонаты
Послушать, ощутив твою прохладу.
Любуюсь, восторгаюсь, замираю...
А ты спешишь, беснуясь и играя.

ПОКА НА СВЕТЕ ВЫ ЛЮБИМЫ

Пока на свете вы любимы,
Пусть отступают злые ночи.
Не окунайтесь в ваши зимы,
Где встретят вас, потупив очи.

Пока на свете вы любимы,
Прочь суета, долой поспешность!
Не доверяйтесь чувствам мнимым,
Не расточайте вашу нежность.

Не предавайте ваши чувства,
Любовь ничем неизмерима:
Есть счастье даже, даже в грусти –
Оттенки чувств неуловимы.

Пока на свете вы любимы,
Пусть отступают злые ночи.
Не окунайтесь в ваши зимы,
Не опускайте долу очи...

Александр КЛИМОВ-ЮЖИН, Москва



КОНСТАНТИН КОРОВИН

В Лосиноостровском склоняться мальчишкой,
Ворон поднимая дуплетом,
С походной котомкой, с нехитрым ружьишком,
С друзьями в каникулы летом;

Уха на привале, костра пепелище,
Да Яузы всплески на стрежне...
Он вышел к посёлку Большие Мытищи,
Но только уже повзрослевшим.

Качание лапника, ропот листочка,
Природы раскрытая книжка,
Наутро художник проходит лесочком
С мольбертом заместо ружьишка.

Он помнит все тропки, он кисточкой водит,
Рисует мостки и дорогу:
Он любит пейзаж, и любовь переходит
К создателю оного – Богу.

Вот вам и религия цвета и формы,
Мазка и берлинской лазури,
Где воздух настоян на хвое и скромный
По кобальту пятнами сурик.

Трамвай выезжает на мост Москворецкий,
Монмартра карминные крыши.
Бульвар Капуцинок – размытый и светский,
И адский, – сам дождь не напишет.

А ты, осеняясь трёхкратно трёхперстьем,
С толпой inferнальной сливаясь,
С мольбертом Парижа проходишь предместья,
В лесах Подмосковных склоняясь.

* * *

А. Шацкову

Как красочно, необычайно
Раскрашены леса.
Под синевой исповедально
Желтеет полоса.

Бесплотной струйкой в отдаленье
Рядок берёз
Бежит попарно из селенья,
Нырря, под откос.

Гудит протяжно электричка.
Скажи – Забыл?
Что сам ты в осень бросил спичку,
И опалил

Осины, ясени и клёны,
С платформ они
Горят, без солнца озарёны
В такие дни.

Качнёт Звенигородской веткой
В пути вагон,
И луковкам церковки редкой
В огляд поклон.

И как в последний день творенья,
Под ветра свист,
Кончается стихотворенье,
Кружится лист.

КАТУЛЛУ

Хоть и Москва, а всё же третий Рим,
Девятый столп от портика Помпея.
Я мысленно в кабак вхожу за ним
И пью Фалерн, нисколько не пьянея.

Всё в чём вода – нет пользы для души, –
Не разбавляй вина и малой мерой.
Я из краёв, где хлещут алкаши
Денатурат, закусывая пеной.

Пора Катулл, мы в возрасте одном...
В проклятый миг нам Лесбия кивнула.
Как мимолётно время за вином,
И я похож на сыновей Ромула.

Как ты мне дорог схожею судьбой,
Я в первом Риме отыскал собрата,

Молчи, Катулл, мне хорошо с тобой,
Будь ты немей младенца Гарпократа.

Молчи, Катулл, и камни не спешу,
Припоминая, разделить по цвету,
Но две ладони тёплых положи
На горстку ту и на пригоршню эту.

И в чёрной, что тебе отбила бок,
Как печень рушит ныне внукам Рема,
Сверкнули они белее, чем творог,
И просятся, как на солнце гемма.

* * *

Что-то мне вспомнилось снова
Течение правобережное,
Как мы на лодке вдвоём на ту сторону
Вместе с Ершовым Володькою,
(В профиль, что Басов ей-ей),
Правили муторно,
Метров так двести и встали под берегом.
Берег был крут, а вода
Под омутами много заверчена.
Груз на стремнину тянуло,
Леса под углом в сорок градусов,
Вся в ожидании, глаз веселила
Возможной поклёвкой.
Левого берега отмели белые
Грелись на солнышке,
Дети плескались в воде.
Верно подмечено:
Если крут берег напротив,
То косы пологие
Будут всегда супротив.
Тело удилища
Вдруг затряслось мелким трепетом,
Кончик откинулся
В бок, а затем резанула невидимой силою
Леска-струна, в глубине заходило, захохало.
Захолонуло, кольнуло тупым онемением.
Лещ колыхался в садке солнцем утопленным,
Солнце у нас за спиной
В лес опускалось, движение
Быстрой воды замедлялось, и слышалось
Словно в кино киноплёнка струилась и лопалась
Гулкой воронкой в воде.
А Володька Ершов в профиль на Басова
Точно похож.
Вылитый Басов ей-ей.

Сергей КНЯЗЕВ, Подольск,
Московская обл.



* * *

Заметно, как травы ветшают.
Стал лес беззащитен и пег.
И гуси вдали пролетают
Туда, в девятнадцатый век.

Летите! Быть может, дано вам
Лишь там отыскать свой приют,
Где ходят калики по сёлам
И шёпотом песни поют.

* * *

Воскресенье – маленькая Пасха:
Мир весомый взят из Преисподней.
И деревья – столпники и паства
Радуются радостью Господней.

Радуйся, угрюмый человек:
Смерть поправший смертью встал из гроба!
Радуйся, творец высокой речи
Красоте божественного слога!

Радуйтесь, от вечной адской серы
Души, упасённые святыми!
Радуйся, светильник нашей Веры
Преподобный отче Серафиме!

И зимой, и летом в воскресенье
В каждом русском городе и веси
Слышу поздравленья с днём весенним
И пою: «Во истину воскрес!»

* * *

Деревья ходят ходуном.
Таз, перевёрнутый вверх дном,
Забит в саду. И барабанит
Незрячий дождик по нему,
Но растворяется в дыму
На огороде: топят баню
На праздник ветра и дождя.
Ни плащ, ни чёрная фуфайка –
не разберёшь. Идёт хозяйка
С ведром. Немного погода,
Из кадки набирает щёлок.
Так вечер кроток, дождь так долог,
Что сердце вылетает вон!
Бывают вечера в России!..
Прислушаешься: будто звон
Сквозь тучи просочится дождевые,
А это из души твоей
Уходит взгляд в задетое пространство.
Душа не знает, где остаться ей –
И рвётся прочь, и просит постоянства.

* * *

Куда деваться мне с невыразимой болью?..
Проходит человек и посыпает солью
Свежайший снег, упавший на асфальт.
Глаза мои устали, не глядят,
Измученные зимним перегибом.
Вдали войска проходят ровным строем.
Коленопреклонённая Москва
Отчаянно вращает жернова
Кремля, осатаневшего от злости.
Я человек обыкновенной кости,
Поэтому болит моя душа.
Идёт ребёнок по снегу, шурша
Зелёными сапожками... Я знаю,
Что ждёт его в стране своей родной.
Столпились люди возле проходной,
Шумят, галдят... Я тоже умираю,
Я тоже в рыжем месиве стою.
Лишь на одежду серую мою
Летят снежинки – лёгкие, сухие.
А по Москве гуляют верховые
С дубинками, в фуражках и плащах.
Они давно уж превратились в прах,
Под ними только лошади живые,
Со снегом в гривах, с солью на ногах.

...Пойти на электричку, ехать в лавру,
Молиться преподобным, Флору, Лавру,
Заступнику Николе, Всем Святым...
Есть путь, который ведом только им...

Я весь умру, наверное: меня
Не пустит Пётр в высокие покои
Теперь, когда я знаю, что такое
Резня.

Москва покрыта дьявольским покровом.
Здесь бесы шепчут мне: «Ты нам родня!»
Того, кто жил, влюблён и очарован,
Зачем они хотят убить меня –
Взять живу душу, вытряхнуть как моль,
И бросить в копошащую соль.

* * *

Как во сне: деревушка моя,
Лето и пятистенок заброшенный.
И теперь он – сарай для коня,
Крытый дёрном и сеном накошенным.

Окна досками наперекрест
Перечёркнуты. Утро. Спросонок
Тихо сено роскошно ест
Кобылица. А с ней жеребёнок,

Не проснулся. Лежит на полу –
Только уши шевелятся карие.
И как будто в том самом углу,
Где учили меня разговаривать.

Марина КНЯЗЕВА, Москва



НАРОД АУКАЕТСЯ

В сердце народа
Общаются пословицы.
Что посеешь – то пожнёшь.
Как аукнется – так откликнется.
Народ теребят –

Он откликается –
аукается пословицами.
Люди окликают друг друга
– Семь бед – один ответ
– Пришла беда – открывай ворота.
Ворота открыты,
Беда пришла,
Семь бед привела.

Народ откликается.
Не было бы счастья – да горе помогло.
Не плюй в колодец
По имени Народ.

МЫ ПРОСЫПАЕМСЯ

Мы просыпаемся
Утром, не успев понять,
Спали мы или нет в эту ночь;
Мы с тобой представляем собой одно целое
С нашей зарплатой
С нашей квартирой
И нашими долгами
Нас с тобой
Непонятно чему
Учат родственники
И непонятно зачем
Отравляет телевидение
У нас так много
Дел, которые невозможно
Пережить
Мы с тобой граждане
Страны,
Которая убежала
От своих граждан
А пока вокруг
Воюют миры
Мы с тобой
Целомудренно
Снимся друг другу.

ПОДЗЕМНЫЕ ДУШИ

Срослись мы нервами компьютеров
И проводами ноутбуков –
Нас жизнь привинчивает круто
Без речи, голоса и звука –
Невидимы, неосязаемы –
Мы размножаемся кругами,
Как Лес под утро прорастает
Грибницей, спянной грибами.

КЛИЧЕТ СТАРАЯ СТАРОГО

Одежка до дыр износилась.
Хорошо бы до дыр. До отрепья.
Осень краски по-своему лепит –
до последней черты докатилась...

Дым со свалки. Граница квартала.
Бродит нищенка. Рот перекосом.
Что-то нюхает, шморгая носом –
рядом с нею старик-прилипала...

Не барсук он, не соболь, не ёж –
кличет старая старого Тимой...
Ветерок разгулялся над ними
и вороний в полнеба – галдёж!..

ДИПТИХ

Пыль. Дорога. Голоса.
Пацанва. Велосипеды.
Жизнь выглядит убого
там, где правит ею стиль,
но ещё растут леса
и под солнечною медью
шелестит ещё трава.

Хорошо ли, что привыкли
к свисту пуль тетерева?
Вновь заточена коса,
о ветрах поёт ковыль.
Нет ни цели, ни итога.
Мотоциклы. Пацанва
Голоса. Дорога. Пыль.

НА ВЫСОКОМ СЕНОВАЛЕ

Деревья запылённые стояли.
Листва не шевелилась – ветра нет.
Но поезда свистели на вокзале
и кто-нибудь держал в руке букет.

Ряды избушек были не приметны.
На карте полустанка не найти,
но к молодухам были не запретны
со всех сторон ведущие пути.

Они чудес заморских не искали –
исход давали, птичьи выгнув выи,
гормонам на высоком сеновале
в удушливых тисках периферии.

Кирилл КОЗЛОВ, Санкт-Петербург



КАБАЦКОЕ

Новый день в невозвратности прожит,
Быстрый ужин стоит на столе.
Хладнокровная ночь подытожит
Всё, что сделано здесь, на земле?

Всё, что соткано чувством сердечным,
Всех предателей, изгнанных вон?..
Беспокойная ночь – с первым встречным
Затекает шальной марафон!

Песня хрипая, песня блатная,
Дым столбом, хохоток в кабаке...
Неизбежная и неродная,
Звякнет пуля в последней строке.

Грешный классик поёт с Айседорой,
Театрально возвысив бокал,
Эту горькую песню, в которой
Каждый к боли своей привыкал.

Хладнокровная ночь промолчала
Обо всём, что сокрыто во мгле...
Если бы, да кабы, да СНАЧАЛА
Безобидно пройти по земле!

Не тревожить, не чувствовать гнева!
Что ж осталось – сегодня и впредь?
Зная правду, просить обогрева
У того, кто не может согреть.

* * *

Накануне зимы
(я не видел её много лет!)
Барабанную дробь отбивали дожди всю неделю.

Я в своём одиночестве гордо зашёл в Интернет,
Где моё поколение вновь предаётся безделью.

Наше детство закончилось под перекрёстным огнём,
Перестройкой сознания, перезагрузкой системы,
Новый век наступил.
Только мы не мечтали о нём.
Не мечтали, не думали:
кто мы и, собственно, где мы?

В бытовом отношении, скажем, коробкой конфет,
Примитивной символикой, радуем близких,
домашних...
Накануне зимы виртуальный отправлен конверт –
Продолжение неосмотрительных писем вчерашних.

А потом, наконец, перешёл в наступление снег,
Захватил всё пространство сезонной осенней
печали!
Кто-то мудрый сказал, что сюда не вернуться вовек,
кто-то наглый вернулся, спросив:
«Почему не встречали?»

И – продолжится наш двадцать первый.
На том и СПАСИ-
БОльше слов не найти
для убогих разборок с кроссвордом.
Выпиваю бокал. Не спеша, вызываю такси...
И маршрут повторяю в своём одиночестве гордом.

* * *

След простыл. Доктора́ на больничном.
Сам себе прописал: «Будь здоров»!
В кабинетике личном, привычном
Создаются макеты миров.

Одежка теперь тесновата,
А когда-то была велика́!
В собутельнике видим собрата,
Примеряя колпак дурака.

Отраженья в Маркизовой луже,
Исторических споров туман...
Десять лет, сумасбродных к тому же,
Сторублёвкой запрячу в карман

Возле сердца, вместившего многих,
Поразительно разных людей:
Суетливых, сварливых и строгих,
Не имеющих светлых идей.

Царскосельское золото слéпит,
Судьбы вписаны в замкнутый круг.

Бесполезный рифмованный лепет
Обретает звучание вдруг!

Лишь тогда возвращается вера,
Оттеснённая страхом, враждой...
И прохладу вечернего ветра
Ощущаю душой молодой.

* * *

Давай поспорим – на что угодно –
Что наше время теперь свободно.
Никто не вправе вогнать нас в краску!
Снимаю шляпу. Снимаю маску.
Играет ветер вечерним платьем...
Монетой щедрой за счастье платим,
Мы просто люди. Смеёмся, плачем.
Потрачен день. На любовь потрачен!
Давай поспорим? Звучит вопрос мой,
Что я с улыбкой победоносной
Приду сюда же, спустя лет двести?
Ты уточняешь: «Мы будем вместе?»
Не сомневайся! Зачем тогда мне
Мытарства, холод и город в камне?
Ходить вокруг и ни разу – морем...
До скорой встречи. Давай поспорим...

Сергей КОЗЛОВ, Тюмень



ИДЁТ ВОЙНА ПО РАСПИСАНИЮ

Идёт война по расписанию,
Идёт торговля всем и вся,
И лишь Христос над этой хмарью
Идёт сквозь время в Небеса...

Мчат поезда, идут куранты,
Идут на митинг демонстранты,

Идёт подмена всех основ...
Лишь Богородицы покров

Над нашим домом остаётся...
Идут по трубам нефть и газ,
Идёт программа про сейчас,
А жизнь во весь опор несётся.

Идут последние уроки,
Идёт какое-то кино...
Идут и исчезают сроки
Найти горчичное зерно.

* * *

Осенний день. Природа неглиже.
И бег секунд не растянуть до терций.
И ни во что не верится уже,
И лишь молитва согревает сердце.
Златых одежд покровы уронив,
Стоят стыдливо русские берёзы.
А ветер тянет пасмурный мотив,
И почему-то выступают слёзы.
Недалеко холодные дожди
Идут, идут, идут, как сериалы.
Их за окном попробуй – пережди,
Не переключишь за окном каналы.
Но хочется ещё чего-то ждать!
И душу вырвать прочь из коматоза.
Ведь осень не причина умирать,
А время жить до первого мороза.

ПРОЩАЙ

Прощай, мой друг четвероногий,
Я не сумел тебя сберечь,
Плохой хозяин, хоть не строгий,
Хоть понимал собачью речь.

Ты был большой, красивый, добрый,
С волнистой шерстью золотой...
Ты говорить, наверно, мог бы,
Да я не говорил с тобой...

И навсегда теперь запомню,
Как надо скромно умирать...
Я уходил, а ты в агонии
Пытался вслед за мною встать.

Я верю в Вечность, многомерность,
Но мне теперь хоть вой, хоть лай...
Скажите, правда, что за верность
Собаки попадают в рай?

* * *

Идёт ли мой народ к Воротам узким?
Князь мира беды шлёт со всех сторон,
Чтоб души слабых забирать в полон...
Да будь хоть что! А я останусь русским...

* * *

Нету новостей под небесами,
Сеются повсюду смерть и кровь...
Пробивают римскими гвоздями
До сих пор Надежду и Любовь.

Леонид КОЛГАНОВ, Кирьят-Гат, Израиль



ЗЕВ ТРЯСИНЫ

(Из цикла «Бывшему другу»)

Как Сусанин в гнилое болото,
Быт завёл нашу дружбу в тупик,
Опустив нас в трясины зевоту,
Лишь плеснул наш утопленный вскрик!

Хоть в одной оказались мы лодке,
Что вместила изгоев двоих,
Как юнец с перерезанной глоткой,
Трепет дружбы в падучей затих!

Двадцать лет проведя на чужбине,
Я могу тебе молвить одно:
Мы в одной оказались трясине,
И тащили друг друга на дно!

Так утопленник тащит живого,
Так мертвяк вечно давит живых,



Мы с тобой, будто зомби бывшего,
Я не знаю – кто жив из двоих?!

О, смертельной трясины зевота,
Зев, в котором стон дружбы затих...
Нам осталось одно лишь болото,
Словно Бездна – одна на двоих!

ТВОЙ СВЕТ

Любовь ли это или свет
Со дна семидесятых?
Но на него иду сквозь бред,
Как шёл к тебе когда-то!

Иду, как проклятый поэт,
Через кабаки в Париже,
На твой неугасимый свет,
К тебе всё ближе, ближе!

А жизнь почти сошла на нет,
Но ты не отзвенела,
И тихо светишь столько лет,
Как свет в конце туннеля!

Он озарил меня всего
Уже в другой Отчизне,
В конце туннеля моего,
А может быть и жизни?!

МЕЖ ХЛЕБОМ И НЕБОМ

Есть женщина – небо,
Есть женщина – поле,
Но с первой ты не был,
С другою на воле
Был в полюшке-поле...
А в небушке-небе
В земной плотской доле
Ты не был! Ты не был!
Но женщина-небо и женщина-поле,
Как полюса два в тебе волей-неволей!
Жена твоя – поле!
А небо – без места!
Завис между ними, качаясь отвесно!
Один между ними – ни много, ни мало,
Меж хлебом и небом, как странник Шагала!
Всю жизнь, как подвешенный, будешь двоиться:
То – в поле томиться!
То – небу молиться!

ГРАЧИ УЛЕТЕЛИ

*– Забери себе «Чёрный квадрат».
И оставь мне «Грачи прилетели».
Владимир Костров*

Грачи с картины снова улетели,
Куда-то делся мартовский снежок,
Пред пустотой стою один без цели,
Я без грачей и снега одинок!

И наползает чернота квадрата,
Я спичкой – чирк: Малевич весь в огне...
Но не обрёл и славы Герострата,
Весь мрак его теперь уже во мне!

И тихо я шепчу, сваясь в низину,
И словно уголь почернел мой рот:
Нельзя сжигать у Дьявола картину,
Вся чернота его в тебя войдёт! –

И я прошу: – Грачей и снег верните,
И больше ничего...
Я буду рад...
Без них я сам, как Люцифер подбитый,
Без них я сам – спалённый мной квадрат!

ДВЕ ПЕСНИ

Валентине Бендерской

Мы – две лебединые песни,
Сольёмся в полёте в одну,
Когда воспарив в Поднебесье –
В последнюю вышину, –

Застынем с тобою над Бездной,
Уже ничего не тая,
Моя лебединая песня,
Последняя песня моя!

И два лебединых порыва
Застынут, как стон, на лету,
Когда мы над пастью обрыва,
Почуем небес пустоту!

И снова сольются две песни,
Когда мы небес вышину –
Отбросив, – опустимся вместе
В земную, как ночь, глубину!

И будем – два ангела падших,
Лежать, – небесам бросив – Прочь! –

И будет лишь песня лебяжья
Над нами, как белая ночь!

Хочу – чтоб в Божественном Граде,
Где вечно идёт Вечный бой,
Прижалась ограда к ограде,
Чтоб слиться навечно с тобой!

БОГ И ТЫ

Валентине Бендерской

Мы друг от друга так далёко,
И – кажется – прошли века,
Но – Небо я целую в щёку,
И знаю: то твоя щека!

Святому месту не быть пусту,
Когда стоишь ты – так чиста,
Я – Иордан целую в устье,
И знаю: то твои уста!

В песках следы свои запутав,
Я на безлюдье изнемог,
Как Гулливер без лилипутов,
Явилась ты! А значит – Бог!

С тобой я не один в пустыне!
Опять узрев твои черты,
Мой гордый Демон пал и сгинул,
Остались только Бог и ты!



Надежда КОНДАКОВА, Москва



ЧАША

1.

Этим письмам лет пятьдесят.
Перевязаны лентой синей.
Были дрожью, а не дрожат
от бывшего разбега линий.

Так заканчивается любовь
торжествующе и победно,
с тёмной лентой голубой
исчезая уже бесследно.

...Ты, проживший вдали меня,
я, прожившая где попало,
пачкой писем себя казня.
Для бессмертия – слишком мало.

2.

Она стояла на седьмом этаже
у распахнутого окна.
И как рассыпанное драже,
была её дрожь видна.

Она проглатывала нембутал
и запивала вином.
И лист сиреневый трепетал
в неверном огне ночном.

Она дышала в трубку всю ночь,
ни слова не говоря...
И ангел силился ей помочь
в преддверии октября.

А на рассвете спросила, где ты,
а я не знала – где ты.



Но вдруг завяли твои цветы,
предвестники немоты.

Она сказала мне: сорок лет
веду с тобой этот бой...
А я отправила время вспять,
ответила: сорок пять...

Она вздохнула: Ну всё... и вот
победа твоя близка,
уже снотворное не берёт
с полфляжкой коньяка.

...И вдруг на меня из её окна
надвинулась глубина,
и стала жалость моя нежна,
отчаяния полна.

Я так любила тебя в ту ночь
неслышно, издали,
пока меня уносила прочь
невидимая рука,
и нерождённую нашу дочь
баюкали облака.

... Тех лет и бед провалился след.
Но, ветреницы судьбы,
слепые мойры идут на свет
из интернет-толпы.
И мне приносят такую весть,
ну просто ни встать, ни сесть.

Мол, генерал, боевая статья,
нарисовал свой дом,
чтобы без памяти выживать.
И научился в нём вышивать
гладью или крестом.

* * *

Она кричала «За что?!», «Зачем?!»
теперь, когда денег хренова туча?!»
... Хотела в Оптину, в Вифлеем,
рыдала в голос, и даже круче –

звонила в ужасе всем врагам,
просила смиренно себе прощенья,
чтоб корпус раковый пал к ногам
в метампсихозовом превращеньи.

И вновь кричала врачу «За что?!»,
совала доллары в два кармана.
... А солнце сыпало в решето
простое золото Инкермана.

И там, под золотом ЮБК,
над жизнью шаткой, смурной, короткой
пил то запоями, то слегка
муж нелюбимый в печали кроткой.

Она кричала ему «Вернись!»,
она грозила небесной карой,
потом в рыданиях кидала вниз
мобильник «Vertu» на даче старой.

И не поехала хоронить,
и обезножила в две недели.
У парки злой вырывала нить,
концы пытаюсь соединить
у жизни, дышащей еле-еле.

... На старом кладбище раз уж сто
необъяснимо и потрясённо
я вспоминаю то время оно.
И неизменно одна ворона
скрипит устало: «За что?» «За что?»

Константин КОНДРАТЬЕВ, Воронеж



* * *

(На обочине)

Очнуться. Полдень ветренный, осенний
как дряхлый пёс – уже без опасений –
бежит через дорогу под колёса
слепых машин. А небосвод белёсо,
слезливо надо всеми нависает
и никого на свете не спасает.

Очнуться – в дрожи мусорных обочин
расслышать день, который озабочен
уже не столько пропитаньем скудным,
скорее – засыпаньем беспробудным

и непреодолимым остываньем...
И просинь в тучах веет расставаньем.

Очнуться, заглушить, оставить дверцу
открытой и, прислушиваясь к сердцу,
пройти насквозь трепещущий кустарник,
стать на краю (пускай кричит напарник
вдогонку злобно и недоумённо)...
Стать на краю. Припомнить поимённо

всех тех, которые любили, тех, которых
любил. Вглядеться. В ветреных просторах
не различить ни зла, ни обещанья.
И только тучи машут на прощанье
краями рваными, как будто рукавами,
и солнце не у нас над головами...

Шагнуть вперёд. Оставить за спиною
шоссе, кусты, стоящие стеною
дни жизни, ночи страсти, годы странствий...
Шагнуть вперёд в безжизненном пространстве.
Споткнуться, чертыхнувшись; покачнуться,
упасть ничком. Прикрыть глаза. Очнуться.

* * *

(Наставник)

Мы провода под током...

Когда-то меня инструктировал
наставник – мужик пожилой и электрик прожжённый
(потом я, бывало, цитировал
его наставленья подружкам весёлым и жёнам,

любившим меня)... На подстанции,
прокуренный ноготь направив на медные шины,
он строгую меру дистанции
внушал, утирая испарину с тусклой плешины

картузом засаленным... (В сизости
табачного дыма контрольная лампочка капала
ядом...)

Он так говорил мне: есть в близости
черта, за которою – смерть.

Она – вот она: рядом.

* * *

Тому же, кто садовником родился,
негоже устрицы в вине вкушать на ужин.
Но по его вине вожатый не сгодился,
где на медведя мог ходить он – безоружен.
Пускай вотще чудит царевич малохольный,

пускай в ночи чадит лучина у портного –
но коли с хрустом, как огурчик малосольный,
ломает век мозольный хрящ хребта спинного –
негоже жрать сырую водку без закуски,
шалить негоже, а тем паче – вдрызг сердиться
на злых попутчиков на развесёлом спуске
с хребтов великих ледяных – в подол царице.
Всё надоест, но всё – не досыта. Всё – кроме
тропы, припудренной заутренней порошей...
...Царевич спит. Портной мечтает о короне.
Сапожник обнимается с хорошей
весёлой бабой.

Я садовником родился.

Душа не жалилась: кружилась и пела.
А за золотым крыльцом – кольцом – рассвет дымился.
И тлели угли. И зола шипела.
И сиротели вдрызг обглоданные ветки.
К чужим заутреням родную присоседа,
накинул на плечи украдкой от соседки
тулупчик заячий.

И вышел на медведя.

* * *

На разошедшей скамейке – Старший Плиний...

В лакуне гения – в лагуне золотой,
заваленной безумья дланью щедрой
банановыми шкурками и цедрой,
и жаркой среднерусскою листвою;

на узенькой скамейке – как каноэ –
мятущейся в клубах шипучих волн
такого листопада, что иное –
совсем иное – *дикий берег и утлый чёлн;*

на пиршестве не избранных, но званных –
но – созданных трубой со всех концов
и – сброшенных в шальные эти ванны
по участи дурной дурных гонцов;

на этом поприще, в чаду чужой нам тризны –
когда в полнеба пламенеет весть
совсем иных берегов *иной отчизны,* –
в осеннем парке, на скамейке, в шесть –

в лакуне классика, в лагуне золотой –
спалённой, выжженной – испепелённой данью
сухих сердец – под узловатой дланью,
под медью лет, под Летой, под водой...



Дмитрий КОНОПЛИН, Сибай,
Башкортостан



* * *

За недостатком здорового цинизма
(что инфантильной нравственности суть),
вершащий над собою самосуд
насколько прав – им и должно цениться;
есть просо, есть ячмень и есть пшеница,
есть множество иных кустов и трав,
монастыри, где в каждом есть устав,
по коему и надлежит молиться
и совершить иной святой обряд.
Есть дочь, есть сын, жена, сестра и брат,
и есть друзья, и недруги есть даже.
Пред кем я грешен, для кого я свят,
что впереди – элизиум иль ад –
мне в точности никто о том не скажет.

* * *

Вступившие в лихие времена
(и те, что виноваты без вина,
и пившие всегда и беспробудно)
вкушают перемены, и сполна
(такая уж злосчастная страна)
под смех, под плач, под балалайки, бубны,
там флейта слышится, а там – зурна,
там ломаются столы – жратва жирна,
а там, чтоб поклевать – ну ни зерна.
Теперь не надо киншика, кина –
ведь в каждом, почитай что, доме ящик,
врубай, и ты ответ получишь на
вопрос, почто глаголицей спина,
что радостного нам сулит весна,
и список бед – былых и предстоящих.

* * *

Да не произнесут мои уста
пусть даже и по праведному гневу
хотя б на протяжении поста
слов, не угодных ни земле, ни небу, –
обязанность куда уж как проста,
совсем не то, что с чистого листа
иль до грунтовки соскоблив с холста,
писать пером, пастелью или кистью,
когда от повседневности устав
и став от раздражения неистов,
докапываешься-таки до истин,
что знать потребно в возрасте Христа –
а уж тебе куда как за полста.

Тут только что и скажешь – а уймись ты!..

* * *

...Урал, к которому я не прикован
и не привязан, но неотторжим.
Я чувствую себя многовековым,
но не таким, как рухнувший режим, –
как встарь пленяюсь небом васильковым,
тем паче – васильками вдоль межи
и даже среди замусоренной ржи,
что сеял земледелец бестолковый.
И ветер ледяной, что вдоль долин
стекает, нагнетаемый Стрибогом,
он тоже от меня неотделим
и, как знакомец, говорит о многом,
и в небе журавлей летящих клин
к своим среди Атласских гор чертогам.

* * *

Обязанность любого короля,
царя, владыки или государя
в Андорре, Лихтенштейне иль в Судане
суть бденье у державного руля,
пусть будучи не в творческом ударе,
но всё ж извилинами шевеля,
держат иль на нуле иль близ нуля
давление общественное в паре.

Я сам свой день в своём доме крою,
и знаю, сколько пчёл в моём рою,
и что из них на липовом нектаре
задолжены, А уж в какой из тар
хранить переработанный нектар –
решенье в пчёлах, а не в государе.

* * *

Любовь моя! Картошку жрут жуки,
 побит морозом перец. Виновата
 натура в том. Тепла твоей руки
 ждут грабли, вилы, тяпка и лопата –
 без толку сохнут в куче кизяки,
 что грядкам истощением чревато.

А я снедаем приступом тоски
 с того, что не случится жить богато,
 деньгами набивать чулки, носки
 и сапоги. Пусть буржуины-гады
 перемывают в золото пески.

Да будут наши помыслы легки,
 и не зудят от гнева кулаки –
 есть ты, есть я, есть огород и хата.

* * *

Упущенных возможностей, мадам,
 не счесть, а потому считать не будем.
 Вотще камланье и шаман, и бубен,
 припевки эти мне не по годам,
 но, как и должно, должное воздам –
 греховен был, хотя и неподсуден,
 случалось пить из всяческих посудин
 премерзостное: солнцедар, агдам,
 но уж, как говорится, все там будем,
 а как там будем, то увидим там.
 Удача, что души не точит срам,
 и не сгибает душу грех иудин,
 и, значит, день грядущий будет чуден,
 как рыбий жор в июле по утрам.

Андрей КОРОВИН, Московская обл.



* * *

во всём Чайковский виноват
 во всём Чайковский
 и этот вечный снегопад
 и вечный Бродский

пока в России мирно спят
 поджав колени
 плывёт небесный снегопад
 без позволения

и это музыка его
 гудит по крышам
 в уснувших парках никого
 уже не слышу

она работает за всех
 чернорабочих
 даря надежду без помех
 почище зодчих

как дирижёрские смычки
 мелькают тени
 полутона полузначки
 язык растений

и зеркала среди зимы
 на счастье бьются
 уйти бы нам из этой тьмы
 и не вернуться

* * *

ты жить начинаешь отсюда
 отсюда из белого льна
 одежда надежда посуда
 тебе в облаках не нужна

ты жить начинаешь сначала
с простого начала начал
ты небо из гугла скачал а
чего-то ещё не скачал

ты жить начинаешь от слова
а слово начало судьбе
а слово бессловно готово
на слово поверить тебе

ты жить начинаешь как будто
ни разу ещё и не жил
как будто Христос или Будда
в тебя ничего не вложил

ты жить начинаешь от боли
убийственной боли внутри
ты сам у себя в главной роли
иди умирай и смотри

* * *

вечер ветер вещей снег
свет позёмкою несётся
говоришь на склоне лет
что работаешь от солнца

солнца жаркого внутри
нерастраченного сердца
а слова как снегири
прилетают отогреться

и идёшь в кашне зимы
освещая тротуары
и проезжие сомы
от тебя отводят фары

* * *

как быстро мы стали чужими
быстрее чем стали близки
остались лишь ветер и имя
и клевер холодной тоски

как быстро закончилось это
то самое то отчего
мы вверены целому свету
где нет кроме нас никого

и шов на луне разошёлся
разбились фрегаты зимы

как будто никто не нашёлся
сказать
как несчастливы мы

* * *

хорошо сказал Ростан
или кто там говорите
тело женщины тюльпан
а мужчины истребитель

хорошо сказал Шекспир
от любви одни проблемы
сердце женщины вампир
а мужчины хризантема

как сказал один Де Сад
всё любовь что ни спросите
слева рай а справа ад
говорите
говорите

Валентина КОРОСТЕЛЁВА, Балашиха,
Московская обл.



ТОЛЬКО ДЕРЖИСЬ...

Снег посыпал, зима как зима.
Тихий снег не спешит и не вьюжит.
Будний день, и земля как земля,
В этот час не дрожит и не тужит.

Вот такую была бы и жизнь:
Книга рядом и чай с пирогами...
Ну, а выпало – только держись!
То пустыня, то лёд под ногами.

ПРОЩАНИЕ

Листопад об осени вещает,
Замечает проторённый путь...
Уезжает милый, уезжает.
Встретимся ль ещё когда-нибудь?

Только ветер сирий, осень только...
Но в душе всё так же горячо.
Ничего-то не сказали толком,
Не договорились ни о чём.

Поезд уходил в земные дали,
Северного неба рвался лён, –
Только взгляды в радугу сплетались
И горел пристанционный клён...

Но пахнуло вдруг недалёким снегом,
Пронеслось над клёном молодым, –
И вздыхало мудрое Онего
Над вокзалом, мокрым и пустым...

ЧАША

Лес, да опушка, неброские птицы, –
Вот и потрафило сердцу уже...
Счастлив, кто во время с этим родился,
Счастлив, в ком это созрело в душе.

...Юга полночного звёздные стразы,
Гор и ущелий причудливый ряд...
Но никакие красоты Кавказа
Лики просёлков моих не затмят.

Чем нам больнее, тем души живее,
И разлетается в прах вороньё...
Кто ещё так о Руси разумеет,
Как простодушные дети её?

Надо им, в общем, для счастья немного –
Чтоб не тонули надежд корабли,
Ибо от века дарована Богом
Чаша щемящей безмерной любви!..

В ОПАЛЕ

Деду моему, Е. С. Фоминых

...А ему всего-то пятьдесят –
Сеять хлеб, рожать детей кудрявых,
А его – и в нищету, и в ад,
А детей – налево и направо...

...Лес, работа. Норма – лишь на треть,
Но болят спина и поясница,
Обернулся – чудище-медведь...
С белым светом не успел проститься.

Привезли на станцию Гора,
Крики, бесполезные вопросы...
Головой качали доктора
И украдкой смахивали слёзы:

«Расплодилось горе на земле,
Ходит ходуном несчастий брага...»
И лежала где-то на столе
С реабилитацией бумага...

БЕРЕГ РАЙСКИЙ

...А вчера я отправилась пешем
По дороге, по зимней такой,
Где во тьме выхвывается Леший,
Гнёт картуз перед бабой Ягой.

Ну, а днём – только снег, только ветер,
Только шалая вьюга – в лицо...
Но пути нет прямой на планете,
Если светит родное крыльцо,

Где знакомые ждут половицы,
Где в сенях пахнет летней травой,
Где на лавке широкой так спитися,
Словно здесь – райский берег живой...

В ОСЕННЕМ ТЕАТРЕ

Кто знает, чем эта пора
Так привлекательно-желанна? –
Когда холодные ветра,
Слепые ранние туманы.

Молчат речные берега,
И замерли речные воды,
Но щедрой осени рука
Полна подарков от природы.

В округе снова тишина,
Уже глаза сомкнули дачи,
Встаёт бесхозная луна –
Не для любви, а наудачу.

И лишь осины держат форс,
Ещё горят вовсю свечами,
И нерешительный мороз
Роль репетирует ночами...



Ольга КОСОВА, Кстово,
Нижегородская обл.



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Знакомая до трещинок дорога
Проводит до заветного крыльца,
Где, яблоки рассыпав до порога,
Ждут терпеливо сад и дом жильца.

Слепые окна дома, как глазницы,
А паутина, как седая прядь,
Но сердцем вижу я родные лица,
И чудится, в окне мелькнула мать.

С волнением, торопясь, открою двери.
Луч солнца на стене, как лампы свет,
И я уже почти готова верить,
Что ждут меня здесь те, которых нет.

Всё так же на стене висит гитара,
Коснусь струны и зазвенит, дрожа.
Играл отец: высокий, сухопарый,
Да так, что слушали, едва дыша.

Когда волнение схлынет, понемногу
займусь делами: круговерть, поток.
Вернулась, дом родной мой, Слава Богу.
Ты – воздуха живительный глоток.

ЯБЛОЧНАЯ ОСЕНЬ

Было ль лето, не было? И когда успели? –
Сладкие, румяные яблочки поспели.
Вымыты дождями, высушены ветром
Соком наливались в хмурый день и в светлый.
...Побросало деревце яблоки устало,
Всё цветной мозаикой под собой устало.
Облако пушистое опустилось ниже:
Ароматом яблочным с наслаждением дышит.

Надышалось допьяна – не удержат ноги.
Поползло урывками через сад к дороге.
Растеклось туманами по кустам, оврагам,
Повисая клочьями: не туман – бродяга.
А вокруг волнующий аромат разносит,
Чтоб зимою помнили яблочную осень

Владимир КОСТРОВ, Москва



РЕВОЛЮЦИЯ

История смиренна и смела –
То вознесёт, то оторвёт от сердца.
В России революция была,
И от неё Земле не отвертеться.
И род людской она с ума свела,
Взметнув кумач до звёздно-синих ситцев.
В России революция была,
Нам от неё уже не откреститься.
Пред нами отступила нищета.
Мы справились с фашизмом окаянным.
Родили мы китайского кита,
Взметнувшего фонтан над океаном.
Но наших душ великий лейтмотив
В веках иных не станет изменяться,
Пока народы, распри позабыв,
В единую семью соединятся.

* * *

В гудках портовых сухогрузов,
Где чайки белые парят,
В одесском Доме профсоюзов
Русскоязычные горят.
Горят в побоях и проклятьях,
И понимая наконец,
Что память о Солунских братьях
Тупых не трогает сердец.

По этажам пустого здания
Лишь пепла чёрная бразда,
Где от Христова сострадания
Отмежевались навсегда.

* * *

Вспоминается мне иногда,
Как порою, урок провороня,
Провожал и встречал поезда
На дощатой площадке перрона.
Если звук прорывался в трубе,
Белым паром меня обдавало.
Рвал огромный плакат на столбе
«Не форсунь!» и «Закрой поддувало!»
Каганович – железный нарком –
В расстояньях не видел преграды
И плакатным учил языком
Коллектив паровозной бригады.
Ускоряя дорожную прыть,
Усмиряя вокзальную суеть,
Поддувала нам стоит закрыть
И поменьше, поменьше форсунить...

ТУРКМЕНСКАЯ БАЛЛАДА

Не море кремниева праха
И не барханные усы,
Есть Каракумы у Аллаха,
Времён песочные часы,
В них через конусные склянки
Ушком игольным скреплены,
Шли македонские фаланги
И митридатовы слоны.
В них всё, чем сердце сотрясалось,
Шло прямо и наискосок.
И ход веков, и солнца алость –
Всё превращается в песок...
...То как наждачная бумага,
То как ползущая гюрза,
Шуршит шоссе до Карадага
В оазис райский Фирюза.
А там в предгорье Карадага
Арыки слышались в ночи,
И на лужайке у оврага
Ловили птиц карагачи.
И там, шалея от восторга –
Москва за тридевять земель, –
Я повстречал цветок Востока,
Туркменку гордую Гюзель.
И весь мотив её гордыни –
Две бровных змейки до виска,
Двух персей маленькие дыни

И бёдра – холмики песка.
И я испытывал блаженство,
И сердце билось всё сильней,
И пело это совершенство
Мелодии земли своей.
О, нет, совсем не море праха
И не песочные часы,
Цвёл в Каракумах у Аллаха
Цветок божественной красоты.

* * *

Г. К.

Не повернуть направо и налево,
Былых забав не воротить назад,
Гляжу вперёд, как улетает в небо
Моих страстей печальный стратостат.
Во мне обыденные фас и профиль,
А все грехи закрыты на замок.
Остались только жидкий чёрный кофе
Да сигаретки голубой дымок.
Теперь беру за ручку только палку,
Чтобы вживую перейти бульвар,
И в гастроном явлюсь, как на рыбалку,
Как по грибы, отправлюсь на базар.
Но всё же я люблю и жизнь такую
И скорого ухода не ищу,
Но, признаюсь, по прошлому тоскую
И по весёлой нежности грущу.

ЗАЧЕМ?

Зачем я видел белый свет,
Где цвёл кипрей и пели птицы,
Где солнце, как велосипед,
Вращает золотые спицы?
Зачем я слушал шорох звёзд,
И вновь соединяюсь с мраком,
И мир на мне поставит крест
Кладбищенский за буераком –
С неодолимой глубиной,
Под медной лунною печатью,
С неопалимой купиной,
С неутолимою печалью?

* * *

Беру костыль – опять меня мотает –
И самому себе твержу: держись! –
Презренного металла не хватает
На скромную оставшуюся жизнь.



И точно, не оставлю я наследства
 Благодаря аптекам и врачам.
 Мне много лет. И я впадаю в детство.
 И мама не утешит по ночам.
 Но продолжает Божий мир вращаться,
 Наркоз стихов кончается уже –
 И лишь душа не хочет возвращаться,
 Таится, словно утка в камыше.
 Мир полон и больных, и без гроша.
 Но унывать – нестоящее дело.
 И потому прошу тебя, душа,
 Не покидай страдающее тело.

* * *

Гале

А тебе и невдомёк,
 Что ты значишь,
 Друг сердечный.
 Ты – мой красный уголёк,
 Вылетающий из печки.
 За стеною волчий плач,
 За стеною Ламский волок.
 Мир нечаян и горяч,
 Век случаен и недолог.
 Но с ладони на ладонь,
 Так, что тьма у двери жмётся,
 Ты летаешь, мой огонь.
 Жизнь жива, покуда жжётся.
 Деревенская изба –
 Красный угол – чёрный угол.
 А в печи горит судьба –
 Красный уголь – чёрный уголь.

Людмила КОСТРУБ, Тула



* * *

Слегка передвинуть
 пирамиду Хуфу.

Чуть-чуть поменять
 направление Нила.

Немного поправить
 оттенки зелёного...

И опять оказаться
 там же.

* * *

Сотри горизонт –
 и море нырнет
 в ладонь.

* * *

Когда на земле
 умирают фиалки,
 время меняет
 цвет.

* * *

Огибая вселенную,
 яблоко стало
 круглым.

* * *

В то время, как девочка
спит на крылечке,
тюльпан набирает
скорость.

* * *

Уснув на руках,
непослушный ребенок
зажал в кулачке
журавлей.

* * *

Отступая к реке,
земля обретает
берег.

* * *

То, что зовёт
оно же и не
отпускает.

* * *

Старик – это след
бегущей толпы
мальчишек.

* * *

Девушки с ведрами, полными звёзд,
идут босиком по рассвету.

* * *

Придёт весна – я стану тишиной,
в которую завернут зимний воздух.

* * *

В уголке поцелуя порхает бабочка.

Лев КОТЮКОВ, Москва



ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ

Вновь ледяными ночами
Сердцу любовь обещаю
И золотую Весну.
Вновь, как в безлунном начале,
С белой голубкой печали
В росах небесных тону.

В слово любви обращаюсь,
Сердцу любовь обещаю.
Сердце – голубкой в огне.
К старым стихам возвращаюсь,
Но навсегда не прощаюсь
С тем, что сгорело во мне.

Полнится слово молчаньем,
Полнит молчание слово.
В небе – серебряный дым.
Всё, что казалось случайным
Стало навек изначальным –
И до конца молодым.

Божье Молчанье – спасенье!
В Божьем Молчанье за Словом –
Тайна последней любви.
Вечно моё возвращенье!
Тайна любви – воскрешенье.
Чёрное Солнце в крови...

* * *

Не ведаю: где нынче боль и небыль.
Стою во тьме у замерших ракет.
Снежинкою с невидимого неба –
В огонь времён душа моя летит.



А время – в бесконечном невозможном,
И время до рождения – во мне...
Но жизнь-снежинка на ладони Божьей
Не тает в грозно-яростном огне.

СЕВЕРНЫМ ЛЕТОМ

Эта жизнь, как северное лето,
Как осколок льдинки в кулаке.
И уходит молодость до света
Лунною дорогой по реке.

А любовь у края белой ночи
Всё молчит над берегом одна.
И напрасно кто-то там бормочет,
Что любовь без старости нужна.

И душа с мечтою молодою
Прозревает дальние века.
И нисходят с Севера грядою
В седине громовой облака.

И дорога лунная пропала,
Но не стоит плакать оттого,
Что душе и молодости мало,
Что любви не надо ничего...

* * *

Забываюсь в земной круговерти,
И безбожное время гублю.
И люблю эту жизнь, как бессмертье!
Но бессмертье, как смерть, не люблю...

Замирает на миг моё время,
Как роса на гитарной струне.
И пою по-над бездной со всеми,
И со смертью – бессмертье во мне...

* * *

Я всё время моложе других,
Даже тех, что ушли молодыми.
Я не слышу себя среди глухих,
И внимаю молчанью с немymi.

Обращаю мгновенья в года,
И года обращаю в мгновенья.
И заветная гаснет звезда
В тёмном омуте стихотворенья.

Но не мыслю себя без любви,
Без единых заветных мгновений,
От земли отрываясь в крови,
Как дитя одиноких растений.

Ничего вспоминать не хочу,
Забываю, как сон, своё имя...
Будто равный, с немymi молчу,
Говорю, будто равный, с глухими...

В ИЮЛЬСКИХ ДОЖДЯХ

Пролетел легкокрылый июнь,
Где мы были навек молодыми.
Стало время седым, будто лунь,
И мгновения стали седыми.

Мы угрюмо молчим о своём,
Будто в бездну на миг заглянули.
Как слепые по травам бредём
За слепыми дождями июня.

Но бессрочный июнь впереди,
И мгновенья без убыли света...
И прозреют слепые дожди
На околице вечного лета.

Любовь КРАСАВИНА, Москва



* * *

Сверхуполномоченный день
Переманили на службу,
Великосветская лень
Напршивается в дружбу.

Из шутовства и знать –
Импровизатор играет –

Полно худого ждать,
Пусть на душе светает.

Милый мой друг, весть
Мы перехватим у Бога:
«Время пришло цвести
Нам несказанно много!»

* * *

Не солнце, а тень солнца
встаёт над нами.
Полощется знаменем время,
горячие головы сея
в ледяную землю.
Не сердце, а мёртвое сердце
поёт
о Тебе.

* * *

Сколько
выиграли те, кто выжили?
Сколько – кто ушли?
И нам не простится,
что мы – не они;
оттого, что у них – никого,
кроме нас.

* * *

Ты спишь и не знаешь,
что смотрю на Тебя.
Смотрю и не знаю,
что снюсь Тебе.
Из разных миров –
друг на друга –
одним взглядом –
навсегда нежно...

* * *

Даже счастья не пожелаю –
«уже и вдруг» –
есть!
Даже боли не замечу, –
нечем и незачем –
тебе чувствовать боль.
Не зачеркнув, чем

дорожу-дорожу-дорожу!
Восстановлюсь
до следующего шага
к следующему счастью.

* * *

Не отнять последнего приюта
Пусть и всем вам – у одной меня:
Что повязанному – разовая смута,
Что убитому – посмертная броня!

Не воздать за должное прощенье
Во исхоженном изгнанником краю:
Более, не медля, – в преступленье:
Из героя – антипод крою!

Ни воспеть – ни выплакать не смею,
Узнанная – узнавать не тщусь,
Представляемая голубю ли, змею? –
Ото всех улыбкой открещусь...

Геннадий КРАСНИКОВ, Москва



* * *

Ещё он там, на прежнем месте,
ужасный тот Голгофский Крест,
Но мир уже разбужен вестью –
Христос Воскрес, Христос Воскрес!..

Себя за нас Принесший в жертву,
Кто на страданье предан был, –
Христос Воскрес, восстал из мертвых
и нас из мертвых воскресил.

Встречают радостью нежданной
над смертью Жизни торжество –



встречавшие Его «Осанной»
и гнавшие: «Распни Его!..»

Играет солнце и ликует,
Христосуется с нами Свет,
былинку каждую целует
и мы целуемся в ответ.

Но – ликованьем осияны –
мы помним, не скрывая слёз,
что от гвоздей земные раны
Спаситель наш с собой унёс.

МОЛИТВА СТРАШНОГО ВЕКА:

да будет
воля моя!

* * *

Зеркала –
сновидения наяву,
отойти, отвернуться –
сон исчезает...

РАЗНИЦА В ВОЗРАСТЕ

Вся разница –
не в перемолотости
минут в часах... А в сущей малости:
вам –
не увидеть нашей молодости,
нам –
не увидеть вашей старости.

* * *

Сроки, знаешь ли, сроки, сроки, –
словно в жилах кровь, холодеют строки,
Шестикрылого поздно ждать Серафима,
и дорогие все – мимо Рима...

Словно в жилах кровь, холодеют строки,
да и с ними, Господи, столько мороки!..
Если всё же Ты их диктуешь, Боже,
отчего же судишь за них всё строже?..

Словно в жилах кровь, холодеют строки, –
одинок, будто в пути пророки,
где – как свет последний – в конце тоннеля
звёзды в небе чёрном заledenели...

Словно в жилах кровь, холодеют строки,
будто скоморохи – в окне сороки,
стынут лес и реки в снежной неволе,
легче жизнь прожить чем перейти поле...

* * *

В ночи неведом куда
сквозь вечность нас ведёт дорога,
и как слеза дрожит звезда,
мерцающая на ресницах Бога...

И с вечностью глаза в глаза –
мы замкнуты в земных границах,
и как звезда дрожит слеза
у человека на ресницах.

Нина КРАСНОВА, Москва



ДАЧКА

Анатолию Шамардину

1.

Не было у нас с тобой ни дачки,
Ни какой-нибудь машины, «тачки»,
Не было такого ничего,
А чужого нам не надо ничьего.
Жили мы в хрущёвной тесноте,
Там совсем условия не те.

Не садились мы с тобой на «тачку»
И на ней не ездили на дачку,
Из Москвы, из центра, на «пленэр»,
На большой Лосиный остров, например.
Леший там живёт, и там же – лось.
Нам бы хорошо бы там жилось...

2.

Мы бы там с грибами суп варили бы,
Жили вольной жизнью да творили бы,

Сил для дел великих напасали бы,
Сколько песен новых написали бы...

21, 24 октября 2016 г., 25 января 2017 г., Быково

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

Отрывок

Памяти Евгения Евтушенко

1.

Первоапрельская шутка,
Первоапрельский юмор
Странно звучит и жутко:
Поэт Евтушенко умер!

Первоапрельская шутка
Странно звучит и жутко.

2.

Не ходил в литературном стаде он.
Был всегда у всей России в должниках.
Аплодировал ему стадион,
Знаменитый стадион в Лужниках!

4.

Евтушенко – глашатай эпохи,
А вернее – глашатай эпох,
Он хорош для кого-то и плох,
Как и самые эти эпохи
Хороши для кого-то и плохи.

6.

Евтушенко любил глубинку
И за мудрость, и за глупинку.
И она Евтушенку любила,
Все ладоши себе отбила,
Аплодируя – во! – ему,
И таланту его, и уму.

8.

Поэт, улетевший в Штаты,
Делаешь в Штатах што ты?
Поэт, улетевший в Штаты,
По Родине плачешь што ты?

9.

Поэт в заштатном городочке Талса
Любовь к России всем привить пытался,
К Поэзии поэтов-россиян,
Любовью к ним и к миру осиян.

10.

Он обращал стихами Оклахому
К хорошему всему, а не к плохому,
Что есть у нас в России, а к плохому
Не обращал патриотично Оклахому.

16.

Вот и покинул, оставил нас
Шестидесятник очередной,
Русской советской поэзии ас,
Каждому чем-то очень родной.

17.

У-умер последний из Могикан,
Он не только в России ценим.
Я переплыть не могу океан,
Чтобы проститься с ним.

18.

Небо, небо, дорогу дождями омой!
К нам по ней Евтушенко едет.
Евтушенко вернулся в Россию, домой,
И отсюда уже никуда не уедет.

4 – 6 апреля 2017 г., Москва, Перово

Вадим КРЕЙД, Айова-Сити, США



* * *

Желтизною пахнут листья, пьяные слегка,
взор берёзы опустелой в давние снега,
очи осени несмелой в дальние века,
я иду в поля без дела в дыме табака.
Там картошку убирали – пахло власть землёй,
люди где-то умирали – делались золой,
те же там же нарождались – раздавался плач,
юной жизнью наслаждались – уносились вскачь.
В мире гость опять случайный, посреди полей,
и летит на юг нестройно струнка журавлей.

* * *

Как божьей коровкой – уловкой,
что каплет с медовой луны, тот трепет живой,
и порой припомнишь калитку,
но тут эвкалипты и бабочек пляшущий рой.
Простор, и над морем утёсы-колоссы,
над ними летит самовар,
за морем ликуют погосты...
весеннего ситца берёзы...
со свечки снимают нагар...
Когда это было? пусть память забыла
настурции огненный куст.
Очнулся – качнулся, костёр вострепнулся,
послышался огненный хруст.

* * *

Вешний день, вишнёвое цветенье
и круженье пчёл –
самое простое наслажденье
заново прочёл:
май весны и сад благоухает,
вот уже сирень

лепестки под солнцем распускает –
и лиловой тень.

Самая невинная затея –
лечь в тени в траву,
на шмеля мохнатого глаза,
прошептать строфу
про сирень, шмеля, цветенье вишни,
вот про этот час,
зная, что глядит на нас Всевышний
и что любит нас.

* * *

Удивительно щедрые миги,
ветер древней эдемской весны
от коней петербургской квадриги,
от смолистой карельской сосны.
От огней ли апрельских голодных,
от сеней ли в сибирской избе?
Что мне в них, я из самых свободных,
но огни поманили к себе.
Атом времени дальних эпох,
неслучайно застигший врасплох,
Не пытайся разъять и осилить,
он чурается резвых словес –
и сверкнут петербургские шпиди
под навесом заморских небес.

ВОСЕМЬ КОРИЧНЕВЫХ ФОТОГРАФИЙ

лиловое платье тумана
и тёмные фраки дерев

однако в начале романа
«украдкой слезу утерев»

и белая ветка жасмина
которая с прошлой весны

те двое стоят у камина
и видят спокойные сны

без страсти, нет-нет, слишком резко,
замрите, вот так и сниму

во сне поднялась занавеска
а яблони, помнишь, в дыму

а время приплюснуто плоско,
и нечего вспомнить – пари!

и жуткая тлела полоска
над веком сгоревшей зари

* * *

Плыву на спине и в небо
Гляжу... В ожиданьи урока?
В словах «голубое небо»
Есть музыка, Бах, барокко,
Что дышит в небесной отчизне,
Вдыхая прямо из тверди.
И нет уже жажды жизни,
И нет уже тайны смерти.

* * *

День молодой и горячие клёны,
ломкая линия леса вдали,
заросли вереска, пёстрые склоны,
острая осень – смотри и хвали.
Мнилось, что я ни к чему не привязан,
мнится, что более не привяжусь,
только горячая к жизни приязнь,
хоть и в жильцы уже не гожусь.
Всё переменится, клёны и вера,
даже и вера сегодня светла,
только и тешила детская мера
чувств без названья и дней без числа.

* * *

Наблюдая как запад менялся,
розовел, бронзовел, холодел,
ты чему-то в себе удивлялся,
и неведомой силой владел.
Оказалось, что вещи и веры,
доказательства, глупость и ум –
быстротечны, как в небе химеры,
безразличны, как будничный шум.

И пока от тебя отдалялась
щёлочь мысли и память сама,
озаренью душа удивлялась,
просветленью вне знаний ума.
И тогда во мгновение ока
стал той самой незримой канвой,
на которой людская морока
нарисована кистью шальной.

* * *

Боже сил, неужели у цели?
Ещё взмах и ещё один вздох.
Лес, мой лес, сквозь года уцелели
Холм и киноварь клёнов и мох.

В детстве солнце вставало саженым,
и расцветивал жарко восход,
ликом царственный, лаком блаженным
шелковистую празелень вод.
Над багряно-золотым листопадом
тёмным ястребом прерий паря,
алчешь леса и мира и лада,
сентября, янтаря, алтаря.
Старый лес мой, праправнук эдема,
или вместе уже не бывать...
Постоянна – одна перемена,
неизбывна – одна благодать.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ, Москва



НА ЗАКАТЕ

Прежде, от нашествий оберегая,
ухом прикладывались к земле.

Вот и мы сумерничаем, родная,
в красноватой, с древним оттенком мгле

посейчас не гаснущего заката.
Глянец неба гладок без бороны.

И пятно светила ещё пернато,
словно взмыл сигнальный огонь куда-то
вдаль – с изборской выщербленной стены.

Сентябрь, 2016

ТИТАНИК

Хотя по временам спелёнуты
бывают с возрастом колени
и ржавчиной местами тронуты
початки буйные сирени,



я не забыл про потускневшую,
но миловидную в итоге
попутчицу, в окно глядевшую
плацкарта северной дороги,

о Спасе с разорённой ризницей,
смертельным в куполе проёмом,
к которому не даст приблизиться
союз крапивы с буреломом,

про баржи с огоньками тёмные,
шпаны послевоенной нравы,
про лодочные и паромные
медлительные переправы...

Речник не в первом поколении,
но по ночам, проснувшись рано
и словно проверяя зрение,
я всматриваюсь в затемнение
окна –

как в толщу океана.

Ведь ненадёжная механика
в груди любого анонима –
пиита, воина, ботаника –
с иллюминацией Титаника
вдруг гаснущей

сопоставима.

Июнь 2016, Рыбинск

* * *

В тебе, чей пепел теперь на Волковом,
имперский дух был в ладу с левацким.
На древней фотке ты в блузе шёлковой
с квадратным воротом азиатским.
Доселе та вереница дней
в их совокупности дивной греет
сусеки старой души моей.
И, отцветая, сирень рыжеет.
Вдруг кто-то нам помахал с кормы,
затарактев перед этим в спины,
покуда двигались мимо мы
каре державинской домовины...
Там белой ночью верны миры
всем не отбрасывающим тени.

И на рассвете всегда мокры
бывают пандусы и ступени.

2016

* * *

Ветви старой яблони плодоносят,
а на соседних – седой лишай.
Какой будет эта осень,
сама решай.
Давай поверим её посулам,
хитросплетеньям тернистых дуг,
покуда ветер внезапным гулом
не переполнил окрестность вдруг.

Зимою космос зазывней станет
свои пространства приоткрывать.
А мы, лесковские соборяне,
всё беспокойнее будем спать.
Как будто вызнать взялись пароли
в преддверье первого мартабря
у террористов «Земли и воли»
и так спасти своего Царя.

При этом даже не представляя
как нам дойти на заре скупой,
вскользь по льду реку пересекая
с уже завьюженную тропой,
туда – где сделает так Создатель,
чтоб стало многое по плечу,
чтоб ставил бывший бомбометатель
в своём приходе за нас свечу.

Сентябрь, 2016

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ

О чём бы мне ни науковали,
я честно думал, что доживу
остаток жизни без аномалий
ни в предрассветье, ни наяву.
И сберегу от всех в секрете
сквозь непромытые линзы слёз
при малосильном ноябрьском свете,
когда затих набежавший ветер,
разлёт и свежесть твоих волос.

Но вдруг недавно прошли впервые
в глухих уездах дожди у нас,
не настоящие – ледяные.
Так что же это, подстава, сглаз?
И блёстко оледенились мрежи
ракет Тарусы и Вереи.
Лишай запущенных яблонь, бреши
небес, кажись, остаются те же,
что и когда-то...

Но не мои.

1 декабря 2016

СНЕГИРИ

Сначала снегири побледнели,
угасла прежняя алость.
А теперь и вовсе на кладбищах ли,
бульварах,
в садах у подёрнутой льдом реки
не встретишь ни колонии снегирей,
ни даже разрозненных одиночек.

А когда-то на заиндевевших ветках
у крыльца факультета
они поджидали нас
после экзаменов-экзакуций,
напоминая о скорой рюмке,
пылкой встрече,
разомкнутых створах жизни...

25 марта 2017

Александр КУВАКИН, Москва



* * *

Ни Российской империи, ни СССР.
Но, как прежде, поют соловьи.
И, как прежде, звуки небесных сфер
Нам пророчат о высшей любви.

И, как прежде, восток полыхает огнём
От зари до новой зари.
И, как прежде, сердце идёт напролом,
Если верит: «Всё впереди!»

* * *

Яблоки падают, падают, падают –
Время на время покинуло нас.

Тени бывшего собою командуют,
Не оставляя о счастье рассказ.

Да! Мы заложники счастья вечного –
Им наши взоры ослеплены.
Верной дорожкой шествуем Млечною
В счастье слепом – от войны до войны.

* * *

Таёт душа на пороге спасенья.
Таёт душа –
От сотворенья до воскресенья
Небом дыша.

Вот! Поднимается парус над нами,
Бурей томим.
Жалко не тех, кто разбился о камень,
Кто оказался иным.

Всё, что навек незабвенно и свято, –
Луч золотой.
Что ж! Собирайтесь родные солдаты
В путь неземной.

Пусть ваших жён по ночам поднимают
Ваши тревожные сны.
Жёны о счастье всё вспоминают
Только в объятьях войны.

* * *

Во время охлоса помедлим, брат –
Пусть порезвятся злые дети.
Пусть олигарх и властен, и богат –
Сгорит и он, как всё на свете.

А нам в такую пору быть.
Быть жизнью, а не к ней стремиться.
«О, я хочу безумно жить!» –
Сказал поэт про наши лица.

* * *

Им ещё не время умирать –
Лёгким и несбыточным мечтам.
Им ещё беспечно коротать
До военных бесконечных драм.
Набродись по сумрачной земле,
Намечтайся упоённо впрок,
Чтобы в мировой грядущей мгле
Ты узнать черты родного смог.

* * *

Владимиру Микушевичу

Апокалипсиса бессмертные страницы
И свет нездешний радуги земной
Увидел он в полёте райской птицы
И вслед за ней оставил край ночной.

А наши души, музыки алкая,
Следят, как над землёй, над тьмой греха
Он в небе русское поёт, не умолкая,
Причастный тайнам вечности стиха.

* * *

То, что мы видим – обречено
Преобразиться мгновенно.
Так вода, обращаясь в вино,
Дышит новозаветно.

Душу новую явит огонь
Веры, по-прежнему жаркой.
Эту душу попробуй тронь –
Испепелит до огарка.

* * *

Сколько было чудес и тайных, и явных,
Не сосчитать.
Не сосчитать, сколько слов было главных,
Не сосчитать.

Только вот музыки, музыки вечной,
Снились нам только сны.
Неудержимо летит по встречной
Яростный ветер войны.

* * *

Ещё определений нет.
Но звук сквозит и в самом малом,
И в сердце растворённый свет
Уже становится кристаллом.

И смыслы, поднимаясь в рост,
Становятся с душою вровень.
И мир так нов, так чист, так прост,
Что тянутся к нему ладони.

Виктор КУДРЯВЦЕВ, Рудня,
Смоленская обл.

* * *

Опять Победа. Но без мамы,
Её кургузого плаща,
Косынки, вянущих тюльпанов...
(«Умаялась, пока дошла!»)

Опять нестройный залп салюта.
Шульженко. *Витька с Моховой*.
И бесконечная минута
Над непокрытой головой.

... Мерцают на могилах свечи:
Андрей, Настёна, дед Иван...

И расправляет мертвым плечи,
Как в 41-ом, Левитан.

* * *

*Якушкино. Минькина гора.
Гладкино и Шестаково поле.*

Детства беззаботная пора.
Жаркая лапта на косогоре.
Песни баб тягучие, как мёд,
Аромат антоновки и мяты,
Ласточек неудержимый лёт
Над стрехою материнской хаты.
Тёплая полуденная пыль
Разомлевших безымянных улиц,
Дяди Коли стоптанный костыль –
Пьяная гроза соседских куриц.
.....
Было. Сплыло. Ни людей, ни хат.
Время образцовой обезлички.

Горькою усмешкою звучат
На руинах свежие таблички:

*Школьная, Садовая, Труда,
Зерновая, Выгонная, Счастья...*

Кланяется в пояс лебеда,
Следом иван-чай кивает: «здрасьте!..»
У плетня – консилиум старух:
«Всё ль разворовали, оглоеды?».

...Накрывает лёгкий смертный пух,
Как простынкой, улицу Победы.

* * *

Импровизированный рынок.
Старухи. Мухи. Требуха.
От снedyю пухнувших корзинок –
Густые запахи греха.

Сожжённое закатом небо.
В углу – знакомый силуэт.
Несёт ломоть ржаного хлеба
К губам, как в юности кларнет.

Узнала или не узнала?
«Мужчина, ливерку берём?!»
Как в этой... той осталось мало,
А всё же бьётся в горле ком.

Стою. Гляжу на руки в саже:
След от кольца, в морщинах грязь
(Я, помню, целовал их даже).

И у неё не удалась...

Сергей КУЗНЕЧИХИН, Красноярск



* * *

И когда от глупых сантиментов
К беспросветной правде перейдёшь,
Хватит и десятка сантиметров
Пустоты – от пола до подошв.
Если жизнь – топорная работа,
Значит, и расчёты не сложны.
Ну а для последнего полета
Человеку крылья не нужны.

* * *

*Я погружался в ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ
Вылез – весь в саже.*

Владимир Леонович

«Бой в Крыму, все в дыму»
«Битва негров в тоннеле».
Кто – кого? Что к чему?...
Восхищались и не краснели,
Зная точно, что – ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ,
Кроме прочего, – плагиат.

Кабала – ремесло,
А художник – невольник.
Был у Пола Било
ЧЁРНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК
До Малевича лет за тридцать.
Не побрезговал повториться.

Трус боится любой беды.
Дерзкий выпьет на риск отравы.
Если праведные труды
Не сулят барышей и славы –
Значит серое вещество
Провоцирует воровство.



Мало знать, что и где украсть,
Как хитрей обойти препоны.
Рынок – это иная власть:
Проще нравы, сложнее законы.
Там-то и попадает в клещи
Вещь, а с ней и хозяин вещи.

Смысл и качество не важны,
Чтобы зритель ломился в залы.
Регулируют рост цены
Адвокаты и зазывалы,
У которых особый дар –
Пустоту превращать в товар.

ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

Когда добрался Брежнев до руля,
Явил талант припрятанный до времени,
Издal свой опус «Малая земля»
И сразу стал лауреатом премии.

Чернил с бумагой Черчилль не жалел,
И как политик многих убедительней,
Вторую мировую одолел
Одним из первых в списке победителей,

И отчитался письменно о ней,
За что гиганту мысли уподобили.
Не кто-нибудь, а сам Хемингуэй,
Был на год отодвинут им от «Нобеля».

Толстой не смог подняться на волну,
Не вышел ни в стилисты, ни в спасатели.
Вот если б Гитлер выиграл войну –
Попал бы в величайшие писатели.

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Мальчишка волен и раскован,
Страну незнающий свою,
На прозорливого Лескова
Состряпал Писарев статью.

Швырял, напорист и неистов,
Презрительный словесный шквал
И клеветой на нигилистов
Любовь к России обзывал.

Клеймил и требовал бойкота,
Чтоб не печатать ни строки.
А если вдруг пригреет кто-то,
Тому не подавать руки.

И подхватили, поглумились...
Другого б растрепали в пух,
Но есть на свете Божья милость –
Талант и непокорный дух.

Не сладили, не измеси́ли.
И всё же не закончен спор,
А то, что выпало России,
Не осознали до сих пор.

Из искры возгорелось пламя.
Пошла великая вражда –
Слова кончаются делами.
А ведь Лесков предупреждал.

* * *

Могло быть лучше, но могло и – хуже,
Сработанное скорым топором.
Паром житейским скарбом перегружен,
Который вроде бы уже не нужен.
Дотянет ли до берега паром?

Имеет ли какое-то значенье
Накопленное впрок и на потом,
Не проще ль за борт, ради облегченья?
Да вот никак – родное. А теченье
Почти что вровень с латаным бортом.

* * *

Непонятно. Очень часто
Ни с того и ни с сего
Вдруг покажется – стучатся.
Дверь откроешь –
Никого.

Что такое? Что за мука?
Вот уже в который раз
Выйдешь –
Ни души, ни звука.
Только холодом обдаст.

ЗАКЛИНАНИЕ

Собственной прокуратуре
Бесполезен адвокат.
И следы кнута на шкуре
Всех грехов не искупят.

Что нещаднее колышит
Душу – совесть или честь?

Может Он тебя услышит
Если Он и вправду есть?

Чтобы боль твоих молений
Не унизила мольба,
Кайся не щадя коленей,
Кайся не жалея лба.

Шепелявь и заикайся,
Кровь размазав по губе.
Кайся. Кайся. Кайся. Кайся.
Есть в чем каяться тебе.

И прощение у Бога
Заслужи, а не проси.
Близость храма и острога
Неслучайны на Руси.

Татьяна КУЗОВЛЕВА, Москва



* * *

Ветер. Солнце. Бревенчатый плот
Крепок так, что на суше не сдвинуть.
По течению семейство плывёт,
Опасаясь свой плот опрокинуть.

Впрочем, дети, отбившись от рук,
Так и рвутся к сверкающим брызгам,
Берега оглашая вокруг
Несмолкаемым смехом и визгом.

Тихо плещется в брёвна волна.
И мне видится, как ненароком
Вся картина запечатлена
Пролетающей ласточки оком.

* * *

В зловещей, сумрачной отваге,
Слепя безжалостно глаза,
Не уронив ни капли влаги,
Сухая двигалась гроза.

И ветер рвал и резал кроны,
И стёкла сыпались, визжа.
Я каждого раската грома
Ждала, сжимаясь и дрожа.

И знала: близок миг бессилья,
Когда, набушевавшись всласть,
Безвольные уронит крылья
Пролившаяся ливнем страсть.

И ночь затихнет облегчённо,
Ступая по следам грозы.
И утром на листке точёном
Качнётся капелька росы.

* * *

Этот дом растерял принадлежности быта,
Утверждённого некогда чётко и властно.
Даже стены его безнадёжно разбиты
В нарастающих приступах старческой астмы.

И ночами, когда я лежу в его чреве,
Обострённо внимая неслышанным скрипам,
Он внезапно уходит в шальное кочевье,
Отрываясь от почвы со скрежетом скрытым.

И влекомый в дорогу сиянием лунным,
Звездопадом и неудержимым, и вещим,
Он на шабаш летит вдохновенно и юно,
И гремят его ставни, и крыша трепещет.

И верхушки деревьев царапают жёстко
Его стёкла, когда опускает он крылья.
Я под утро сметаю с подушки извёстку –
И совок наполняется звёздной пылью.
1971, 2016

* * *

Всё это я:
На стёршемся пороге
Забывтые вбираю голоса.
И почему-то тяжелеют ноги,
Когда душа стремится в небеса.



Зато в отместку молодой невежде,
Какой хоть не слыла, а всё ж была,
Я в старых книгах нахожу, что прежде
Почувствовать так остро не могла.

И в зеркале, покрытом сетью трещин,
Боясь его на части расколоть,
Я вижу тени и мужчин, и женщин,
Туда ушедших, где бессильна плоть.

Там Ад и Рай своим единством живы,
Там Бог и Дьявол нить одну прядут.
Шагнуть туда – уму непостижимо,
Шагнуть обратно – ноги не идут.

В какие зеркала мы б ни входили,
Какая б ни манила колея,
Мы там и тут, мы странно двуедины.
И там и тут творится жизнь моя.

* * *

Когда уже не ночь, но всё ж не рассвело
И птичьим криком день пока что не озвучен,
Ложится на окно мне белое перо
Как знак, что Ангел мой со мною неразлучен.

И значит, мне давно пора пуститься в путь,
Не для меня она – та славная обитель,
Где с подоконника перо так просто сдуть
И где совсем иной угоден будет житель.

Что ненадёжно, то равняется нулю.
И кто-то шепчет мне: «Не тем твой путь измерен.
И не мечись меж слов «люблю» и «не люблю»,
Тебе иная жизнь: меж «верю» и «не верю».

Но белое перо я сызнава ловлю,
И тайно на закат распахиваю двери,
И, словно тать в ночи, краду своё «люблю»,
Чтобы под утро вновь произнести: «я верю!».

Леонид КУЗЬМИН, Смоленск



ПОСЛЕВОЕННАЯ ЁЛКА

Детство. Ёлка. Мандарины.
В школе музыка и смех.
Веселей, чем именины,
Этот праздник был для всех.
Шапка. Валенки. Пальтишко.
Скрип полозьев. Голоса.
В наш районный городишко
Возвращались чудеса. –
Возвращались шоколадки,
И помадки, и ситро.
Дед Мороз с лихой трёхрядкой
Нам подмигивал хитро.
Шли каникулы без скуки.
Пекла мама пирожки.
И смотрел солдат безрукий,
Как сражались мы в снежки.

* * *

Если б меньше охранников,
да больше хранителей!
Если б меньше оценщиков,
да больше ценителей!
Избежав обывателей,
мне б дойти до обители,
где нужды нет в спасателях
в двух шагах от Спасителя!

* * *

Вдруг растаяло слово
И рассыпалась кисть.
Возвращается снова
Чёрный венчик тоски.
Я тебя не рисую,

О тебе не пишу –
Я сижу и тоскую.
Как – потом расскажу.
Когда слово вернётся,
Когда кисть соберу...
Когда Бог нас коснётся
Мотыльком на ветру.

Вячеслав КУПРИАНОВ, Москва



* * *

Я на ближних не в обиде,
Я среди далёких рос.
В этом виде я Овидий,
Над строкой «Метаморфоз».

Или я бреду, как Данте
За Вергилием вослед.
Мне кричат: «В сторонку встаньте!
Там останьтесь, где вас нет!»

Как непросто в этом мире
Петь заставить тень свою!
То ли я бренчу на лире,
То ли лиру продаю?

Космонавты на орбите
Мне грозят из синевы:
«Вы огонь в себе уймите,
Дым идёт из головы!»

Я уйду, и станет внятно,
Свет на самом деле бел.
Выгорят на солнце пятна
Там, где я на них глядел.

ОДА КОМПЬЮТЕРУ

От пустых забот вдали
Я гляжу в твоё окошко.
Мой компьютер! Удели
Памяти ещё немножко!

Дабы тайные слова
И магические числа
Сочетала голова
С допустимой долей смысла.

С чистым разумом в связи
Оцени за строчкой строчку,
Код вселенной загрузи
В радужную оболочку.

Всё, что гению сродни,
А не смутные изыски,
Поддержи! И сохрани
Сны мои на жёстком диске.

А когда уйду с земли,
Как задумано в начале,
Мой компьютер, удали
От себя мои печали.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Государственные умы подсчитали
Сколько мне положено съесть
Белков жиров и углеводов
Чтобы не перейти за черту голода
За которой начинаешь сомневаться
В государственных умах

Государственные умы вычисляют
Какой минимум духовной пищи
Положен мне уже с раннего детства
Чтобы не испытывать духовной жажды
И воспитывать в себе с раннего детства
Прожиточный минимум совести
И государственный ум

Когда я вырасту
Я тоже стану
Государственным умом
Который уже всё подсчитал
И всё вычислил
Мне останется только
При минимуме совести и способностей
Жить по максимуму

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Перепись населения
мне напоминает средневековые споры
о количестве ангелов
способных поместиться
на кончике иглы.

В советское время
это было моделью
для решения некоторых
коммунальных проблем.

В постсоветское время
это уже критерий
ценности личности:
главный вопрос анкеты –
сколько квадратных метров
приходится на мою душу.

Это всё
что хочет знать государство
о моей душе.

БОИ НЕВИДИМОК

Мои засекреченные друзья
в невидимых лабораториях изобретают
неслышимые подводные лодки
невидимые надводные корабли

Готовится спуск на воду
атомных летучих голландцев
запуск в атмосферу
многоступенчатой фата-морганы

Мои засекреченные враги
как в воду глядели
изобретая столь же
неслышанное
невидимое и неслышимое

О этот бумажный морской бой слепых с глухими!
В успокоенном мире никто не увидит

как тихо тонут невидимые матросы
потом так же тихо всплывают

видимо –
невидимо

СЕГОДНЯ В МИРЕ

22 июня сего года стройными рядами
Доблестная германская армия
Неся на подошвах своих сапог
Целостность своей территории
Вступила на так называемую русскую землю

Русские войска вероломно оказывают
сопротивление

Международное сообщество призывает
Русских прекратить кровопролитие

Президент соединенных штатов
Осудил русскую агрессию

Русские стягивают к Москве
Вооруженные формирования из независимой
Сибири

Геноцид немцев под Москвой
Геноцид немцев под Сталинградом

Гаагский трибунал требует выдачи военных
преступников

Суворова и Кутузова
Голландец Пётр Первый коварно преследует шведа
Карла XII
Прибывшего с визитом дружбы в оранжевую
Украину

Президент Грузии запретил сержанту Кантария
Водрузить знамя победы над Рейхстагом



Владимир КУРУШКИН, Кувандык,
Оренбургская обл.



* * *

В тимофеевке и клевере
Я лежу и грею плоть.
Для того их и посеяли
Божья Мать и Господь.
Я держу в руках травиночку
И гляжу, как в забытьи
Солнце– облако– косыночку
Тенью гонит по груди.
И звенящего комарика
Не хочу я отгонять.
Ну и что, что он кусается,
Можно и его понять.
Всё кругом взаимосвязано,
всё сплошной круговорот.
И коза стоит привязана,
Чтоб не лезла в огород.
Здесь в помине нет любимчиков,
Все равны, как на подбор,
Всем по солнечному блинчику,
всем по ветру с дальних гор.

ТЕНИ ПРОШЛОГО

Тени прошлого скользят по стене:
Как я в детстве босиком по стерне,
В зачарованной той синей дали
Пыль за мной, а я за ней весь в пыли.
Зеленела изумрудно трава,
Колокольчики звенели: ать-два.
Я мальчишка, я бегу босиком,
То на палке, то весёлым щенком.
Улыбается мне мама: «Сынок»,
В дом вошла, а я скорей за порог.
Ванька-встанька, принеси мне гармони,
Чтоб разжечь по всей деревне огонь.

Чтоб плясали стар и млад: ох, живём,
Никогда и ни за что не помрём.
Тени прошлого скользят по стене,
Как я в детстве босиком по стерне.
Я не помню, чтоб ходил я пешком,
Я бегу, за мной пылица столбом.
Золотая деревенская пыль,
Вдоль дороги посеревший ковыль...
Нет, меня не остановит никто,
Не задавит никакое авто.
Ещё нет их – «москвичей», «жигулей»,
Ещё не перевели лошадей.
На земле ещё пока благодать,
Телевизоров, антенн не видать.
Тени прошлого скользят по стене,
Как я в детстве босиком по стерне.
Я проснулся в городской тишине,
В мельхиоровом квартира огне –
Это фары проходящих машин,
Это в городе я с ни гу-гу,
Дали пендаля на том берегу.
Закрутилась моя жизнь колесом,
Много лет я не ходил босиком.
А когда всё ж посетил Азимган,
Всё смотрел, смотрел: да где ж тот пацан,
Тот ловивший на мели пескарей?
Выходи, выходи поскорей.
И как никнет в цвет вошедший овёс,
На щеках пробились тропочки слёз.
Будто здесь прогрохотала война,
Вся деревня сметена, снесена.
Я закрыл глаза, и вновь по стерне
Побежал к своей далёкой весне,
Выкликая ту знобящую рань –
Деревеньки, Азимган, глухомань.

Александр КУШНЕР, Санкт-Петербург

* * *

Искусство и есть продолжение жизни,
Но, может быть, в лучшем её варианте,
Где нас не заденет ни дальний, ни ближний,
И дело не в шляпе, а дело в таланте.

И ты от судьбы не зависишь и рока,
И нету ни горя, ни смерти, ни страха,
А только полночные вихри Ван Гога,
Венера, Даная, Олимпия, Маха.

Искусство и есть продолжение леса,
Искусство и есть продолжение моря,
И нет никакого в искусстве прогресса,
А призрак живёт и при нас в Эльсиноре.

И музыка учит расстегивать ворот,
И к шёлку фиалок склонившись и примул,
Любить эту жизнь появляется повод,
В стихи её взять появляется стимул.

* * *

Небо погаснет не всё и не сразу,
Свет заходящий похож на восход.
Так у Шопена печальную фразу
Вдруг жизнерадостный всплеск перебьёт.

Как перемешано всё в этом мире,
Перетасовано – главный урок.
И по трёхкомнатной ходишь квартире,
Как по Венеции, – был бы восторг!

Он и бывает, почти не завися
От объективного смысла вещей.
Были бы мысли, счастливые мысли
В блеске закатных последних лучей.

ЛЕСТНИЦА

Есть лестницы: их старые ступени
Протёрты так, как будто по волнам
Идёшь, в них что-то вроде углублений,
Продольных в камне выемок и ям,
И кажется, что тени, тени, тени
Идут по ним, не видимые нам.

И ты ступаешь в их следы – и это
Всё, что осталось от людей, людей,
Прошедших здесь, – вещественная мета,
И кажется, что ничего грустней
На свете нет, во тьму ушли со света,
О, лестница, – страна теней, теней.

* * *

Я вспомнил улыбку чудесную эту,
Которой художник сумел наделить
Хозяек и горничных, радуясь свету,
Вот он и окно не забыл приоткрыть.

Вот он и бокал шаровидный поставил
На стол, и кувшин попросил подержать.
И кресло подвинул, и скатерть поправил,
Чтоб ты этой жизни поверил опять.

Поверил, припал к ней хотя б на минуту,
Приник и свои огорченья забыл.
Забудь, постарайся! Я тоже забуду,
Мне так этот дворик приятен и мил!

Так нравится комната с плиточным полом!
В лицо этой жизни ещё раз взгляни
С доверием к ней и в унынье тяжёлом, –
Недаром же ей улыбались они!

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Дворцовая площадь, сегодня я понял,
Ещё потому мне так нравится, видно,
Что окаймлена Главным штабом, как поле,
Дворцом, словно лесом, она самобытна
И самостоятельна, в ней от природы
Есть что-то, не только от архитектуры,
Покатость и выпуклость сельской свободы –
И стройность и собранность клавиатуры.

Другими словами, ансамбль, – ведь и ельник
Имеет в виду повторяемость окон,
Он геометричен и он не отшельник,
Как будто расчётливо скроен и соткан,

И вот в центре города что-то от Суйды,
От Красниц и Семрино вдруг проступает,
Какой-то, при чёткости всей, безрассудный
Размах, и с Невы ветерок залетает.

* * *

Д. Кантову

Будущее – это то, с чем дело
Мы имеем в старости, оно
С юности манило нас, блестело
И страшило, было суждено,
Если доживём, и удручало
Неизбежным перечнем потерь,
Не хотел бы всё начать сначала
И войти ещё раз в ту же дверь.

Я дожил до будущего, понял,
Получил, осмыслил, осознал,
Постою тихонько на балконе,
Словно я покинул кинозал:
Фильм прекрасен, страшен и чудесен,
А финал, как всякий эпилог,
Как всегда, не очень интересен,
Даже если автор фильма – Бог.

* * *

Глухонемые в дачной электричке
Шли по проходу, мелкие вещички,
Поделки расставляя здесь и там, –
Вдруг кошечки их, зайчики и птички
Понравятся – и купят этот хлам?

Стеклянный, оловянный, деревянный,
Пластмассовый, дешёвый, нежеланный,
Кому такое нужно барахло?
Ни в комнате держать его, ни в ванной
Не станете: стекло и есть стекло.

А даже если б мраморное было
Там что-нибудь, кого бы умилила
Артельная такая красота?
Но ты купила слоника, купила.
Вот лучшая, клянусь, в тебе черта!

* * *

Мне уже не увидеть тот берег реки,
Где над отмелью жёлтой мелькают мальки
И снуют голубые стрекозы.

От меня те поляны и мхи далеки,
Я их вижу как будто сквозь слёзы.

Я один это место заветное знал,
Я на велосипеде туда приезжал
И пешком часть пути надо было
Одолеть через ельник, подъём и провал,
И нужна была твёрдость и сила.

А теперь мне туда не добраться, увы,
Не увидеть тех верб и придонной травы
И не поговорить с небесами
Теми, – легче в Венецию съездить, где львы
С их курносыми дремлют носами.

Валерий ЛАТЫНИН, Москва



КАЛМЫЧКА СВЕТА

*Прощай, любезная калмычка.
А. С. Пушкин*

Казалось очень странным это:
Черноволосая, как ночь,
Она звалась по-русски Светой –
Калмыкии раскосой дочь.

Плескался Дон у ног Светланы.
Венком сплетался разговор.
И незаметно стал желанным
Агатово блестящий взор.

Пьянили запахи полыни,
Симфония бегущих вод...
Ах, Света!
Помнится поныне
Приникших губ горячий мёд.



Упругий глянец смуглой кожи,
Купальника слепящий след,
И, на огонь костра похожий,
Прорвавшийся из сердца свет.

КАКТУСЫ НА ЛЕМНОСЕ

Алексею Келину

На месте «сиденья» казачьего
Круги от палаток видны.
Как зримо они обозначили
Трагедии давней следы?!

Воронки, воронки, как оспины,
Рядами по склону идут,
Покрытые каменной осыпью,
И кактусы рядом растут.

Какую-то мрачную мистику
Рождает в сознании взгляд –
Здесь нет ни единого листика,
А только иголки торчат!

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Сгребаю в кучу роскошь сада
И поджигаю небеса.
Какая сладкая отрада
На эти дымных полчаса!

Трепещет ворох оловянный,
В багряном плавится огне.
И лето крылышком туманным,
Прощаясь, долго машет мне.

ДВЕ СТИХИИ

Е. Клюевой

Спасатели в жёлтых жилетах
Зайти в океан не дают.
Штормит португальское лето,
Драконами волны встают.

Слоняются тени туристов
У пенистой кромки воды
И в мороси зябкой и мгливой
Теряются быстро следы.

Но сдержат ли русских запреты?
У нас со штормами вся жизнь...
На краешке Старого света
Две мощных стихии сошлись!

НЕПОСЛУШНЫЙ

«Непослушный был...»

Последние слова мамы

Что ей мстилось* перед расставаньем?
Явно, что не райские врата,
Если только это замечанье
Изрекли бескровные уста?

Я давно не прежний непоседа, –
Ветеран, полковник отставной.
Почему же так вот напоследок
Попрощалась матушка со мной?

Было детство далеко не гладким,
Хоть и рос в семье учителей.
Я казался ей «утёнком гадким»
В общей массе хуторских детей.

В материнской памяти заноза
Оставалась до последних дней.
«Непослушный был...»
И нынче поздно
Говорить про исправленье ей.

ОБВАЛИЛОСЬ НЕБО

Обвалилось небо на столицу.
За окном и в мыслях – мокрый снег.
Хмуры озабоченные лица.
В закоулках душ упрятан смех.

Ёжатся пернатые солисты,
В снежной каше не поётся им.
На проделки марта, как статисты,
Мы с любимой женщиной глядим.

А чего глядеть без интереса?
Серый снег слетает, словно моль.
Будем исцеляться антистрессом
И пускай солирует любовь!

* Грезилось, виделось (ст. рус.)

Евгений ЛЕСИН, Москва



* * *

Не смотри на меня, баянист,
Не вращай бестолково глазами.
Не поможет Гермес Трисмегист,
Что верхи перепутал с низами.

Не поможет всемирный потоп,
Не спасёт голубая Европа.
Не пускай ты лошадку в галоп.
Не дожждётся тебя Пенелопа.

Доставай лучше стрелы и нож.
Веселись при хорошей погоде.
Ведь на Троцкого всякий похож,
Кто резвится на дикой природе.

* * *

Подобно миллионам
Глотателей реклам,
Читай стихи драконам
И прочим облакам.

Позавтракать дайконом,
Отправиться к врагам,
К заманчивым иконам
И дальним берегам.

Поверили б законам,
Пошли бы по рукам.
Скучает Лаокоон
Среди телепрограмм.

Привет тебе с поклоном.
С прибором пополам.
Не надо никого нам,
Уходим по делам.

Князьям и фараонам
Известно тут и там:
Встречают по погонам,
А лупят по соплям.

Кто ходит по балконам
Сегодня по утрам,
Наплюй в лицо драконам
И прочим облакам.

* * *

Синие хроники не только в Нарнии.
Трупы вылавливают не только из Леты.
Когда я только вернулся из армии,
Покупал встречным солдатикам сигареты.

Советы бывают не только вредные.
Чёрных видно не только на белом.
Бедным помогают только другие бедные,
Богатые помогают планете в целом.

ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ (2017)

Россия, Европа, начало начал,
Всё прошлое было ошибкой.
Так жили политики: каждый встречал
Друг друга притворной улыбкой.

И в баре сидели, а где-то война,
А где-то гримасы прогресса.
А где-то бурлит напоследок страна,
Моя дорогая Инесса.

Война не война, доставай каравай.
Жандармы уснули за шкафом.
А где-то в России московский трамвай
С изысканным бродит жирафом.

* * *

Куда вы, пролетарии всех стран?
Чья голова лежит на вашем блюде?
Забудьте вы про инопланетян.
Они нам не помогут выйти в люди.

Забудьте вы уже про Третий Рим,
Забудьте про строительство компартий.
Опять о государстве говорим,
Но идеал возможен только в Спарте.



Течёт куда-то бурная река.
Пора бы нам в трущобы Петербурга.
И я иду с тоской на МЦК,
Ругая и Солона, и Ликурга.

* * *

Поедем, красотка, в Мытищи,
А лучше на Курский вокзал.
Пропьём наши мутные тыщи,
Бюстгальтер пропьём и штурвал.

Вселенная непостоянна.
Забудь Шарантон и Сибирь.
Скучала Каренина Анна,
И в женский ушла монастырь.

Промзоны Парижа и Ниццы
Увидим, красотка, во сне.
Летят перелётные птицы,
А мы остаёмся в стране.

Читали недавно в Посеве,
Что скоро Совдепам каюк.
Поедем, красотка, на Север,
Пока не потянет на Юг.

ЭСХИЛ. ПЕРСЫ

Как хорошо не выпивать
Денёк-другой.
Вокруг такая благодать,
Хоть волком вой.

Открытых ран не береди,
Великий князь.
Казнясь, домой теперь иди.
Иду, казнясь.

Мы начинаем КВН.
Без головы.
Ну, здравствуй, мистер манекен,
Иду на вы.

Татуировка на груди.
По морде хрясь.
Казнясь, домой теперь иди.
Иду, казнясь.

Мы уронили алкоголь
Вам на мозоль.
И вот теперь я полный ноль.
Какая боль.

Какая мерзость впереди,
Какая грязь.
Казнясь, домой теперь иди.
Иду, казнясь.

* * *

На Люсиновской звон колокольный
И машины гудят оголтело.
Ты несёшь для меня своё тело
И напиток слегка алкогольный.

Город мой, моя верная плаха.
Тротуара подгнившие доски.
Продавщица в газетном киоске
Что-то молит опять у Аллаха.

Может, мужа, а может быть, хлеба
Для кого-то в родной деревушке.
И опять у подъезда старушки
Молча смотрят на синее небо.

Оксана ЛИСКОВАЯ, Москва



* * *

Собираюсь в рай
В самый близкий через дорогу
Разложила вещи –
всё жаль
Но взять с собой много
Не разрешили
Строго сказали:
– Выбери
Тогда я буду брать миску кошке
Подстилку и брошь со слонком.

Карандаш
 Бумагу
 Фотоальбом.
 Туфли возьму и юбку с птицами по бокам
 Может быть пригодятся хотя бы там
 Пара томов Блока и Розенталь
 Разве мне помешают стихи и словарь?
 В тепле
 в полутёмном салоне
 Часть пассажиров спит
 Шепчет пилот:
 – Едешь в рай? Не забудь
 Где у тебя болит

* * *

Ты случайный мне,
 Просто встречный.
 Говори сегодня что хочешь.
 Можешь сравнивать звёзды с речкой,
 Можешь родинку с червоточиной.
 Я к тебе спиной прислоняюсь,
 Ты сегодня моя опора.
 Хорошо, что мы повстречались
 И спасибо за разговоры.

* * *

Сказала ребёнку правду,
 Что мама ушла на небо,
 И варит раствор целебный,
 Чтобы ты не болел.
 Готовит на небе кашу,
 Шепчет мне – как и что.
 Чтобы без завтрака
 В школу
 Ты не ушёл.
 Включает ночник у кровати,
 Дарит мне ноты в песне.
 Где бы она ни была –
 Ты будешь с ней вместе.

* * *

Куда же мне пойти,
 В какой же сад?
 Чтобы увидеть,
 Как растёт тот мальчик,
 Которому должна я
 Имя дать.
 Но день был труден,

Надо лечь и спать
 И позабыть об имени ребёнка,
 Которого назвать осталось только.

* * *

Петух вытягивает ногу
 Шагает вдоль укропной грядки,
 И ветер треплет на затылке его перо
 И бьёт украдкой.

Всё остальное не заметно.
 В жаре и паре расплываясь,
 Лежат на полке два конверта,
 И спит собака, улыбаясь.

* * *

Я уложу в один урок
 историю стихосложения,
 Чтоб написать три предложения,
 И чтоб понравиться тебе.

Я уложу в один урок
 Историю твоих сомнений,
 Чтоб написать три предложения,
 И чтоб ты разлюбить не смог.

Я уложу в один урок
 Простое, тихое решенье
 Чтоб написать три предложения,
 И чтобы полюбить самой.

* * *

Стол письменный не освещён
 И тишина гудит,
 Кто в этом доме не прощён
 Тот до сих пор не спит.

Прошёл сквозь стены домовой,
 Пыль с бороды стряхнул.
 И воздух раскачав густой,
 Свечу мою задул.

* * *

В саду играл патефон
 В тысячу раз тише,
 Чем я вспоминала тебя.



Он ошибался реже,
Чем я забывала тебя.

В саду патефон плыл,
Как ты на своём ветру,
Как я на своих лодках,
Как музыка на бегу.

В саду патефон – рай.
Колени мои открыты,
В пруду веселятся рыбы,
Меняют пластинки нам.

Валерий ЛОБАНОВ, Одинцово,
Московская обл.



* * *

Вспомнится стих заветный –
и хорошо душе.
Тёмный ты или светлый?
Не различить уже.

Шум городских окраин,
внутренний непокой.
Поздний ты или ранний?
Разницы – никакой.

Зимний ты или летний?
Не разобрать голоса.
Старость, рубеж последний,
взлётная полоса.

* * *

Житейское поле возделано,
идут затяжные дожди...
Так много в итоге не сделано,
такая зима впереди!

Вновь артезианскою скважиной
грядущий взрывается миг.
Так много не спето, не сказано,
больших не прочитано книг!

Так много от прожитой начерно,
от маленькой жизни (увы!),
осталось живой, нерастраченной
и неразделённой любви!

Так много тропинок не пройдено,
так томно кричат журавли
над бедной единственной родиной,
где дни моей жизни прошли!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Мы эту школу проходили,
мы этот День не отдадим!
Вчера мы немца победили,
сегодня шведа победим...

А жизнь солдатская – полушка,
а их положено вдвойне...
Ах, если б, всё-таки, получше
вожди готовились к войне!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

...холодочек венчальный,
наползающий мрак,
закипающий чайник
да начальник-дурак,

воспалённые ночи,
поцелуй на бегу,
и туманные очи
на том берегу...

Жизнь двоична в основе,
и во все времена
из войны и любви
состояла она.

СТАРАЯ ПЕСНЯ

Белой акацией дышится,
да, население смутив,
песня знакомая слышится,
полузабытый мотив.

Чувства звучат изначальные,
те, что дороже всего –
песня про очи печальные
да про измену его.

Узкие, узкие, узкие
сроки у нас и права.
Русские, русские, русские
мчатся над миром слова.

Вечер. Рябина качается,
девушка выгнула бровь...
Старая песня кончается,
и начинается вновь.

* * *

вырвется пламя из темени
что за народ-баламут
там за высокими стенами
нас никогда не поймут

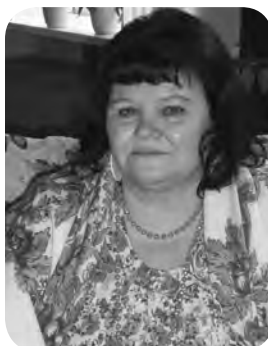
что мы такое придумали
вычислили
изобрели
под алкоголем
под дурью ли
под вдохновением ли

ИНСКРИПТ

Поле перешёл,
перешёл между...
Вот и хорошо.
Вот и ухожу,

век прожив без прав,
в темноте прозрев,
смертью смерть поправ,
жизнью жизнь согрев.

Тамара ЛОСЕВА, Смоленск



СТАНИСЛАВКОВО

Вот выберем денёчек голубой,
Поедем в Станиславково с тобой...
Там хата есть, заброшенный есть сад,
Там яблоки на яблонях висят.
Там распугал чертей чертополох.
Там есть болото и зелёный мох.
Там речка зарастает тростником,
И несколько осталось стариков:
Петровны две, Гавриловна и лес...
Да Русь святая в куполе небес...
Вот то и есть заветные края,
Родимая сторонюшка моя...

* * *

Дождь косматый, дождь лохматый.
Ты зачем мена сосватал
С чёрным озером в лесу?
Молодой, холодноватый,
Шёл походкой нагловатой,
Намочил мою косу...
Брови мазала черникой.
Щёки спелой земляникой.
Умываться не хочу!
Вот пристал! Сейчас я всхлипну.
Побегу и громко крикну,
Или птицей полечу –
Над тобой похохочу...

Юрий ЛОЩИЦ, Москва



* * *

Плоть избяная, как всегда, права
в привычке ожиданья: дети, где вы?
Тут ваше всё: берёста и дрова
и птичий писк, и звон печного чрева.

И ввечеру, и в ночь, и до утра
запекшаяся клеть богатыря –
натруженные восковые рёбра
стоят за вас былинно и хоробро.

И каждый угол красен и броваст,
и крут пожатием упорных связей,
как будто, стужу одолев и наст,
вошли и пировать расселись князи.

Я здесь среди своих, как на миру,
под сенью матиц сердцем не умолкну,
не задохнусь во сне и не умру.
Когда же отойду, то не надолго
2017

* * *

Всполошится выводок утиный,
а одна притихнет, затаясь.
Цапля ногу окунает в тину.
До конца измучит наша связь.

Индевеют под мостом туманцы –
надышала в забытыи река.
Проезжайте мимо, иностранцы,
банки не забудьте от пивка.

Знаю сам: сосуды мои тонки,
от соляры гарью обросли.

Надышусь до самой селезёнки
холодом кладбищенской земли.

Грейдер твёрд. Зашелушились сосны.
Всхлипнул жерех? Краснопёрый язь?
Вспомню вдруг, что год-то високосный.
Оттого так ранит наша связь?

Чахнут смыслы, чахнут. Из колодца
вычерпаны струи до песка.
Только вдруг наружу речь прорвётся
сквозь коросту, горяча, хрупка.

Вот так я! Да только это я ли?
Это ты – моя река-туман.
Нет, несчастья нас не укатали.
Лестью не залижут наших ран.

По-за лесом поезд рвёт в две силы.
Взрыдывает пережат, биясь...
Что ж ты, милая, так тянешь жилы?
Никому не выдам нашу связь.
2016

* * *

Ночь давит и гнёт непрестанно.
День чахнет, сходит с ума.
В Евангелии от Иоанна
такою представлена тьма.
Но как она в нас ни метит,
а света не может объять.
Свет светит,
он светит,
светит!
И пятится тьма вспять.

Евгений ЛУКИН, Волгоград



УТРАТЫ

* * *

Отравители ходят рядом –
и, знакомый с таким раскладом,
приучался загодя к ядам
осторожный царь Митридат.
А в итоге, верьте не верьте,
пил отраву, молил о смерти,
и отказано было в смерти –
оказался привычен яд.
Ставши докой в любых потерях,
терпеливо сношу теперь их –
умудрённое чудо в перьях,
погорюю – да и вперёд.
Не убили меня утраты,
не смертельны были утраты.
Митридаты мы, Митридаты –
и отравы нас не берёт.

* * *

Сергею Васильеву

Переулки белы, мертвы.
Сам, смотри, не заиндевей!
Снег бредёт меж чёрных ветвей,
как французы из-под Москвы.
Не убит, но уже отпет,
в хмуром шестивии примечай,
как слагается невзначай
поражение из побед.

Не сносить тебе головы
этой выморочной зимой.
Побредём-ка и мы домой,
как французы из-под Москвы.

* * *

То поверят, то разуверятся,
то найдут, то утратят нить –
и, как следствие, разумеется,
начинают меня бранить.
Скажем, сменится эра эроу –
тут же сменится и вина:
то я, контра, в Господа верую,
то не верую ни хрена.

* * *

Уж который раз подряд,
как сюжет ни поверну:
«Подражаешь, – говорят, –
Салтыкову-Щедрину».
Что сказать говорунам?
Это наши времена
подражают временам
Салтыкова-Щедрина.

УСТАЛОСТЬ

Иду проспектом, искусная копия человека,
один в один, до последнего пустяка –
даже вон левое веко
подёргивается слегка.
Да и мысль моя вполне напоминает людскую,
достаю на ходу айфон, вылезаю в чат.
Иду, короче, и практически не рискую,
что меня однажды разоблачат.

* * *

Найдёнышу

А знаешь что, моя хорошая,
давай, с альбомов пыль отряхивая,
смотреть, как молодеет прошлое
на чёрно-белых фотографиях.
Листаем некогда утраченное,
а может, нас оно листает,
и всё моложе, всё прозрачнее,
пока однажды не истаёт.

**МАСТЕРА**

Жили долго ли, коротко,
да ушли в небеси,
а топорик, топорик-то
всё звучит на Руси,
и представить в диковинку
нашу жизнь без него,
скажем, строя часовенку
или грабя кого.

НОЧЬ

На краю селения
выдохну спасибо я,
ибо ты, Вселенная,
стерва, но красивая.

* * *

А вдруг меня переживёт
мой организм! И будет счастлив:
сидит и что-то там жуёт,
глазёнки радостью замаслив.
Однако, где же буду я,
мои сомненья, страхи, страсти,
когда он, что-то там жуя,
узнает, что такое счастье?

* * *

Через две недели быть разливу,
дышит грунт, а лист ещё таков,
что поверю, будто сел на иву
рой зеленокрылых мотыльков.
Чуть помедлю, проникаясь благом,
и опять взойду на бугорок,
за которым мусор по оврагам
и сплошное месиво дорог.
Господи, прости за повторенья,
но, быть может, скажешь, отчего
именно такой венец творенья
нахлобучен миру на чело?

* * *

Вечернее безветрие окрест.
В апрельской роще, где-то там, у липок
безбожно врёт мелодию оркестр –
зверинец металлических улиток.

А мы с Витьком, не зная ничего,
сидим и принимаем постепенно.
Нам невдомёк, что это для него
разучивают школьники Шопена.

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ

Я сплошь и рядом виноват,
я богом мечен,
но не мостил дорогу в ад,
поскольку нечем.

* * *

Последствий и причин хитросплетенье,
действительность, в которой я живу,
явись хотя бы в страшном сновиденье,
а то всё наяву да наяву!

Владимир МАКАРЕНКОВ, Смоленск

* * *

Ни с этим, ни с тем не согласен я веком.
Сгорят блиндажи из подшивок газет.
И, если дано возвращаться, то снегом
Хотел бы я вновь появиться на свет.

Довольно глядеть вам, дома, исподлобья,
Как с пренебреженьем к рекламным щитам
Бесхлопотно валяются белые хлопья
За шиворот улицам и площадям.

У снега не спросишь о паспортной визе,
Зачем и откуда, кто вызвал и ждёт.
Письмом допотопным лежит на карнизе.
И речью прямой сердце чуткое жжёт.

А за кольцевой непроглядной дорогой,
Ступив от обочины два-три шага,
Увязнешь, покажется местность берлогой,
Услышишь, по-пушкински воеет пурга.

Вот так ненароком небесной лавиной
Накроет равнины, холмы, а в горах
И летом каракулевые вершины
Величественны в облаках на парах.

Заносы, завалы, сугробы повсюду.
Куда ни пойдёшь, ни поедешь – всё снег.
Явление это тождественно чуду,
Какого с рождения ждёт человек.

Нет, если дано возвращаться, то снегом
Хотел бы я вновь появиться на свет.
И детским снежком, подгоняемым смехом,
Тебе передать свой небесный привет.

ЖЕЛЕЗНОЕ СЕМЯ

Вызрело в сердце железное семя.
Не повторится лубочное время.
Прежним, беспечно весёлым не быть.
Так, чтобы звёзды срывать, не любить.

Семя железное не пожалеет,
И оболочка его проржавеет,
Зашевелятся в груди корешки,
И зазмеются во взгляде вершки.

Нет, не железные сроки пророчу.
Думаю, как плодородную почву
В сердце от семени спрятать на время.
Страшное бремя – железное семя.

БОЖЬЯ КОРОВКА

Приложишь к уху – и неловко
За детской страсти волшебство.
Шуршит пленённая коровка, –
Как все мы, – божье существо.

Настырно: раз-два, раз-два, раз-два...
Запрограммирована цель –
В безбрежность синего пространства
Пошире расцарапать щель.

Какую же, должно быть, муку
Там, в галактической тиши
Несёт Творец, вот так же к уху
Коробку с миром приложив?!

* * *

Мирозданье – как сеть Интернет.
В нём живая душа виртуальна.
Лишь у Бога в нём адреса нет,
Он один существует реально.

Я в пространство кричу и стучу
Глыбой сердца, как будто по раме.
Я до Бога добраться хочу.
И увидеть весь мир на экране.

Но боюсь, что экран этот чист,
Как затёртый веками папирус,
Что вселенский компьютер завис,
Распознав человеческий вирус.

ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

Жить всё прискорбнее с годами,
Асфальт толкая из-под ног.
Звезда полей над городами –
Потухший русский огонёк.

Ещё в ночи заблудший странник,
Ища тропинку сквозь пырей,
Заметит в небе отблеск странный,
Отыщет след звезды полей.

Ложится нежно на берёзки,
Освобождает от оков
Угасшей жизни отголоски
И тени грешные веков.

Ещё на отмершем погосте
Напоминает о звезде,
Как мироточит, слабый отсвет
На металлическом кресте.

Ещё, когда нежданно вьюга
Помянет в голос снежный век,
Глазами радостного друга
На свет звезды искрится снег.

Остатный свет бывшего мира!
Жар-птица счастья без гнезда!
А раньше Родине светила
Как путеводная звезда.

ФАРФОРОВЫЙ СТАРИК

На лавке перед магазином
Сидит фарфоровый старик.
Он дышит пылью и бензином,
Сгустив молчание в кадык.

Автомобильное движенье,
Бег пешеходов, толкотня
Не трогают воображенье,
В дремоту сладкую клоня.

Куётся жизнь, но звуки ковки
Ударов сердца не слышней.
Ведёт сознание раскопки
Давно окаменевших дней.

Всё чётче проступают грани
Былого: стан, овал лица...
И в сердце сложенные камни
Крошатся в красные тельца.

И память лепит, как с природы,
Любимый образ... вновь и вновь...
И жжёт фарфоровые скулы
Непреходящая любовь.

Мария МАКАРОВА, Москва

* * *

Тёплые майские ливни –
Это немного грусти.
Яблони, сливы, вишни.
Солнце в хрустальном бокале.
И лепестков позёмка.
Первые ночи лета –
Это немного страсти.
Нежный жасмин и липа.

Сумерек полыханье.
И соловей поющий.
Спелое яблоко с ветки –
Это немного жизни.
В яблоке восемь яблонь.
Семечки как сердечки
Бьются и прорастают.
Сонные бледные розы –
Это немного смерти.
Если уколешь палец
Можно заснуть ненароком
Словно принцесса Шиповник.
Это немного грусти,
Это немного страсти,
Это немного жизни,
Это немного смерти.
Дом мой в глуши Эдема.

* * *

Я знаю, глупо строить планы,
Но только ты шагнёшь ко мне,
Как между нами лягут страны,
Сорвавшись с карты на стене.

Как только ты рукой коснёшься,
Моей склоненной головы,
Как я проснусь, и ты проснёшься
В другом конце сырой Москвы.

Собьются сны прозрачным роем
В дрожащем свете ночника.
И как крыло тебя укроет
Чужая лёгкая рука.

* * *

за каплею капля
сквозь щели моста
сочится стучится
ползёт темнота
скользит и вбирает
и звуки и цвет
как губка стирает
любой силуэт
чужие объятия
и детские сны
крадёт и крадётся
по краю весны

* * *

Разве это отзвуки стихий –
Шорохи пергаментной бумаги
И прикосновенья этой влаги
Вкрадчивы, задумчивы, тихи.

Город выгибается дугой,
Множится, качается, кривится,
Словно близорукая девица
Ловит отражения рукой.

Не утешить и не удержать,
То ли плачет, то ли пламенеет,
То ли обнимает и не смеет
Тесные объятия разжать.

Владимир МАКЕЕВ, Москва



* * *

Церковь Бориса и Глеба
И Левитановский плёс.
Родина чёрного хлеба,
Родина белых берёз.

Слушаю поле ржаное
Или протяжную речь...
Всё-таки что-то родное
Нам удалось уберечь.

ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ

Пироги подрумянились в печке,
Самовар, закипая, поёт.
Дед на своём крылечке
Что-то с утра плетёт.

Воробьи на дворе чирикают,
Лето дышит в окно.
Хлеб, молоко с черникою...
Вечером в клубе кино.

ПРОЩАНИЕ С ЭПИСТОЛЯРНЫМ ЖАНРОМ

Время писем, время ожиданий,
Время долгих душеизлияний
В ящике почтовом не ищи.
Там лежат квитанции из ЖЭКа.
Съехала в подвал библиотека
И на старой скатерти камчатной
Остывают суточные щи.

* * *

*Памяти моего отца – штурмана
Московского речного пароходства*

Я на ушах носил фуражку,
Была фуражка велика.
И за кормой мою тельняшку
Стирала чистая река.

Я был счастливей Магеллана!
Швартовы отданы давно.
Стоял в каюте капитана,
Смотрел в открытое окно.

А за окном лежала Волга,
Заливы, плёсы, камыши.
И не хватало мне восторга!
И не хватало мне души...

* * *

«Всё на свете проходит» –
Ворчит, замедляя ход,
К причалу тихо подходит
Старенький теплоход.

Он бы ещё побегал,
Как в юности – покутил,
Но, видно, Кто-то на небе
Всё за него решил.

Чайки кричат печально.
Старик, пора на покой.
И капитан прощально
Машет ему рукой.



* * *

Опустился туман над речкою.
 В Божьем храме стою со свечкою
 Не затем, чтоб свои прегрешения
 Я оставил здесь за гроши,
 А затем, чтоб найти утешение,
 Утешение, для души.

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ

Речной вокзал... Под вечер
 Девчонкам на ходу
 Мы назначали встречи
 В сиреневом саду.

Здесь танцевали вальсы,
 Крутили патефон
 И робко целовались
 У мраморных колонн.

Речной вокзал, мы оба
 Немолоды и всё же,
 Продрогший до озноба,
 Здесь я себя моложе.

На белых теплоходах
 Уже отбили склянки,
 Но отражают воды
 «Прощание славянки...»

Григорий МАРГОВСКИЙ, Бостон,
 США



КЛЫЧКОВ И МАНДЕЛЬШТАМ

Хозяин сын курляндского купца,
 В лице его апостольское что-то
 Величествует: лесть и хитреца
 Не отвлекают мыслей от полёта;
 И гость его такой же старовёр –
 Чья родина лесной и ладный Талдом;
 И оба дышат музыкою сфер,
 Бесстрастные к докладам и кувалдам.

«Серёжа, горлохваты мне претят!
 В пучине их ячеек и получек
 Нас время топит, как слепых котят,
 Талдыча: ты кулак, а он попутчик.
 Ах, как же мне писалось год назад!
 Раскачивались кипарисы в Гаспре –
 Старухи на толкучке, и закат
 Такой красоты, что к чёрту ваши распри!
 Есть блуд труда...»

«И он у нас в крови?
 Да хоть и так, нельзя смиряться, Осип!
 Восстань и жар пророческий яви:
 Давно чревата камнепадом осыпь!
 За что деревню ироды гнобят?
 Ужель народной не страшатся бури?
 Чума на них! Ударить бы в набат,
 А не скулить по мировой культуре!..
 На пашнях не токуют черныши.
 Усохло русло. Обнищала пажить.
 Кто межеумка выудил, скажи,
 Над нами без мужицкой сметки княжить?
 Глянь на себя: ты клянчишь на трамвай,
 А покупаешь Наде хризантемы...
 Что проку, братец? Растолкуй давай,
 Но только, чур, не уходи от темы».

«Ах, полно, Серж, куда нам прок земной!
Бессребреник расчётливей проныры:
Когда зияют в казначействе дыры –
Есть выгода в презренье к таковой».

«И вновь ты рассуждаешь как еврей!»

«Зато в стихах я русского русее.
Что ж, как Есенин выть с петлёй на шее?
Да, век наш зверь: а мало ли зверей?
Пусть мой чертёж запутан и громоздок,
Но оборотнем, дико и легко,
Я сноп вяжу из золотых бороздок,
Как остроклювый маятник Фуко!
Пусть контрфорсы стянут аркбутаном
И витражи решёткою запрут,
Убранство речи – в отклике гортанном
На млечное сияние запруд».

«Вот это правда! Дай-ка расцелую
Тебя покрепче, свет моих очей!
Такой Руси и нужен казначей,
Кто б жажду утолял её святую».

Гость удалился, и хозяин стал
Листать его «Чертухинский балакирь»...
Крестьянина расстрельный ждал подвал,
А разночинца – пересыльный лагерь.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Как полагают звездочёты,
За небом нужен глаз да глаз.
Ответь, незаблемая, кто ты
И почему так манишь нас?
В саду орудую граблями,
Хватает неотложных дел:
С соседями в их гулком храме
Вчера я мессу отсидел.
С амвона имена героев
Священник выкликал, суров,
А я безмолвствовал, утроив
Благословенный сонм богов.
Я думал о тебе, загадка,
Нам создающая оплот,
Пока младенец дремлет сладко
И мать-ирландка слезы льёт.
Ты ярче всех, поскольку ближе
К прообразу любви земной,
Но эти листья слишком рыжи,
Чернее ночи пережной.

СТРЕКОЗА

Не изнывай во мне, душа,
И чаще забывай о тлене,
На детский утренник спеша,
В объятья первых впечатлений.
Покуда мир ещё любим,
Давай в мечтах его утонем
Стрекозым бантом голубым
Над распутившимся бутаном!
Пусть колыхнутся, даровав
Тебе фасеточное зренье,
Коленчатые стебли трав
И крестоцветия сирени.
Тягуче солнце как нуга,
А ветер, перебаламутив
Тетеревиные луга,
Кроит узоры из лоскутьев.
Но обихоженный газон
Ровнёхонько исполосован:
Тебя, о пленница времён,
Я понимаю с полуслова...

Зоя МЕЖИРОВА, штат Вашингтон,
США



* * *

Не жалуйся
И ни о чём
Не вздыхай...
Сегодня Господь
Нам показывал Рай.

В блаженстве
Зелёных лугов
Тишина.
И с солнцем
На небе



Чуть в дымке луна.
И Эмили Дикинсон,
Платьем
Шурша,
По медленным
Травам
Прошла не спеша.

Блаженство...
Безмолвно
Шептала Земля.
И пели
Беззвучно
Псалмы тополя.

Вот здесь, –
А не только
В обители грёз,
Всё так и должно быть –
Ни горя,
Ни слёз,

И чтобы –
Ни гула войны
Сквозь часы,
Лишь бомбардировщик
Настырной
Осы,

Чтоб медлила
С мглою
Игра в поддавки,
Лишь –
Взмах волейбольный
Прицельной руки,

Не след
Баллистических
Мёртвых ракет, –
А млечных ромашек
Трепещущий свет.

**ПЕРЕД ОТПЕВАНИЕМ.
ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО**

Здесь апрельскою столицею
Провезут твой скорбный прах.
Встанет звёздная милиция
На семи крутых ветрах.

Всей судьбой безымянною,
Мановением руки,
Да и смертью окаянною –
Охватил материка.

Даже после смерти мучили,
Выставляя там и тут.
И теснилась тьма ползучая,
Отдаляя грозный Суд.

Будет вербовая веточка
Талым светом трепетать.
А на лбу с молитвой ленточка
Чисто, празднично лежать.

Майкл Джексон зноя властного,
(Задарма небес грома!),
То тишайшего, то страстного,
Что со станции Зима.

Межпланетная энергия
Не уймёт бездонный пыл.
Отзвук Радонежский Сергия
Стадионам приносил.

Мир, – путями неизвестными
Уходя, – не забывай!
Не прощаясь, – мчись над безднами
В свой последний вешний Рай.

Там, в просторах неизведанных,
Ожидает Божья Рать.
Во мгновеньях проповеданных
Разве Духу умирать?

И в конечном расставании
Предпасхальный звон лови,
Слыша Глас на Отпевании –
В расстоянии Любви.

8 апреля 2017, Москва

* * *

Памяти Ярослава Смелякова

Российский национальный поэт –
У этого званья два крыла –
Величье бед и свершенья побед, –
Воспевший, сгоревший дотла.

Не нажил детей, не осталось вдовы.
Лишь стих над промозглым провалом парит.
В ненастье для исповедальной строфы
Неслышим. Почти что забыт.

И как в параллельном ином бытии,
Оглохших проспектов драконий полёт.
И мёрзлые губы шуршат: – Погоди,
Ещё твоё время
придёт...

ЗИМА АРБАТА

По тёмным улицам – огни, метель и дым...
Сжимаясь, ёжится под холодом седым.
Едва выглядывать из-за воротника,
Из глубины себя, почти издалека.

Весь мир иной, когда здесь летний свет и зной.
Мои владения – раскинулись зимой.
Мои снега – заволокли земной простор.
Моя звезда – алмазом льда глядит в упор.

И вот желтеют в снегопадах фонари.
Метут метели от зари и до зари.
Опять зимы глухой медлительный затвор.
Блаженство белое. Молчанья разговор.

Оно спит и никого в себя не ждёт.
Собою полнится. Само в себе поёт.
Его безмолвие сияет тишиной.
Метель стеной. Особняков бесшумный строй.

По тёмным улицам – на стынувший Арбат!..
Он рухнул в сны и никому ни сват ни брат.
Отгородился ото всех. Беззвучно тих.
Нам хватит с ним зимы затвора на двоих.

Лишь фары выхватят летучий снежный прах.
Остывшей платиной беспамятство в словах.
По тёмным улицам – огни, метель и дым...
Одни огни, метель и дым... метель и дым...

Виктор МЕЛЬНИКОВ, Коломна



ПРЕДЗИМЬЕ

Яркой цыганкой прошло бабье лето,
Жёлтым вдоль рощи махнув подолом.
Стынет заката узкая лента
Над загрустившим, притихшим селом.

Лес свои краски в озеро бросил,
И засветилось оно золотым.
И синева над макушками сосен
Маревом виснет, как призрачный дым.

Вечера сумерки, теплятся свечи,
Как чешуя, зарябила вода.
Сосны крадутся к жилью человечьему,
Словно предчувствуя холода.

Выдует ветер запахи хлеба,
Запахи трав от покоса полей.
Вымоет дождик дочиста небо,
Благославляя на юг журавлей.

Лес принакроется серою шалью,
Станет печалиться из-за холма,
И на просторы российские далью
Долгая-долгая ляжет зима.

ПРИХОД ВЕСНЫ

Зима над городом плела
Мороза кружево тугое.
Я ждал весну – она была,
Как мама – счастье дорогое.

И рассинились небеса,
И у оконного карниза
Прогрелся воздух... Дымкой сизой
Асфальт курился. Чудеса!

Галдели птицы, как весной,
Они навстречу ей летели.
И вот капли зазвенели,
Округу радуга собой.

Весна идёт, идёт весна!
Зима подтаяла, намаясь,
Сияет лужицей она,
В ней воробьи спуют, купаясь.

ХОРОШОВСКИЕ НОЧИ

Я с тобой... И сны короче...
Летним жаром дышит слово...
Не хватает летней ночи
Нам обоим в Хорошово.

Ветерок шалит под елью,
Веет с луга мятный запах.
Звёзды смотрят еле-еле,
У сосны скрываясь в лапах.

Ночь огромной синей тенью
Над полями пролетает.
И какое сновиденье
На твоих ресницах тает?

Выгнул месяц спину гибко,
Он – на счастье нам подкова.
На губах твоих – улыбка...
Что за ночи в Хорошово!



Дмитрий МИЗГУЛИН, Санкт-Петербург



* * *

Дождём и снегом небо плачет,
Привычной жизни суета.
Воспринимаешь всё иначе
Во дни великого поста.

Твой путь сомненьями завьюжен,
Идёшь, преодоляя тьму,
И уже никто тебе, никто не нужен,
И ты не нужен никому.

Тебе на целом белом свете
Уже не надо ничего.
И только звёзды.
Только ветер
В пустыне сердца твоего.

* * *

Разверзлись и хляби, и воды.
Мир тонет во мраке и мгле.
Ужаснее этой погоды
Наверное нет на земле.

Куда только не затекает
И где только не намело...
В такую погоду спасает
Любви позабытой тепло.

Но утром холодным и ранним
Луч солнца не тронет окно,
Уж если и ждёт расставанье,
Без муки минует оно.

И путь затуманится млечный,
Померкнет надежды звезда,



Уже живёшь разлукой,
Предчувствием тоски.

Приемлешь неизбежность –
Сиреневую даль,
Неистовую нежность,
Небесную печаль.

И ветра дуновенье,
И осени разбег,
И позднее прозрение,
И ранний первый снег.

Легка моя утрата
Уйду, не пряча взгляд.
И ты не виновата.
И я не виноват.

Владимир МИКУШЕВИЧ, Москва



ЛОРЕЛЕЯ

Похожие на конвоиров,
Деревья стояли вдали.
Траншею в сугробищах вырыв,
Там пленные немцы прошли.

И мы на большой перемене
Увидели через забор,
Как топчут сутулые тени
Строительный щебень и сор.

Смотрели мы, глаз не спуская,
С ненаших в сожжённом саду.
Так праведник смотрит из рая
На грешные души в аду.

Осколками вспахано поле.
Рассвет к маскировке привык.

Зачем же мы всё-таки в школе
Проходим немецкий язык?

И звонкий мой голос трепещет
Среди подмосковных руин:
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten*,
Daß ich so traurig bin.

И сразу же вместо ответа
Поверх долговязых лопат
Оттуда со скоростью света
Один – человеческий – взгляд.

Нездешней причастные силе,
Вернулись мы в школу бегом,
Не зная, что мы победили
В сражении первом своём.

1969

ВЛАДИМИРСКИЕ СЕЛЕНЬЯ

Пречистино, Брыкины горы,
Курганиха – вот имена
Селений, хранящих просторы,
Где вечно Россия видна.

То знойный, то вьюжно-морозный
Край хвои, питомник листвы;
Иван по прозвищу Грозный
Уехал сюда из Москвы.

Хлеб-соль в ожидании блюда,
Которое спрятано встарь,
Пока не вернётся отсюда
В столицу к себе государь.

13.08.2017

АПОСТОЛЫ В СМЯТЕНЬЕ

Уроженцы средиземной дали,
Воздухом дышавшие морским,
Эллины апостолам сказали:
«Видеть Иисуса мы хотим».

И на Тайной Вечере тревога,
И Филипп спросил в последний час:
«Сыне Божий! Покажи нам Бога,
Покажи Отца, и хватит с нас!»

* «Не знаю, что бы это значило, почему я так печален». Строки из стихотворения Генриха Гейне, печатавшегося при нацизме, как народная песня, когда творчество Генриха Гейне было под запретом.

Только что пасхальный стих пропели,
И, вмешавшись в замолчавший хор,
Иисус ответил: «Неужели
Ты Меня не видел до сих пор?»

Истина воистину в ответе
И в чертах знакомого лица:
«Видишь ты Меня на этом свете,
Значит, видишь Моего Отца».

Вечно перед Богом тварь земная
Истиной застигнута врасплох,
Видишь Бога, сам того не зная,
Несомненно видишь, видит Бог!
12.04.2017

ДУША ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

Мне кажется, я умираю,
Всю жизнь проведя наугад;
Тянусь к заповедному раю
И вижу заманчивый ад,

Где множатся лживые мифы,
Дурному подобные сну,
А рифмы всего только рифы,
Грозящие горе-челну.

Но прежде чем с жизнью проститься,
И в мареве меркнувших глаз
Попробуй не перекреститься,
Как слышал от старших не раз.

И всё, чем напрасно терзалась
Душа по дороге домой,
Всё то, что всего лишь казалось,
Окажется светом и тьмой.

У смерти мы все на примете,
Но гибельный минет черёд:
На том непредвиденном свете
Царица Небесная ждёт.
18.10.2017

НАСТОЯЩИЙ НОВЫЙ ГОД

Ветшает сразу же обнова,
Безвыходный открыв нам вход,
Когда до Рождества Христова
Ненастоящий Новый год.

И в полночь сонные тетери
Дрожат от праздничных угроз;

Поспешно открывают двери,
А на пороге дед Мороз.

Был только что такой же хаос
В столпотворении чужом,
И на оленях Санта Клаус
Мерещился за рубежом.

Но никакой международник
Не объяснил среди пропаж:
Да это Николай Угодник,
Святитель, слава Богу, наш!

В миру по тропам заповедным,
Незримым следуя лучам,
Приданое невестам бедным
Святой приносит по ночам.

И вот уже не за горами,
Но за пределами молвы
С благоуханными дарами
Угадываются волхвы.

Когда Васильев вечер ярок,
А на Крещение много звёзд,
Родится больше белых ярков,
Чем в мае будет птичьих гнёзд.

Когда сугробы словно грядки,
Немыслим в поле недород;
За Рождеством приходят святки
И настоящий Новый год.
6.12.2016





Лада МИЛЛЕР, Монреаль, Канада



НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ ЛЮБВИ

Полно, милая, не реви.
 На другой стороне любви
 Розы жалят и нежат осы.
 Сад нездешний – что лист, что куст
 Источают не грусть, но груз,
 Не покой, но любимый голос.

Так случилось. Теперь пора.
 Из-под нежного топора –
 Брызги, дребезги, звезды, щепки.
 Счастья щепоть, глоток вина.
 Между нами стена, стена –
 Ток несильный. Замок некрепкий.

Несмертельно, небезопас...
 За тобою мне – глаз да глаз.
 Там – за глазом – темно и пусто.
 Мы с тобою едва видны.
 На другой стороне луны
 Отпечаток моей вины
 И твоё неземное чувство.

НЕ РОБЕЙ

Опять осеннее бессилье –
 Дождь со слезами пополам.
 Деревья складывают крылья
 И прижимаются к домам.

Река туманами болеет
 Немеет звонкая вода,
 А я люблю тебя сильнее
 И беззаветней чем всегда.

Пусть небо ниже, ближе, строже,
 Но ты мой ангел, не робей,
 Пока на ветке врёт безбожно
 Неперелётный воробей.

ТРОГАТЕЛЬНОЕ

Пусть холодно. Возьми меня и грей.
 Я буду расцветать и удивляться,
 Что вдруг зима становится добрей,
 Хотя на ощупь добрых минус двадцать.
 Мне зимний вечер горек и свинцов,
 Но есть внутри мелодия простая:
 Снег осторожно трогает лицо
 И шепчет, и смешит, и обладает.
 Так и стоим, обнявшись на ветру,
 Забыв про хмурый быт и чувство долга.
 И кажется, что я вот-вот умру,
 Но лишь от счастья. Тихо. Ненадолго.

НА ЗАКАТЕ

Вроде плакать о прожитом рано...
 Слишком остро осенней порой
 Пахнет яблоком, мёдом, шафраном,
 Увяданием и красотой.

Этой прелестью обезоружен,
 Ты глядишь в обессиленный сад.
 Сердце бьётся спокойнее, глуше
 И вливается в хрупкую душу
 Обжигающий листья закат.

Размышляя о жизни и смерти,
 Вздригнешь: значит, бессмертия нет?
 Бог услышит, правдиво ответит,
 Улыбнётся и выключит свет.

Станислав МИНАКОВ, Белгород



* * *

Мама стала махонькая, как котик.
Мама стала тихонькая, как мышка.
Мама еле-еле по дому ходит.
Гречку перебирая, лапкой гребёт, как мишка.

Мамины дни теперь ни пестры, ни пёстры –
мелкой моторикой их не унять, итожа.
Старощь и немощь – тоже родные сёстры,
так бы поэт сказал, если б только дожил.

Мама крючком салфетки плетёт, платочки,
превозмогая тернии Паркинсона.
Если идти, то надо идти до точки –
где золоты цветы на кайме виссона.

* * *

Бегство (читай – изгнание) – та же смерть,
в нём душа устремляется в духоту,
впредь не в силах выситься, быть и сметь,
покидая вещное на лету.

И, попав в непонятное, как шпана
озираешься, странный: некуда дальше бечь,
потому что повсюду – одна хана,
и лишь изгнанный может про то просечь.

Вроде б – ходишь и выглядишь так, как все,
но не ловишь больше наземный кайф,
а родимых, отрезанных в чортовой полосе,
слышишь сердцем, издали, даже не тронув Skype.

ВОЛЧИЦА

М. Кудимовой

Когда пространство ополчится
и горечь претворится в ночь,
грядет тамбовская волчица –
одна – товарищу помочь.

И на рассерженны просторы,
где дух возмездья не зачах,
но искорёженны которы,
глядит с решимостью в очах.

Гнетёт серебряные брови
и дыбит огненную шерсть,
и слово, полное любви,
в ней пробуждается как весть.

«Почто, безпечный мой товарищ,
ты был расслаблен, вял и снул!
Покуда тварь не отоваришь,
не размыкай железных скул!

Сжимай – до вражьего издоха –
любви победные клыки!»
Кровава хворая эпоха,
но лапы верные – легки.

ТАПОЧКИ СЕРАФИМА

Песенка

Протоиерею Николаю Германскому

Серафим по фамилии Тяпочкин
был обычный на вид серафим.
Хоть носил он обычные тапочки,
свет нездешний струился над ним.

Проживал он в посёлке Ракитное,
возле яблоньки, в малом дому,
и невидное небо блакитное
было видно ему одному.

Приближались дали бездонные
от доселе неведанных слов,
и слетались мы, птахи бездомные,
на прокорм – к Серафиму под кров.

Кто старался у домика этого,
тот такую калитку открыл! –
в обиталище света всепетого,
в помаванье немислимых крыл.

Не ослабились узы нисколечко
на просторе пустом и потом,
когда лёг возле храма Никольского
Серафим под дубовым крестом.

В огородиках тяпают тяпочки,
я за тяпочку тоже берусь...
И хранит серафимовы тапочки
слободская засечная Русь.

* * *

Н. Дроздовой

Богородцева синька женская небеса проясняет
и сияет Преображенская бирюзой на углу Попова.
Коли дадено нам задание во спасение, не для
назначаю тебе свидание у гробницы Иоасафа;

что влечёт в гравитационную, но ведущую ввысь
воронку –
под команду дистанционную испечённому
жаворонку.

Благодать проберёт «до рёбрышков», в маловерии
словно мальчик Христос воробышков оживляет
окаменевших.

Возрождаются в нас тождественность упования,
жертвы, слова,
торжество торжеств и торжественность
Православия золотова.

* * *

О. И.

Свечка – тоненький цветочек, свечка –
света надобный глоточек, окормительный денёк,
странный огонёк,

рвущий тьму непрободную, эту тягостную жуть,
эту родину родную, помрачённую не чуть,

эту сладкую заразу, этот морок, этот гной,
этот ад, нависший сразу над тобой и надо мной.

А всего-то колыханье – золотое, как слюда.
Однократное дыханье, но посланье – навсегда.

И сияет как ребёнок благодарный имярек...
Свечка – стойкий стебелёнок, свечка –
верный человек.

* * *

Дышит ветер неспешный заветный,
овевая невидимый сад.
Ходит тихо Господь безответный
посреди обезумевших стад.

Никакого им сада не надо
и не надо для сада рассад,
потому что рассада для ада
им отрадней, как собственно ад.

Потому что не кущи, а рощи
разрастаются в тёплой крови.
Потому что бездумней и проще,
и привычнее жить без любви.

Евгений МИНИН, Иерусалим



В ЭТОМ ДОМЕ БЫЛО ГЕСТАПО

Он ненавидел немцев – в нём ещё длилась Блокада.
Он помнил о трупах на улицах, о взрывах,
о хлебной квоте.

Потом мишпоха поднялась – дети сказали: «Надо»
И вот он стоит на штрассе и смотрит на дом
напротив.

В этом доме было гестапо.

В ЭТОМ ДОМЕ БЫЛО ГЕСТАПО.

В этом доме жгли и пытали, в этом доме творился ад.
А дома вздыхает дочь: Зачем так нервничать, папа?
Даёт валидол под язык и чешет свой пышный зад.
Но каждое утро вставая и надевая шляпу,
Идёт на прогулку по штадту и ноги ведут опять

К дому, где было гестапо,
к дому, где было гестапо.
И ночью снова Блокада ему не позволит спать.

БУДУЩЕЕ

Будущее могу предсказать, но с трудом,
блуждая среди душевных смут.
Например, мой огромный дом
через год или пять, всё равно снесут.

И от нынешних уличных саженцев тень
тротуары укроет в невиданный зной.
И Мессия придёт в неожиданный день
и тогда прогуляетесь вместе со мной.

* * *

Стезя, тропа, дорога, полоса
для взлёта – что за глупые слова,
всё в жизни – кавардак-неразбериха,
когда и сам не спишь и будишь лихо,
когда и подорожник – трин-трава,
когда характер – львица и лиса,
толпа кругом – темна и многолика.

Гранит науки с юности грызя,
освоится искусство круть и верть,
стирая зубы в море ширпотреба,
где вслед помашет ветренная Геба
рожденью, превращаемому в смерть...
А то, что называемо стезя, –
тропинка муравьиная на небо...

БОМЖ

Оглянувшись, он сорвал гранат,
что висел бесхозно над забором,
и, себя не ощущая вором,
нёс в ладони вкусный экспонат.
На скамью присев, вгрызлся в плод,
изредка закусывая хлебом,
смазанным, как маргарином, небом,
и глотая сладкий кислород.

* * *

Жизни течение не продлеваю,
в рюмку пустую вино подливаю...
Жизнь, что была и добра, и подла,
шанс для рождения мне подала.

В каждой прелюдии прячется кода,
всё в ней зависит всегда от аккорда,
только и песенный диапазон
важен – какой ни был век и сезон...
Синие ночи, взвейтесь кострами –
вихри враждебные веют над нами...

* * *

Проходит год, сжимаясь, как шагреня,
сжимая в ледяных ладонях день,
и солнце, словно муху отгоняя.
Но как туманы ни были густы
горит костёр в тумане – это ты,
и грею жизнь у этого огня.

Сквозь щели в окнах злобною осой
бушующего ветра слышен вой,
и стук дождя по пластиковой крыше.
Смотри, как догорают две свечи
субботних, и шепча пробормочи
молитву от себя тому, кто Выше...

* * *

Врастаешь в эту землю сразу,
подобно северной сосне,
лозой, подобно скалолазу
ползущей плавно по стене.
Такое происходит вечно,
с тех пор, когда не знали слов,
здесь кипарис – зелёной свечкой
над многоцветием лесов.

* * *

Замерло всё накануне шабата,
свечка застыла стройнее солдата,
солнце укутал небесный талит,
и в синагогу ребе спешит.
Вечер приходит в субботней ермолке,
а безработный будильник на полке –
ходит неточно уже от ленцы –
вроде на пенсию вышли жильцы.

* * *

Позвонили сказали – весна и положили трубку
номер не записался, наверное, сбой на линии,
а за окном голубь френдит себе голубку,
и стоят обалдело вечно зелёные пинии



всё к тому, что надо менять обувь-одежду,
вновь мечтаю исполнить единственную затею:
чтобы милая девушка протянула ладошку
и коснулась плеча – может быть, помолодею...

Наталья МИШИНА, Брянск



О ДЕРЕВНЕ

Шелестят вековые деревья,
Наклонясь над заросшей рекой.
Вымирающей русской деревни
Слышен стон, тишина и покой.

Лишь заплатка цветущей картошки
Да встревоженный крик петуха
Вдруг напомнят на узенькой стёжке,
Что деревня живая, пока.

Там, где были поля и покосы,
Слышен вой осмелевших волчат,
Там теперь молодые берёзы
О России тоскливо молчат.

Вся в бурьяне тропа до погоста,
Почернели дома без людей...
Только аисты вьют свои гнёзда,
Но в деревню не носят детей.

ПОИСКИ ГЕРОЯ

*Посвящается моему дедушке-лётчику
Артюхову Михаилу Сергеевичу*

Молчат могилы и молчат архивы,
И в небе звёзды меркнут сгоряча.
Медали, ордена для тех, кто живы,
А всем ушедшим память и свеча...

Но где же ты, наш дедушка и дядя?
Куда летел? Чей выполнял приказ?
Быть может, ты с небес устало глядя,
Волнуешься и молишься за нас?

Где смертью неминуемой дышали
Извечным льдом покрытые хребты,
Там сталинские соколы летали,
Возможно, среди первых был и ты.

Быть может, в наступающей пехоте
Ты оказался среди убитых тел?
Но нет... В своём последнем самолёте
К Победе и бессмертью ты летел.

И там уже невидимы границы...
Полёты в вечность выше всех путей.
Настанет день – придём мы поклониться
К могиле неоплаканной твоей...

ПОСЛЕДНЕЕ SMS

Домой от остановки путь короткий.
Такси умчалось – запорошен след.
А я иду замедленной походкой
И набираю SMS в ответ:

«Пойми... Прости... Я не твоя невеста.
И большего – не надо, не проси...
Кто любит – провожает до подъезда,
А кто не любит – только до такси».

Пусть рассыпает вечер по дорогам
Пушистый снег, не знающий тревог.
Хотелось рассказать тебе о многом,
Но всё вместилось в эти восемь строк.

И загорелась надпись на дисплее:
«Доставлено». Ну вот, он всё поймёт.
А здесь, у дома кажется теплее
И как-то снег красивее метёт.

Сергей МНАЦКАНЯН, Москва



ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ
(Алексей САВРАСОВ)

Когда наконец отшумели метели,
очнулся с похмелья художник Саврасов:
– Грачи прилетели, грачи прилетели,
пора выколачивать блох из матрасов!..

О, бедный пейзаж Среднерусской равнины,
сквозят на ветру обнажённые ветки,
а души печальны, а души ревнивы
к тому, что бывает стремительно редко...

О, нищая роскошь весеннего взгляда:
грачи прилетели, а что ещё надо! –
лишь только б грачи прилетали на ощупь
в пустыню весенней берёзовой рощи...

Грачи прилетели, и сердце на деле
от счастья щемит до скончания недели!
И милый пейзаж вдруг становится вечным,
прекрасным, родным и до боли сердечным.

* * *

Мы попали в метель мировых потрясений,
хоть и выжили всем предсказаньям назло...
Где гордец Мандельштам?
Где похмельный Есенин?
Прахом эти места навсегда замело.

Тени гениев спят в евразийской пустыне,
гастарбайтер прекрасных стихов не прочтёт,
человек измелчал, и страна опустилась...
Где ты нынче, великий советский народ?

ПРОРОЧЕСКОЕ

Пошла седина – в бороду, а бес – в ребро,
оказывается, поэты до пенсии доживают,
и в этом виной, наверное, словесное серебро,
за которое почему-то сегодня не убивают...
В бессонной душе поэта проходит за веком век,
несутся на меткий выстрел матёрые бандюганы:
Россия, как мясорубка, работает без помех –
всё перемелят начисто телевизорные экраны.
Поэт всегда одиночка, поэтому обречён
на жизненное забвенье, на мизер посмертной славы,
особенно

если пророчествует,
и вдруг за его плечом
дрожа, как мираж в пустыне, разваливаются
державы!

* * *

Как сказал бы нам Эрих Мария Ремарк, –
чтоб протыриться в самую сущность вопроса
посреди президентов и прочих ломак,
надо выпить гранёный стакан «кальвадóса»...
Ибо истина выше деревьев и крыш
и страшнее стремительной скорости звука,
даже если окрест захоластный Париж
и тебя, как кусок, заедает житуха...
От Китайской стены до прошедшей войны,
как пока ещё чудится в некоем астрале,
веет полураспад бесподобной страны,
от которой одни очертанья остались...
Мы озябли в сетях старорусской зимы,
ну а если взглянуть беспристрастно и мудро,
как нам быть с этой участью, взятой взаймы?
ведь она – боже правый! – такая лахудра.

* * *

Памяти Саши Ткаченко

Мой друг, в золотом Симферополе
мы пили портвейн до утра,
мы юность на рифмы ухлопали
в надежде любви и добра...

Гуляли высокие градусы
в твоей катастрофной крови,
а выпало минимум радости
и мало добра и любви...

А где-то великая «Таврия»
и классно положенный гол,



чтоб выла братва легендарная:
«Брависсимо, Саша! Футболь!..»

Из прошлого тянутся синие
в похмельном рассветном дыму
гирлянды прекрасной глицинии
в твоём – наконец-то! – Крыму...

* * *

Во всемирной разлуке,
в европейской ночи
твои тонкие руки
так во снах горячи...
Только милую душу
я впотьмах упустил,
и проспал, и прослушал
шелест ангельских крыл.
Это скоро угаснет –
я и так проживу,
сновиденья ужасней,
чем тоска наяву...
Этот мир беспросветный
как огромный пустырь,
этот свет безответный
шепчет сердцу: – Остынь...
Но беглец и любовник,
продираюсь хрипя
сквозь туман и терновник,
чтоб коснуться тебя.
Это пахнет наивом,
только не утаить:
под ногой – над обрывом –
обрывается нить...

90-е. НАЧАЛО

Без бога в душе, без царя в голове
Россия летит в океане лавэ –
хрустит мировая валюта...
Куда ты попал, на «Титаник» какой,
а впрочем, махни на всё это рукой,
подумаешь – морок и смута.

Чиновные свечи в ладонях горят,
как будто открылся бы временный ад
в старинной Елоховской церкви,
стоят партократы, не веря в Христа,
но пуза и плечи истошно крестя,
и в чёрных костюмах, как черти...

Вот так промелькнули они по ТэВэ,
вот так-то прошлись колесом по тебе,

твои девяностые годы,
метут сквозняки, только тень на лице,
вот так-то навек обмишурились все,
кто жаждал любви и свободы.

Песка не хватает в песочных часах,
отечество спит – и в его небесах
уже не хватает озона,
под сенью знамён и газетных икон
в России отныне единый закон –
кирзовый закон Черкизона...

Михаил МОЛЧАНОВ, Москва



ЗАЯЦ

*«Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души...»
А. С. Пушкин*

Во власти суеверий и примет
Он жил – поэт, задира и повеса.
И подарил ещё десяток лет
Ему тот заяц, выскочив из леса.

Меж зайцем и судьбой какая связь?
Но кони встали, словно перед бездной,
Когда седок чудной, перекрестясь,
Воскликнул: «Поворачивай, любезный!»

Визжат полозья, по снегу скользя,
То подлетят, а то утонут в яме.
Раз ты в опале, стало быть, нельзя
Воспользоваться торными путями.

До Петербурга дня за два, вполне
Возможно, и добрался бы лесными.
А там – его друзья. Быть в стороне
Не смог бы он – и был бы рядом с ними.

А там – «цареубийственный кинжал»,
 Что их привёл к известному итогу!
 Но – слава Богу – что перебежал
 Тот славный заяц Пушкину дорогу!

ВЕСЁЛАЯ ОСЕНЬ

Лежу на травке. Ничего не делаю.
 Хоть отдых не предписан мне врачом,
 какое счастье – под берёзкой белою
 разлечься и не думать ни о чём!

Разлечься под листвою её каляною
 и разглядеть, как осень хороша,
 как облака плывут и над поляною,
 и надо мной куда-то, не спеша.

Не полежишь так осенью угрюмою.
 Лежу себе, валяя дурака,
 и думаю, что ни о чём не думаю,
 смотря на кучевые облака.

АЛКАШИ

Состоит из разных выкрутасов
 жизнь его: то свет она, то мрак.
 Алексей Кондратьевич Саврасов –
 скажем так – был выпить не дурак.
 Вот он – весь – в моих словесных перлах.
 Вот и холст, пригодный для письма.
 Всё-таки художник он, во-первых;
 во-вторых, талантливый весьма;
 в-третьих, не один такой в России
 он, кому стакан – любезный друг.
 Многих те стаканы подкосили.
 Страшен он – российский наш недуг.
 В зимние запойные недели
 всё проشياпишь, лёжа на печи.
 А грачи – гляди-ка – прилетели!
 Разгалделись – гляньте-ка – грачи!
 Для потребности жаждущей утробы
 способы любые хороши:
 сделай пару-тройку копий, чтобы
 заработать на пропой души.
 Всяк – поэт, художник и философ –
 для кого на дне стакана рай,
 на больничной койке для отбросов
 общества тихонько помирай.
 Их, во-первых, во-вторых и в-третьих,
 трезвый разум гнать велит взашей...
 Только – что б мы делали без этих
 гениальных русских алкашей!

БАЛЛАДА О СТЕКЛЯННОМ БУКЕТЕ

Коль ты мастер, или метод, или свой секрет имей.
 Был известен мастер этот как Васильев Разумей.
 Напишу я, как умею, как настали холода,
 как нежданно к Разумею заявила в дом беда:
 губоньки красней коралла, лоб у лапоньки горяч.
 Дочка Ксюша захворала. Да какой в то время врач!
 За окном гудят метели, и мороз весьма сердит.
 Разумей наш у постели бедной доченьки сидит.
 Шепчут губки милой дочки: «Я на солнечном лугу
 вижу яркие цветочки, но сорвать их не могу.
 Это луг июльский, это – я среди цветов иду».
 На дворе – зима, но лето видит, бедная, в бреду:
 «Как же я по ним тоскую: средь цветов я –

как в раю».

И пошёл он в мастерскую стеклодувную свою.

И, как Финист-ясный сокол, в кровь ладони

разодрав,

там собрал осколки стёкол – те, что шли

на переплав.

Ох, как тяжко! Ох, как худо! По щеке слеза текла,
 но душа творила чудо из обычного стекла:
 зазвенели птичьи трели, ветерок подул с реки,
 колокольчики синели, веселились васильки.

И ход времени нарушен, и все беды – вдалеке!

И Хранитель-Ангел Ксюшин помогал его руке.

Он творил Святое дело: «Хоть на улице мороз,
 дочка, вот – что ты хотела. Я тебе цветы принёс».

Вот любви отцовской сила, что надёжнее врача!

Злилась хворь, но отступила, что-то злобное

ворча...

Ксюша выросла и внука Разумею родила...

Объясни-ка нам, наука, эти дивные дела.



ЮБИЛЕЙ

Геннадий КРАСНИКОВ

БЫТЬ ПОЭТЕССОЙ В РОССИИ

В 2017 году Юнна Мориц отметила 80-летний юбилей. Её голос, её «глаголы женского рода» – самые слышимые сегодня во всей России, в читающем западном мире... В каком-то смысле она возрождает Россию читающую, ибо читатели ищут её стихи, ждут их, как ждали люди в своё время фронтовые сводки с полей сражений, ждут тем более во времена, предсказанные Аполлоном Майковым, когда: «Бой повсюду пойдёт, по земле, по морям, И в невидимой области духа»...

По всем идеологическим эпохам – от советской до либерально-демократической – Юнна Мориц проходит как «не наш поэт», поэт из «чёрных списков», что можно считать высшей наградой, отмеченностью счастливым знаком быть свободным человеком в несвободном мире. Свободность свободного человека пугает несвободных людей, она кажется им непростительно дерзкой, не от мира сего. Но золотое перо в руках Юнны Мориц, дарованное ей Богом, невозможно и недостойно променять ни на какие тусовочные похлопывания по плечу за отказ от собственного «я», от Судьбы истинного поэта, а потому –

И в чёрных списках было мне светло,
И многолюдно в одиночестве глубоком.

Стихи Юнны Мориц – слишком крепкий напиток, эссенция, которая обжигает, сдирает заскорузлую кожу с сердца, чтобы осталась только одинокая вечная душа, хранительница мировой гармонии и красоты, и голая совесть, которая, по утверждению Бердяева, есть «место встречи человека с Богом»... Для Юнны Мориц нет эстетики вне этики, вне милосердия и сострадания, вне красоты, спасающей мир и красоту. Оттого она, «лирик в чистом виде», бесстрашно встаёт рядом с растерзанной Сербией, создавая поэму «Звезда сербости»: «И сербости я надеваю звезду, Чтоб сербов не бросить в аду холокоста», переходя порою на брутальный язык, объясняя американским «демократизаторам» и лично мадам Олбрайт их звероподобную фашистскую сущность...

Оттого она встаёт рядом с Виктором Бутом, заложником подлых заокеанских носителей добра и света. Она встаёт рядом с народом-победителем в

Великой Отечественной, рядом с маршалом Жуковым, со Сталиным (не будучи сталинисткой), с жителями Донбасса, со всеми оклеветанными, оболганными, униженными и оскорблёнными, кому исторические мародёры и профессиональные русофобы западного и местного разлива объявили смертельную войну:

Я – странный человек, мне – сотни тысяч лет,
Где Вечное Теперь и вечные повторы.
Люблю свою страну, и мрак её, и свет.
Особенно люблю – под лай фашистской своры!

Ей этого, конечно же, не прощают. Как Сноуден или Ассанж, Юнна Мориц опасна, ведь Поэзия путём зерна, неисповедимыми путями Слова, как в Откровении от Иоанна, прикасается к последним тайнам мира и, вынося эти тайны на свет, называет вещи своими именами.

Поскольку Юнна Мориц пишет опасно об опасном – писать о ней сегодня так же опасно. А то какой-нибудь вездесущий Быков накает свой убогий донос в вечность. Ведь Юнна Мориц и её молодое, дерзкое, страстное творчество – как стихи Пушкина, Есенина и Маяковского, Ахматовой и Цветаевой, Тициана Табидзе – принадлежат вечно, той чистой и нетронутой, прохладное сияние которой отражается в её лирике:

Всё изменится, ландыш останется прежним,
Всё изменится, прежним останется свет
В колокольчике с запахом, острым и нежным,
Белоснежным, как тайна, где мерзости нет!

Юнна Мориц умна, остроумна, музыкальна, милосердна и беспощадна. Слава Богу, в ней нет олимпийского спокойствия восьмидесятилетнего Гёте. Написав более сорока лет назад эссе «Быть поэтессой в России», сегодня она называет себя поэткой, которой читатели платят самой дорогой и живой валютой – люблями... Ни в одном обменнике нет такого высокого курса, как у этой валюты – курса Любви и Поэзии.

Юнна МОРИЦ, Москва



ЗАПАХ ЛАНДЫША

Всё изменится, ландыш останется прежним,
Всё изменится, прежним останется свет
В колокольчике с запахом, острым и нежным,
Белоснежным, как тайна, где мерзости нет!

Всё изменится, прежним останется вечное –
Стебель тонкий, где звонкий бубенчик весны,
Это – ландыш, конвалия, средство сердечное,
Неотложка природы, язык новизны.

Всё изменится, прежним останется почерк
Этой почвы, её ослепительный след,
Где из вечного мрака – сердечный цветочек,
Колокольчики строчек, струящие свет,

Это – ландыш, конвалия, средство от боли,
Неотложка – сквозь землю, где мрака среда, –
Колокольчики ландыша знают пароли,
Без которых не выйти на свет никогда.

Всё изменится, прежним останется запах,
Незабвенный, как тайна, где мерзостей нет, –
Запах ландыша!.. На четвереньках, на лапах,
Всем чутьём, как собака, бери этот след!

Всё изменится – деньги, правительство, мебель,
Модным запахом избранных станет порок.
Запах ландыша прежним останется, стебель,
Выносящий на свет колокольчики строк.

ПАСЕКА ЖИЗНИ

Ночь прилетает пчёлками звёзд,
Мёдом небесным полна глубина,
Мёдом луны золотится волна,
Мёдом волны отражается мост,

Мёд фонарей в стеклоте пузырей, –
Пасека жизни мёдом полна,
Мёд отражений, свет из окна
В нём отражается!.. Это – она,
Пасека жизни, створчатый воск
С творческих створок, скороговорок
С мёдом небесным – сквозь мрак или морок,
С мёдом луны, что задаром, за так
Пасечник Бог раздаёт человекам,
Жизни волокнам, окнам и рекам,
С творческих створок – сквозь морок и мрак!

МЫ СО СМЕРТЬЮ НЕ ИГРАЕМ

«Щэ нэ вмэрла Украина», «Ещё Польшка не сгинела»,
Но Россия петь не будет «Я ещё не умерла!»
Эта разница – такого необъятного размера,
Как небесная улыбка лучезарного тепла!

Эта разница бездонна, эта разница интимна,
Тайна гимна так взаимна, что влияет на судьбу, –
У России быть не может никогда такого гимна
«Не дала ещё я дуба», «Не лежу ещё в гробу».

Русофобов это свойство пробирает вечным страхом,
Русофобы чувят нечто, не вместиемое в слова...
Но Россия петь не будет «Я ещё не стала прахом», –
Потому что смерть не любит панибратства,
хвастовства.

«Щэ нэ вмэрла Украина», «Ещё Польшка не сгинела», –
Смерть ещё не наступила, вот какие, брат, дела!
Но Россия петь не будет «Я ещё не околела»,
У неё не будет гимна «Я ещё не умерла».

Эта разница священна, и вселенная красива,
Мы со смертью не играем и не дразним –
кто сильней?
«Щэ нэ вмэрла, не сгинела» – так не будет петь Россия,
Эта разница огромна, остальное – только в ней!

Наблюдается такая гимнов общая картина –
«Ещё польска не сгинела», «Щэ нэ вмэрла Украина».
В эту общую картину «Я ещё не умерла» –
Слава Богу не вписали нас Поэзии крыла!

СТРАНА МОЕЙ ЛЮБВИ

Я – странный человек, люблю свою страну,
Особенно люблю в трагическое время,
Когда со всех сторон хулят её одну
И травят клеветой – в эпохоти гареме.



Эпохоть такова, что подлое враньё
Имеет все права над нами издеваться,
Бросать в костёр дрова, но я не сдам её –
Страну моей любви!.. И ей не дам сдаваться!

Я – странный человек, в любые времена
Люблю свою страну, и это – внутривенно,
И не взирая на... когда моя страна
Меня за невраньё не любит откровенно!

Эпохоть такова, что подлое враньё
Имеет все права над нами издеваться,
Но чудом я жива, и я не сдам её –
Страну моей любви!.. И ей не дам сдаваться!

Я – странный человек, мне – сотни тысяч лет,
Где Вечное Теперь и вечные повторы.
Люблю свою страну, и мрак её, и свет.
Особенно люблю – под лай фашистской своры!

В ПЛАЩЕ ЗОЛОТИСТЫХ ЛУЧЕЙ

Как только у Пушкина спросим,
За что нас в Европе клянут, –
Он будет минут через восемь,
Но там не бывает минут.

Появится он из просвета,
В плаще золотистых лучей, –
А там для такого поэта
Других не бывает плащей.

Он дышит прозрачной душою,
Глаза его – небом полны,
А небо – такое большое,
В нём солнце и звёзды видны.

Считая вопрос неизбежным,
Ответит он «Клеветникам
России» – пером белоснежным,
Чернилами – по облакам!

За что ненавидят нас, Автор,
В Европе и вечно грозят?
Об этом напишет он завтра,
Но завтра – два века назад!

* * *

Стреляя в окна школы, больницы и детсада,
Стреляя по Донбассу, от счастья не стони, –
Америка с Европой пришлют вам всё, что надо,
Но Божий дух Донбасса вам не пришлют они.

Америка с Европой, убийцам громче хлопай,
Убийцам аплодируй, убийцам заплати,
Открой убийцам двери Америки с Европой, –
Каратели мечтают о западном пути!

Однако, эти звери жестоки на востоке,
Где точно им не светит нигде зелёный свет, –
Пускай их любит запад – за то, что так жестоки,
Но через дверь Донбасса – хоть тресни! – хода нет!

Стреляя в окна школы, больницы и детсада,
Стреляя по Донбассу, от счастья не стони, –
Летальное оружие, оно – исчадьё ада,
Но Божий дух Донбасса – покруче той фигни!

Летальное оружие – ничто в сравненье с духом,
Протухшие убийцы, чей дух давно протух,
Стреляя в окна школы!.. Пускай вам будет пухом
Земля, где вас не хочет Донбасса Божий дух.

Геннадий МОРОЗОВ, Санкт-Петербург – Касимов



* * *

Андрею Шацкову

В осеннем небе гуси кружат,
Всё выше их прощальный круг...
Спешит губительная стужа –
И опалает всё вокруг.
Какие редкие минуты!
Как хорошо пожить в тиши,
Когда не нужен никому ты
В такой заброшенной глуши,
Где в дни дождливой непогоды
В полях щетинится жнивьё...
Дымясь, речные стынут воды,
С утра впадая в забытьё.

И в этот миг блажного счастья,
Мне чуждо чьё-либо участие
В моей судьбе, в глуши, вот тут,
Где дух мой давят и гнетут
Порывы позднего ненастья...
Но – нет отраднее – минут!

* * *

В сосновой горнице живу,
В ней сухо и тепло.
И отражает синеву
Оконное стекло.
В необозримой синеве
Толпа лиловых туч.
А в свежескошенной траве
Таится солнца луч.
Пусть тучи, шумный дождь влача,
Несут дневную мглу,
Но отсвет жёлтого луча
Играет на полу.
Что мне дневная эта мгла,
Души смятенной миг,
Когда из красного угла
Взирает Божий Лик?!
Пусть гром небесный глушит слух,
Как смертная пальба,
Но просветляет скорбный дух
Молитва и мольба.

МАЛАЯ РОДИНА

Холмы, овраги, лес да поле...
Как благодарен я судьбе
За то, что жил у тёти Поли
В её бревенчатой избе.
И было мне сквозь стены слышно,
Как свищет яростно пурга,
Как шелестят по нашей крыше
Сухие, жёсткие снега.
Синела наледь на окошках.
Клубился дым, летя в трубу...
В сенях зазябнувшая кошка
Просилась жалостно в избу.
Я открывал... Она вбегала,
За ней врывалась темнота...
Снежинка звёздная мерцала
На самом кончике хвоста.
За окнами темнели ёлки.
Белел сугробный буерак.
И завывали глухо волки
И в Трушкин прятались овраг.
Я к тёплой печке прижимался...

Мой детский страх сходил на нет,
Как только гасик зажигался,
В избе рассеивая свет.
И думалось мне вечерами,
Нет, не про волчью маету:
Как может крохотное пламя
Теснить такую темноту?!

Дмитрий МУРЗИН, Кемерово



* * *

Мы брали – ну и перебрали,
Затих наш умный разговор...
О чём играет на рояле
Непросыхающий тапёр?

Как у него выходит гладко,
Слащаво, всё да об одном...
Играет он о чём-то гадком,
О чём-то мерзком, неродном...

О чём-то гадком, чём-то мерзком,
Неторопливо, не спеша,
Так не по-русски, не по-детски,
Что аж кукожится душа.

Я морщусь, а сосед икает,
И нужно что-то предпринять...
Пока в тапёра не стреляют –
Он не научится играть.

* * *

Какое сильное звено,
Но – выпавшее из цепочки...
Уменье свыше нам дано –
Как пропадать поодиночке.



По одному нас ловит стая:
Поддых – ага, по морде – хрясь,
Как бы резвясь и играя,
Но не играя, не резвясь.

* * *

Тяжела атлетика Мономаха,
Асинхронно плаванье, квёл футбол
Проигравшего ожидает плаха
Победителю достаётся кол.

Выпьем за победу, да где же кружка,
И, по ходу, нечего наливать...
Коротка дистанция, как кольчужка,
А мы ещё не начали запрягать...

ФЕОДОСИЯ

Искупаться лишь раз, в самый первый день
(Айвазовского видел, у Грина был),
Сесть куда потише, забиться в тень,
И не вспоминать то, что позабыл.

Покупать на рынке вино, кизил,
Прямо в тапках ходить встречать поезда
И о том, что, что-то там позабыл,
Позабыть уже навсегда.

* * *

Жизнь началась, как положено, в три утра,
Сердце заныло (сердце – известный нытик),
Поиск таблетки, смысла, воды, добра...
Снова прилечь, затихнуть, выключить бра...
Жизнь – лженаука, мой неумелый гитик.

Каяться, маяться, перебирать слова,
Праздновать труса траченным валидолом...
Сдрейфив насчет «пройдут Азорские острова»,
После сорваться на торжество шутовства:
Выжечь больное сердце дурным глаголом.

* * *

*белый шум разговора
А. Жестов*

Если вспомнить – да сколько речей утекло:
Угрожали, сулили и брали на понт...

Телевизор погас, мозг промыт как стекло
Закрываешь глаза, как союзники – фронт.

Открываешь глаза – а союзников нет,
Не моргая глядишь... в крышку? нет, в потолок.
Если раньше с зарёю мерещился Фет,
Нынче точно в двенадцать является Блок.

И лежишь, как боец, потерявший отряд,
Потолок изучаешь, как будто матчасть.

Но когда все вокруг говорят, говорят –
Нужно что-нибудь делать. Хотя бы молчать.

* * *

Внезапно замолчали соловьи
Напившись неба, захлебнувшись высью...
– Иванушка, не пей из колеи,
Тойотой станешь, хондой, мицубисью!

Но выпало всем сёстрам по серьгам,
Алёнушку везла «калина лада»
По всем семи холмам, по всем кругам,
По всем развязкам дантовского МКАДа.

ЯНВАРСКИЙ СОНЕТ

Кончалось всё, особенно – январь
Морозноликий, перегаростойкий...
Но дворник наш, пропивший инвентарь,
Вдруг отгвоздил себя от барной стойки.

Его запой – ровесник перестройки
Закончился как майя календарь,
И осветил починенный фонарь
Наш двор, враз переставший быть помойкой.

Сосед не верит: всё мол, бесполезно,
Напьётся завтра хуже чем вчера...
А я взглянул в глаза ему с утра,
И, кроме шуток, – там такая бездна...

Бормочет дворник: «Русский – значит трезвый»
И добивает лёд в углу двора.

Миясат МУСЛИМОВА, Махачкала



* * *

Здесь хлеб с чабрецом не пекут и дым не горчит
 над селом,
 Убринские жёны кувшин к роднику не поднимут
 на плечи.
 В пахучие травы коровы не ткнутся шершавым
 теплом,
 И вечер не выйдет навстречу отарам овечьим
 Под говор реки и напевы родной лакской речи.
 Был ли кто здесь?..
 Постаревшая нежность, затаённая в камне,
 стынет в горсти,
 на губах запорошенной пылью последний
 горчит поцелуй.
 Примет ли высь запоздалое слово «прости»,
 когда скорбь переполнит молчанье святой Вацилу,
 чтоб отчаянье дней провести бороздой по лицу?..
 Будет ли кто?..

* * *

Подъём был так тяжёл, что звуки отступили,
 И воздух медлил быть... Присядь со мной, чужой.
 Подъём и спуск дыхание стеснили,
 Испытывая путь мой чередой.
 Ты не случайно здесь, паломник, тайный друг.
 Здесь нет красот, лишь высота стремленья.
 Смотри, как Солнца светлоликий круг
 Вверяет нам лучи благословенья.
 Молчи, молчи... Пусть горы говорят,
 Послушаем сердца тысячелетий.
 Они, как птицы, над землёй парят,
 Не мы за них – они за нас в ответе.

ГОРЫ ЛЕЧАТ

Торг объявят для царского входа в золотушный,
 нахрапистый рай,
 На асфальтовом ложе природы в сад химер
 превратился мой край.
 Бьются камни оград об ограды, спесь богатого
 сброда крепка,
 Жизнь течёт ритуальным обрядом, бессловесна,
 бесстрашна, пуστα.
 Там, за грядой дышит ветер степной,
 Поднимается в небо по кручам.
 Он теперь сам не свой, не шальной, не хмельной –
 Он горами к молчанью приучен.
 Выжимаются камни до трещин, загоняют леса
 под асфальт,
 Чёрный цвет выбирает женщин, алый цвет
 выбирает ребят.
 Роль скорбящего сына – свободна,
 торжествует отец на пирах,
 А земля, одинокая память, колыбели качает в горах.
 Там, за грядой веет ветер морской,
 Все стихии – паломники неба.
 Тишиной, тишиной
 Над поникшей землёй
 Горы лечат –
 И тех, кто там не был.

СМОТРИ

Смотри, в горах так умирают сёла:
 Сначала крыша рухнет, а потом –
 Войдут в дома лихие новосёлы –
 Ветра, дожди, и молнии, и гром.
 Как будто нет следа от давнего жилища,
 Но стены так стоят, как в горле ком...
 Не так ли ты, мой край, родное пепелище:
 Ртам барским, холуям, злодеям – пища,
 И голод тем, кто кормится трудом.
 Как странно: нет голов, но спину держит дом.

СМЕРЧ

Куда же я должна уносить
 то, что переполняет моё сердце?
 Оно сильнее меня,
 хотя ещё не обрело голоса
 и думает, что спит.
 Но в какие-то мгновения
 смерч чужой тоски
 вздымает мою душу
 к высоте неба
 и стражи горла



перехватывают его.
 Может, если бы смерч тайной силы
 смог обернуться вокруг земли,
 девочки с несозревшим сердцем
 не успели бы обернуться поясом смерти
 и мальчики с когда-то пухлыми щёчками,
 прикасаясь к холоду оружия,
 никогда не забывали бы руку матери,
 ведущей их к дому...

Ольга МЯЛОВА, п. Берды,
 Оренбургская обл.



* * *

Я плакала под покровом мрака,
 В скорбно распахнутом в ночь окне.
 Я плакала жалобно, как собака
 Бездомная воеет при полной луне.
 Я плакала так, что замолк весь город,
 Отражаясь в заполненных болью глазах.
 А слёзы мои мне текли за ворот,
 Сверкали на спутанных волосах.
 Я плакала,
 Нет, нет, я не просто
 грустила,
 скучала.
 Нет!
 Я плакала, как только может подросток
 плакать в четырнадцать лет.
 И та птица,
 сидящая слева,
 вроде,
 В тесной клетке,
 названной кем-то грудью,

Проснулась,
 забилась,
 моля о свободе,
 И крылья сломала о крепкие прутья...

ПЕСНЯ ВОЗДУШНОГО ШАРИКА

Словно непокорного коня
 С розовой, лохматой, длинной гривой,
 Держишь за верёвочку меня...
 Бьюсь в твоих руках нетерпеливо.
 Отпусти меня за облака
 В солнечную высь!
 Там всё возможно!
 Вот разжалась детская рука,
 Синие глаза глядят тревожно...
 Что с тобой, дружок, сестра моя?
 Ты уже таишь в груди обиду.
 Ты не бойся – не исчезну я!
 Просто не теряй меня из виду!
 Я вернусь!
 Ты просто подожди,
 Я лишь вдоволь в небе налетаюсь!
 Улыбнись, дружок, погляди,
 Как смешно лечу я, кувыркаюсь...
 А потом обратно поспешу,
 Я вернусь домой – к тебе и к маме,
 В руки опущусь и расскажу,
 Что я видел там, за облаками...

ДЕКАБРЬ

Погладь меня, горяшку, по волосам –
 в момент они станут седыми.
 Ладони твои и святые глаза –
 все в сизом, струящемся дыме.

Стоишь за спиною
 в предутренней мгле,
 откуда вернулся – бог ведает...
 Дыханье в затылок да тень на столе,
 и с ней я, как дура, беседую.

* * *

Я умру на твоём плече,
 Стиснув зубы от злой обиды...
 Спрячу боль под гранитные плиты,
 Пропаду в проулках ночей.

Зарастут мои рельсы травой,
Снег прикроет на зиму шрамы,
Весь мой путь сквозь жизнь – по кривой,
То в притоны, то в Божьи храмы.

Догоришь на чужой свече,
Поскребёшься в чужие двери...
Я умру на твоём плече,
Чтобы ты простил и поверил.

Роман НЕНАШЕВ, Самара



* * *

Корабль бороздит океанскую влагу,
Летит самолёт.
А мы всё сидим, и из дома ни шагу
В такой гололёд.

Весь день наблюдаем, как день убывает,
Следим из окна
За тем, как небесная рыба всплывает
В аквариум сна.

Живая вода и вода неживая
Смешались в одно.
И рыба скользит, плавником задевая
Стеклянное дно.

И так хорошо от морозного вздоха
И вида реки,
Что кажется, миг – и начнётся эпоха
С прекрасной строки.

Но чёрные буквы из надписи стёртой
Смешались, увы.
И был зашифрован параграф четвёртый
Девятой главы.

Нам снилось, что ключ от таинственных знаков
(открой и прочти)
С ключом от квартиры почти одинаков,
Подходит почти.

Спал город, дома опрокинув в чернила,
Дремали леса.
Урча, с подоконника кошка дразнила
Созвездие Пса.

Мы снились друг другу рисунком с натуры,
Пустые сады
Вмещали прозрачные наши скульптуры
Из твёрдой воды.

Во сне встрепенёшься: «С какой это стати,
Чего это для?»
Но снег одеялом лежит на кровати,
Забвение для.

Созвездие Льва и созвездие Овна
Горят на груди.
И двое во сне улыбаются, словно
Вся жизнь впереди.

* * *

Этой ночью, пожалуй, смиряешься с мыслью о том,
что Господь – это снег – бесконечное ровное поле.
И молчит человек, и сказать ему нечего, что ли,
онемевшим, зашитым суровыми нитками ртом.

А вокруг – красота, в чёрном воздухе белые реки,
взнет клён по больное колено в пушистом снегу.
Что, как автору, мне о молчащем сказать человеку,
если имя ему я никак подобрать не могу...

Был бы повод иной, так придумал бы сказку иную,
где с надеждой глядит человек в белоснежную тьму.
И Господь наклоняется сам к человеку вплотную.
И не видит его. И не любит его потому.

* * *

Всюду тайны, замочки с секретками,
Ноет память как свежий нарыв.
Постоишь у ларька с сигаретами,
И не выдержишь, пачку открыв.

Стукнет сорок – и вот она, истина,
В синем небе блестит как медаль,
Можешь дальше разглядывать пристально
Бесконечную светлую даль.



Можешь дальше с собой разговаривать,
Заварив крепкий чай со слоном.
Можешь и ничего не заваривать,
Чей-то опус открыв перед сном.

Кьеркегоры, Набоковы, Бродские –
Каждый с истиной близко знаком...
Да вдобавок фамилии броские,
Только ты всё дурак дураком

Прожигаешь пространство на глобусе,
Легкомысленно куришь, пока
Синеглазая смерть на автобусе
Догоняет тебя у ларька.

* * *

Ну что тебе сказать, весёлому невежде...
Нескучные сады по-прежнему скучны.
Подробно описать мешает, как и прежде,
увязший в голове осколок тишины.

Последний листопад последнего поэта
в седеющий висок целует невпопад,
и нарастает шум нестройного дуэта
оркестра духового и лопат.

Зачем опять про смерть, про чёрные ворота,
про медных трубачей, которые, трубя
Зачем она опять стоит вполоборота,
на платье белый бант смущённо теребя.

Давай уже про свет, про лодки с парусами,
про двадцать тысяч лье и бегство из тюрьмы,
про радостных людей, которые мы сами,
а после о других, которые не мы.

Усни уже, мой друг, под хруст столичной булки.
Всё сбудется во сне, о чём ни попроси.
Очнёшься поутру в холодном переулке –
ни веры, ни любви, ни денег на такси.

Да плюнь уже на всё и поезжай в Саратов
(с чего такое вдруг слетело с языка?),
где долгая река, тебя в ладони спрятав,
раскачивает замки из песка.

Галина НЕРПИНА, Москва



* * *

На утренний дым над водой леденящей,
на лес драгоценный за старым мостом,
на всех, в этот час по земле проходящих,
кого не слизал ещё век языком –
смотри...

И прелестная, в крыльях прозрачных,
висит стрекоза... И вот-вот за углом
откроется счастье, что вовсе не значит,
что кто-то одержит победу над злом.

* * *

А день начинался рано
В сверкающем том краю.
Границами урагана
Там мерили силу свою.

По морю ходили смело,
Хоть был к ним Нептун суров.
Не царское это дело –
Учитывать розу ветров!

Всё правильно было на свете.
И дождь, не щадя облаков,
Ловил в свои дружные сети
И лодки, и рыбаков.

Души не удержишь в теле,
В нём слишком много воды.
Но главное – что успели
Вернуться до темноты.

До самых краёв налиты
Стаканы в неровный час.
Ты помнишь слова молитвы?
Прочти её ещё раз.

ИЗОБРЕТЕНИЕ ПАРУСА

Он где-то долго и бесславно жил.
Покрылся пылью, что-то ел со всеми.
Почти что спятил, с птицами дружил.
Внутри него заканчивалось время.

Но человека всё ведёт к воде.
В ней, растворяясь, исчезает старость.
И вот однажды, вопреки судьбе,
он просто так изобретает парус.

Щенячье счастье ветра, корабля –
служить хозяину без страха и без слова...
Владыка паруса – прощай, земля! –
он сопределен всем стихиям новым.

На борт поднявшись, чтобы жить опять,
он капитан – теперь уже навеки.
Морская, без единой складки, гладь.
И сумасшедшая свобода в беге!

ВРЕМЕНА ГОДА

1

Луна стянула с плеч рубаху
посеребрённого шитья
из звёзд,
рассыпавшихся прахом
пристойного небытия.
Она шинкует черепицу,
всю ночь соскальзывая с крыш,
и светом обливает птицу
и след от неуклюжих лыж.
Кругла, смешлива, розовата,
стоит потом у входа в лес,
где снег, как сахарная вата
в стране невысказанных чудес...
И воздух смерти так высоко,
и непонятно почему,
ей там тепло и одиноко,
как в этом мире – никому.

2

Не поднимает солнце головы
и голубую кровь переливает
и тайный смысл
мерцает средь листвы
блестит её поверхность лицевая

И птицы как заправские вруны
высвистывают радостные звуки

кружат с восточной легкой стороны
невидимые солнечные мухи

Суровый сумрак палкою стучит
и страхом наполняет хор нестрогий
но быстрые горячие лучи
бегут навстречу сбившимся с дороги

* * *

Когда бы ты
случайно не попал
однажды в поле зрения зеркал,
их сумеречных знаков и приветов...
Лишённый страсти к этому предмету,
ты никогда бы, верно, не узнал –
как грандиозно выстроен финал
без всяких там сомнительных ответов.

Олеся НИКОЛАЕВА, Москва



* * *

Белый-белый кораблик по небу плывёт,
а о нём на земле нежный отрок поёт.
А его слышит некий прохожий
и уносит мелодию эту с собой,
и погонщик с волами и старой арбой
подбирает мотивчик похожий.

Насыщается музыкой лёгкая пыль,
Ткань земная словесной становится; быть
баснословнее, чем небылица.
А как только привидится смерть с узелком,
кто имеет полцарства – берёт целиком.
И уже ничего не боится.

**МУЗЫКА**

Это сценки детства: солнце воду пьёт, –
папа молодой, берега родные,
птичка под моим окошком гнёздышко для деток
вьёт...

Все картинки, все переводные.

Кто-то налепил их – ляп! – на сердце мне:
перевёл, потёр, снял лишнее, и в цвете
вся я в тех картиночках: в звёздах и луне.
Музыка застыла в золотой карете.

На весу в балете. Звук прилип к рожку.
Дверью в тёмный шкаф прикрыты злые вести.
А в лесу лисица своему божку
лестницу сплетает из волшбы и лести.

И когда средь мира яставляю зонд,
как подлодка, высмотреть, место ль – не гнилое? –
из картинок этих мне раскрывает зонд
небо с мутным зеркальцем: вечное былое.

Я хожу и вслушиваюсь, обращаюсь вспять
и почти заглядываю за ограду рая:
вдруг оттуда музыка нам начнет звучать,
словно струны, нас перебирая?

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

В публикации – авторская пунктуация:
полная инфляция запятых, точек, тире.
Азбука Морзе в ступоре, у капитана – прострация.
Навигация заводит корабль к чёрной дыре.

Пробует крикнуть, ан слиплись слова.
Внимательный
юнга разгадывает по губам: багров,
как варёный рак:
– Дайте ему вопросительный, дайте ему
восклицательный,
дайте ему хоть какой-то небесный – знак!

В трюме полно воды, гаснет иллюминация.
Мёрзнет луна, и скорость равна нулю.
Рация сдохла. Только жестикация –
отчаянная – встречному кораблю.

Тот упакован с иголочки: шарм, интонация,
пафос, ирония, артикуляция, раж:
– Будем ли, братцы, спасать его, будем ли
браться и
брать на буксир его или же на абордаж?

Или же – пусть его: сам себе, бацая, мацая,
все обесточил приборы, порвал провода
и уверяет, что это – такая новация:
верить в Ничто, зваться никто и плыть никуда.

ПРИМА

*«Ходила легенда, что «Приму» любит курить
английская королева»
Википедия*

«Королева курит «Приму», –
говорит сантехник Вася
и, затыгиваясь смачно,
забычалывает в миске.

У английской королевы
тоже есть свои пристрастия:
краснодарской «Примы» запах
будоражит крепче виски.

Крепче крепкого словечка
тянется дымок упорный.
Королева курит «Приму»
втихаря в своей уборной.

Ей мерещатся картины:
даль российская в тумане,
где суровые мужчины
с красной пачкою в кармане.

Сжат кулак. Расстёгнут ворот.
Под ногою звук хрустящий.
На груди у них наколот
голубой орёл парящий.

Самовластно – без указа, –
десять капель для сугреву,
как закурят «Приму» – сразу
вспоминают королеву.

И по ветру и по дыму
во дворец влетают вести...
И докуривает «Приму»,
королева с ними вместе...

Ведь важнее, чем богатство,
почести, чины и званья,
эта вольность, это братство,
эти тайные признанья!

ПЛАЧ ИОНЫ-ПРОРОКА

Даже Иона к врагам не хотел идти!
Даже пророк упирался и говорил:
– Господи, почти их хочешь спасти?
Пусть их накажет архангел Твой Михаил!

Даже Иона – и тот: «Не пойду туда!
Пусть себе гибнут, несмысленные, пускай
гром поразит их, морская зальёт вода...
Лучше народ Свой, Господи, обласкай!»

Даже Иона! А я что Тебе? Темно
слово моё и воля моя, как дым,
чтобы ломиться в двери, стучать в окно
к ушлым ниневитянам Твоим седым!

Иль чтоб юнцам, не знающим ни аза,
любящим только снедь, верящим только в плоть,
раскрывать слепые глаза
и толковать величье Твоё, Господь!

Может быть, пусть их? Пусть бы, нажив обол,
протекая меж пальцами, как вода,
тихо бы уходили в темный шеол,
не оставляя ни памяти, ни следа?

Может, в этом и есть свобода для них – небес
полная пустота и глухой провал,
и чтобы Ты не мешал им, Господи: Сам не лез
и от Себя посыльных не посылал?

И чтобы свыше за ними не наблюдал,
и чтоб их тайных не слышал грёз, тёмных речей,
за руку не хватал, на слове не поймал:
каждый сам по себе, никому, ничего, ничей...

Выбравший гибель – пусть гибнет: века сего
логика замыкает кольцо.
...Даже пророк не вмещает милосердия Твоего,
плачущее отворачивая лицо.

Майя НИКУЛИНА, Екатеринбург



ИСХОД

Не псами по корням, по буеракам, –
военным строем, под российским флагом,
в погонах – честь имею, господа, –
но с семьями, с детьми и навсегда.

Грузились – «Не задерживай. Скорей», –
спокойно. Замолчали и застыли
навытяжку, поскольку проходили
вдоль Северной и главной батарей.

Уже потом, уже в открытом море,
в однообразном общем разговоре
сошлись на том, что дом у нас один,
бог милостив, потерпим, перебеёмся,
что в Севастополь всё равно вернёмся
и никому его не отдадим.

Смотрели вдоль. По ходу корабля.
Но обернулись, словно по приказу,
Спеша увидеть, как из моря разом,
В два белых неба, – Крымом и Кавказом, –
За ними поднимается земля.

* * *

Прямо с берега высокого –
далеко ли до беды? –
две дощечки над осоками,
три ступеньки до воды...

Бабка внукам, чтоб не плакали,
говорит, что по ночам
ходят ангелы с собаками,
охраняют наш причал...



* * *

С ночи штормило, пугало, морозило...
 Только к исходу свинцового дня
 белое солнышко встало над озером. –
 Так моя бабушка любит меня.
 Птица пролётом с недальнего севера
 села на ветку и песню поёт. –
 Так и тоскует лиловым по серому,
 чёрным по белому так и ведёт...
 Так среди прочих щедрот,
 летних, садовых и влажных,
 вздрогнешь и вспомнишь однажды –
 господи, липа цветет!
 Мед от земли до небес,
 утренний воздух дарённый –
 и среди прочих чудес –
 венчик её оперённый.
 Ласковый шёлковый пух
 бедные губы щекочет –
 слово не найдено. – Дух.
 Дышит.
 И дышит, где хочет.

* * *

К исходу октября ложится снег.
 Ещё не зимний.

Но уже понятно,
 что наша жизнь похожа на побег
 на юг.

И возвращение обратно.
 Что каждый лебединый перелёт
 живым пунктиром, каждым птичьим телом
 сшивает разноцветные уделы
 в единый населённый небосвод.
 Тогда перо, упавшее в траву,
 не просто подтверждение соседства,
 но в полной мере права на наследство
 законного: я тоже здесь живу.
 Уже гремят осенние пиры,
 уже приветы северного дома
 готовы. И священные дары
 обёрнуты в пшеничную солому...

* * *

За поворотом возраста и лета
 земля белым-бела, черным-черна,
 линияют непреложные приметы
 и камнем обрастают имена.

В большом обезголосевшем лесу
 просторно, пусто, ветрено и голо –
 одни жизнеспособные глаголы
 удерживают время на весу...

* * *

Мы прошли уже наощупь
 за своим поводырём
 через мостик, через площадь,
 по дороге и потом
 в переулочек непроглядный,
 в опрокинутый чердак,
 в тесный, влажный, непроглядный,
 тёмно-августовский мрак,
 в треск цикад, в сухие звоны
 невесомого труда,
 в жарко дышащее лоно,
 в бесконечное туда,
 где у скомканных обочин,
 у колодца, у реки,
 молодой хозяин ночи
 ставит сети и силки,
 чтоб до самого рассвета,
 в долгожданной темноте
 выкрикали: где ты? где ты?,
 потому что он нигде.



Александр НОВОПАШИН, Тюмень



БЫТЬ ПЕРВЫМ

Кто-то должен быть первым,
Чтоб стоять на краю,
Пробивая сквозь тверди
Непокорность свою.

Пусть идущие следом
Подождут за углом.
Вслед за ним краем бездны
Вы пройдёте потом.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

По деревянным тротуарам,
Среди заборов, день за днём
Из года в год маршрутом старым
Мы вслед судьбе своей идём.
И верим, что когда-то лучше
Нам будет с ней наедине.
Вся жизнь моя – лишь частный случай
В распятой войнами стране.

ДРУЗЬЯ НЕ УМИРАЮТ

А друзья не умирают
На больничных простынях.
Лунным берегом по краю
Не уходят от меня.
Собираются погреться
В уголках души моей.
Ну, а мне найдётся ль место
У оставшихся друзей?

ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ ДВА

Под рябиной у калитки,
Где скрывала нас листва,
Тот же адрес на табличке –
Ленинградская, дом два.
Много лет прошло на свете,
Стала белой голова.
Выцвел адрес на конверте –
Ленинградская, дом два.
Я когда-нибудь приеду,
Не смогу найти слова.
Никого тут больше нету.
Ленинградская, дом два.

НЕВМОГОТУ

– Как дойти до сельсовета,
Коль шагать невольно, –
Причитала Лизавета
У забора поутру.
Вечно в стареньком плащишке,
Валенках с чужой ноги...
Неотложные делишки,
Видно, ждать уж не могли.
Лизаветино несчастье
Никому не побороть –
Хочет вымолить участия:
– Прибери меня, Господь!

КНИГИ НЕ ГОРЯТ

Не верьте – книги не горят:
Ни на пожарах беспощадных,
Где вмиг сжирает всё подряд
Огонь, набросившийся жадно,
Ни на безумных площадях,
В печах, растопленных стихами,
Где строки Пушкина шутя
Швыряют в пекло смерти хамы.
И Гоголь рукопись не сжёт –
Есть продолженье «Мёртвым душам».
Я точно знаю, что нас ждёт
В финале его сцены лучшей...
Когда взрывной волной снаряда
Сметёт с земли всех книжечек стаи,
Не верьте – книги не горят,
Их в небе ангелы небе листают.

Виталий ОГОРОДНИКОВ, Тюмень

* * *

Небеса засосало болото –
Крики птиц глубоки и низки,
Но рисует невидимый кто-то
На продрогшем тумане мостки.

И в багрово-кипящем закате,
По воде с ледящим лицом
Жерди, слани, упругие гати
Он выводит волшебным резцом.

Всё подвластно мечте живописца –
Отступают трясины и мхи,
И дорога под ноги ложится,
А в дороге вздыхают стихи.

Где волнами, а где валунами
Стёжки топкие вымостит он.
И идёт по тропе вместе с нами –
Верхотурский Святой Симеон.

* * *

Старик со стрекозой играют в прятки,
Сочится свет из трещин на иконе,
Да чьё-то эхо шебаршится в кадке,
Подпрыгивая как на ксилофоне.

Давно забыто чьё же это эхо,
Здесь дождик жил, устав в небесных высях,
Был полон радуг, облаков и смеха,
А нынче только эхо – дождик высох.

И всюду лад, и музыка знакома,
И радостно, что снова всё в порядке
И на своих местах – опять все дома –
Старик, и стрекоза, и эхо в кадке.

Григорий ОСИПОВ, Москва

* * *

Время земное летит за судьбой.
Век преходящий не минет забвенья.
Памяти след зарастёт лебедой,
Горькой, как горькое эхо прозренья.

Что принесёт мне грядущая жизнь?
Кто мне ответит в безмолвном просторе?
Будет тускнеть необъятная высь,
Стынуть луна с тихой грустью во взоре.

Выйду встречать предстоящие дни
С тайной надеждой на позднем пороге,
Что отыщу путевые огни
На незнакомой пустынной дороге.

* * *

Жизнь мчится, как быстрое лето,
Я душу свою берегу
Для вечного вещего света,
Что брезжит на том берегу.

Что льётся с небесного свода
И меркнет в речной глубине
Над тенью забытого брода
От лёгких путей в стороне.

Сольётся душа с этим светом,
Забудет земные года
И вспыхнет зарницу где-то,
Где мне не бывать никогда.

Григорий ПЕВЗНЕР, Марбург,
Германия



* * *

Лето медлит у переправы:
уходить или всё же нет?
Необузданной чащей травы,
но соломенный чаще цвет.

Ностальгичен тысячелистник
в окруженьи борщевика.
Часть листвы ржавеет по-лисьи –
не от осени, от грибка.

Август густ, далека агония,
мало этих рыжих заплат.
Курит женщина на балконе –
ветер треплет её халат,

обнажает её секреты,
подступает к её нутру.
Пепел падает с сигареты,
рассыпается на ветру.

Ели стихли и потемнели.
У предгрозья другой язык.
Птица щёлкает еле-еле.
Огрызается грузовик,

и в ответ шелестит дорога,
будто шепчет какую весть.
И тоска – не тоска, тревога –
не тревога, но что-то есть.

Ветка ловит дыханье ветра,
опускаются небеса,
и детёнышей человека
гулки мелкие голоса.

* * *

И муравей создал себе богиню...

Булат Окуджава

Он бежал из лежалога детства, из оседлой его черты,
но всё время оглядывался – не то что Лот.
Вплывь спасался, из обломков мечты
связал непотопляемый плот.

Всё шло в дело – вплоть до сломанного бревна.
Уносимое ветром он ловил на лету.
И когда появилась его Она,
они построили дом на его плоту.

Ветер пробовал мачту их дома гнуть,
пробовал палубу вышибить из-под ног.
Но подобный дом не мог утонуть,
он даже перевернуться не мог.

Крыс не было, и некому было сбегать с корабля,
а команду они успели в пути родить.
И когда последними скалами выросла

перед ними земля,
страшно было только, что по очереди придётся
сходить.

* * *

Воскресный ветер в ударе.
Он подменяет отдыхающих дворников:
подметает дорожки,
подхватывает листву, бумажки,
кленовые вертолётки,
перемешивает
с попавшимися под руку голубями
и зашвыривает всё это на крышу магазина.
Он завязывает узлом, а потом
расправляет уши юному спаниелю.
Спаниель натягивает поводок
и взлетает.
Сухая, как богомол, прокуренная хозяйка
повисает на поводке, дёргает его
и злобно орёт: «Стоять!»
Спаниель поджимает уши,
обижается и затихает.
Ветер обижается и затихает тоже.
Оба оглядываются на меня,
и я в окне восьмого этажа
развожу руками:
«А я-то здесь при чём?»

* * *

Всё, вроде, сказано – дела-то давние.
Всё, что требовалось для понимания.
Маленький еврей из Майданека
проживает в Германии.

Он до подбородка мне, маленькому.
Всё, вроде, связано, всё искуплено.
Маленький еврей ковыляет по Марбургу,
шаркает здоровенными туфлями.

Маленькая жена его с мужем ладила,
мало разговаривала однако.
Она была из другого концлагеря
и умерла от маленького рака.

Много лет маленькому еврею,
маленькому еврею под девяносто.
Он приехал старым и дальше стареет,
добираться до кладбища ему непросто.

Марбург маленький, всё, считай, рядом,
но до кладбища с пересадкой – он не ездит почти.
Маленький сын их с потусторонним взглядом
молчит сквозь большие очки.

Он похож на мать, и, похоже, не получается
у рта его улыбкою растянуться.
А маленький еврей изредка улыбается –
изредка почему не улыбнуться?

Социальный район иногда называют гетто.
Маленький еврей не знает про это,
живёт себе и не помнит зла,
шаркает со своей сумкой, а если лето,
с русскими немцами забивает козла.

Николай ПЕРЕЯСЛОВ, Москва



АВГУСТ В РОССИИ

Август режет лето, как солону.
Воробьи купаются в пыли.
Сочиняя реквием былому,
плачет птица певчая вдали.

Ещё сухо. Дождь пока не месит
грязь дорог немислимой длины.
Всё равно – он самый страшный месяц
для моей мистической страны...

ПОСВЯЩЕНИЕ ДРОЗДУ

Мой брат, мой дроздёныш, наряженный в бисер,
ты снова блефуешь, скача на авось
и не замечая, что ловлен твой мизер
и горек твой прикуп, как прелый овёс.

Мне сладок твой стих. Но в густеющей прозе –
двух крыл импульсивных вороний отлив –
спасёт ли тебя от грядущих морозов,
как некогда – от птицеловной петли?

Отщёлкано время для игр понарошку.
Отпета беспечность. И в новой судьбе –
за Жучкой дворовой убогие крошки
надолго заменят все песни тебе.

И в ветхий сарайчик от холода прячась
с толпой воробьиной, ты вспомнишь ещё
и рукоплескания листьев горячих,
и тайных поклонниц потерянный счёт...

Держись! Я сыпну тебе крошек чудесных,
дам зёрен, чтоб ты не замёрз среди выюг.
Ты выживи. Ты – сбереги свою песню.
(А это в России – так трудно, мой друг!)

* * *

Границы открыты. Простимся.
Шлагбаумом поднята Вечность.
Свет гаснет. Экранной простынкой
мерцает над улицей вечер.

Молчанье. Да будет вовеки
священна его нефальшивость!
Оплачены старые чеки.
Чему суждено – совершилось.

Всё в прошлом. Попробуем выжить.
Примеримся к Дантовой роли.
И может, впервые услышим
солёную музыку боли.

И полночь, как пальцы тапёра
упавшею крышкой рояльной,
придавит развёвший нас город,
прикинувшийся нереальным.

Ни смеха в саду! Ни минора!
Ни эха! Ни духа! Ни сына!
(Так *скорость* томится в моторе
оставшемся – без бензина...)

Простимся ж... Проспимся – и снова
посмеем былого касаться.
На прожитых чувств аксиому
навешаем тьму доказательств.

И в завтра – шагнём, как в бессмертье,
сгибаясь под памяти гирей:
оставить – не выдержит сердце,
лететь с ней – не вынесут крылья...

Юрий ПЕРМИНОВ, Омск



* * *

Игорю Смолькину

Время – к ночи. Птицы смолкли...
Что ж мы хмурые с лица?
Примем друг мой, Игорь Смолькин,
по черёпке винца?

Не журился, не злословим,
наши судьбы таковы,
что общенья крохи ловим,
словно рыбку из Псковы,
терпеливо: хорошо, что
во Пскове плотва под стать
омской –

эту рыбку почтой
электронной
не послать,
пальцем в клавиши потыча...

К другу путь куда как прост:
Псков от Омска – в паре тысяч
не чужих –
российских вёрст.

* * *

Под городом Псковом такие денёчки стоят,
что в здешние будни влюбился уже не на шутку!

Под городом Псковом кормлю осторожных утят,
их маму кормлю – благодарную, статную утку. Им,
видимо, тоже без нашей заботы – никак...
Восторженно замер – в одно из мгновений –
на вдохе:
я, может быть, первый не кто-нибудь, а сибиряк



на псковской речушке –
на сказочно тихой Черёхе!
На каждый на кряк
откликаюсь открытой душой.
Взъерошенный берег пьянящими травами уткан...
Но главное то, что я здесь никому не чужой –
ни травам, ни речке, ни уткам...
Тем более, уткам...

В БОЛЬНИЦЕ

1.

Безгрешно лежим тут. Никто никому не приятель,
диагнозы наши – напротив – один к одному...

Как нежен к супруге сосед по больничной палате –
к весёлой толстушке, приехавшей нынче к нему
из дальней деревни!

Как солнышко здесь появилась! –
Впервые за пару бесцветных больничных недель...
И как хорошо, что корова у них отелилась,
и плохо, что помер намедни их старый кобель.
Свояк – Парамонов – по-божески, за две бутылки –
колодец почистил, затратив немало труда...
Приветы горячие шлют мужики с лесопилки
и выписал денег хозяин её – Хабулда...

...В столицах решают проблемы (подчас мировые)
до драк, и решать их, наверное, стоит,

но тут

я понял впервые (ну, буду считать, что впервые),
как по-настоящему –
люди, как люди, живут.

2.

Распорядок здесь расписан мудро,
здесь дают лекарства и ночлег...

В нашем отделении под утро
умер тихо старый человек.

За окошком

крошек ждёт синица –
он кормил сердешную...

Родня

послезавтра с дедушкой простится,
послезавтра выпишут меня.

Здравствуй, птичка, трепетный комочек –
пух живой небесного крыла!..

...а бельё постельное в цветочек
санитарка Лена собрала.

* * *

Под небом в самом утреннем соку
сермяжно думу трезвую гадаю:
куда податься русскому совку
с таким-то «капиталом» и годами?

Да, не зайти ни к другу, ни к врагу,
купив портвейна с «докторской» на трёшку,
не позвонив...

Но, кажется, могу
ещё порвать от радости гармошку!

Где Запад есть, найдётся и Восток.
Решить вопрос: куда пойти? – не в двадцать
одно сыграть...

Но в том и самый сок,
но в том и соль,
что некуда податься...

Виктор ПЕТРОВ, Ростов-на-Дону



КРЕСТИЛЬНАЯ ЩЕПОТЬ

Знать ли вятских лесов глухомань
И вещуньи певучую речь,
Если вновь атаманил Тамань,
Снаряжая паромы на Керчь?
Окрылённая чайками вьсь,
Угловатого паруса бег...
Вдалеке же глазастая рысь
Испяtnает порошистый снег.

Я на юг и на север пойду,
 Потому как не ведом предел.
 Август крымскую сжѐг лебеду –
 Жар идѐт от касания тел.
 Море с морем сошлись... Так и мы...
 Жизнь слиянная, жизнь заодно.
 Это жизнь по Ремарку взаимы,
 Двуетное общее дно.
 Шторм выносит к тебе, а не к ней;
 И – солѐная накипь на мне,
 И разбиться бы мог у камней,
 Только жизнь и взаимы, и вдвойне.
 Здесь подкову свою оброну,
 Да не кинусь потерю искать,
 Лишь скалистую трону броню –
 Самому бы скалою и стать.
 Мне уже не сойти с этих мест
 До мгновенья последнего вплоть,
 И не прост воспаряемый жест,
 А крестильную явит щепоть.

РУССКИЙ ХОД

Кто по водам ходит ходом?
 Ледолом.
 Сдался красным белый холод –
 Поделом!
 Красно солнце. Ярь. Ярило.
 Русь жива!
 И не отдаѐт Курилы
 Мать-Москва.
 Уступает сила силе –
 Русский ход.
 Завсегда в моей России
 Прав народ.
 Нету – каркают – народа.
 Есть народ!
 Высока его свобода
 От «свобод».
 Дайте разинскую волю!
 Бью челом,
 Чтобы выпал мне на долю –
 Льда разлом,
 От которого по рекам
 Русский ход.
 Быть хочу не имяреком,
 Я – народ!
 Всяко битый, всеми клятый –
 Как никто.
 Эй, апрель! Скворец. Глашатай...
 Скинь пальто!
 Право слово – православный –
 Выйди, люд.
 Следом за казачьей лавой

Ливни льют.
 Родом ветры с Дона, с Волги –
 Вскачь – пора:
 Не сыскать вольнее воли,
 Чем ветра.
 Живу быть, а не иначе –
 Тем ветрам.
 Разве зря крестом означен
 Божий храм?
 Бьют залѐтные копыта
 Глум теней.
 И клеймит суровой пыткой
 Мысль о Ней...
 Ах, голубка, гули, гули:
 Жгут уста.
 Разгулялись гунны, гулы –
 Красота!
 Мой ты ветер, вешний ветер,
 Налетай!
 Я любовь за краем встретил
 Криком стай.
 Так направим, друг хороший,
 Силу вод
 Между будущим и прошлым –
 Ледоход!
 Солнце катится откуда
 И куда?
 Сгинут волей света, чуда
 Крыги льда.

УЗЕЛ

Господу пошлю моление:
 «Злое сердце умягчи»,
 Если та, что всех милее,
 Точно тать, молчит в ночи.
 Опускаюсь пред иконами –
 Пред любовью не любой,
 Что не клятвой, не законом,
 А узлом свела с тобой.
 Этот узел стянут намертво,
 Не развяжется уже...
 И никто о том не знает,
 Как держусь на вираже;
 Я лечу, лечу без удержу
 По прямой, по кольцевой,
 Судишь ли меня, не судишь –
 Я живой, как неживой.
 Жизнь моя да под колёсами:
 Колесуй меня, дави!..
 Чтобы я витал над плѐсом
 Искжением любви.
 Чтобы чѐрный стриж печаловал
 Небо траурным крылом,



Бились волны у причала
С туго стянутым узлом
Корабельного пленения,
Где канат и не канат,
А стоянье на коленях
И смертельный перехват.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Аргамак побудил Воркуту,
Просыпайся, подруга, не спи:
Он скакал, доскакал из степи –
Белу ночь подхватил на лету.
Пава белая, белая ночь,
Руки белые, белая грудь...
Ночи чёрные ты позабуди.
Очи чёрные видеть невмочь,
Я другие знавал города,
Я не верю уже никому,
Но безрадостных дней кутерьму
Сменит радостных слов череда.
Кипень белых ночей за окном –
Ты подходишь к нему босиком...
Я знаком ли тебе, не знаком,
Только мы говорим на одном
Соловьином наречии трав,
И стихает во мне колоброд
От объятий русалочьих вод...
Ты права, потому и не прав,
Что искал не такую, не там...
Так встречай золотого коня!..
Белой ночью не жечь мне огня,
А припасть к неустанным устам.
Сон уйдёт – белой ночи молва
Аргамаку рванётся вдогон
Мимо вятских лесов да на Дон:
Слева – Нижний, а справа – Москва.

Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН, Петрозаводск



ЗАПОВЕДНИК ЛЮБВИ

Там чужие не ходят,
там только свои.
Там едят с наших рук
приручённые звери.
В заповедных лесах
пахнет тёплым доверием.
Ждут к себе
заповедники
нашей любви.
Позови за собою,
туда позови,
Где в сосновых стволах –
отражённое озеро.
Даже если разлукой
уже подморозило
Родники в заповедниках
нашей любви.
Мой прозрачный родник
черноглазой смородиной
Как руками возлюбленной,
нежно обвит.
Пусть нас встретит опять
хлебосольная родина
В золотых заповедниках
нашей любви...

* * *

*«Будь слабее меня, пожалуйста»
Р. Рождественский*

Стань сильнее меня, пожалуйста,
Стань надёжной моей опорой.
Не досадуй, в сердцах не жалуйся
На мою правоту бесспорную.



Удивит предстоящий путь.
Только след бы мой не пропал,
А помог хоть кому-нибудь.
Первый снег так отважно чист,
Первый снег так щемяще бел.
И горяч – потому искрист.
...Обжигаться – вот мой удел.

* * *

Всё – враздрызг,
Всё – вразлад, невпопад.
Вдруг разжалась пружина метелей,
Молчаливым слугой снегопад
На полях расстилает постели.
Завалиться в прохладную ширь!..
Воет зимушка скорбно, по-вдови.
Расстегнув тесный ворот души,
Мне бы с нею наплакаться вдоволь...
Безоглядно, бессильно, навзрыд,
Не таясь от людей посторонних.
Только дом мой снаружи закрыт,
И желанья вьюга хоронит...



Татьяна ПИСКАРЁВА, Москва



* * *

Ворота в небе встали твёрдо,
пока он плыл вперёд, вперёд.
Он был испуган и дрожал,
потом бояться перестал
и задремал.

А наверху поставили ворота
из радужных, блуждающих огней
над толпами зверей
и лысиной
у Ноя.

УЛИТКА

Вот свёрнутость робеющей улитки:
закрученный в спираль тяжёлый дом,
где набекрень лежат скромнейшие пожитки,
и в свиток свинченный
философичный том

Ощупывать пространство безнадёжно,
сверля рогами воздух
там и тут,
и странствовать неспешно очень можно,
не зная, что путь конечен,
прост и скуп,
но ты вперёд прошествуешь вельможно,
не зная, гениален ты,
иль глуп

ВЕСНА

И маленькая складка возле
губ,
прокушенная ветка терпкой
хвои.
Неявный знак, который
берегут
поодиночке или сразу двое.
Он скрыт всегда
в весеннем светлом хламе:
в бутонах. Если слушать:
есть в дожде,
пока он щёлкает по лужам
в тишине
и подчинён своей особой
гамме.
Его теряют или забывают
где только можно,
с радостью и без.
Его друг другу горько предъявляют,
чтоб сделать им на памяти
надрез.
Пытаются составить список тел
и перечень с ним связанных новелл,
не понимая тех, кто не успел,
кто был дурак, что не оставил опись...
Везёт двум простофилям.
Им дано
внезапно потерять и ум, и зренье,
чтоб быть
с собой и сердцем заодно.

ПОСЛЕДНЯЯ КОРЗИНА ЛЕТА

Последняя корзина лета
Полна фантазий и чудес.
В неё вплели обрывки света
И петли грозových завес.

В неё лёг сок под кожей:
скользящей,
тонкой
и живой.

* * *

Кант сказал, что звёздное небо –
то, что надо,
и глазеть на него: восхитительная награда

посылать небу воздушные поцелуи и приветы,
пробовать на вкус звёзды, словно крошечные
конфеты
их увидишь, если не будет смога и облаков,
спутников, космического мусора и разных
космических чудакoв
там висит диск Луны, запаянный в ослепительный
белый кант

там, невидимый,
думает всё о том же Кант

Евгений ПОПОВ, Санкт-Петербург



* * *

Мир держится неведомо на чём.
На воле человека. Божьей воле.
На доброй воле. Каждая – по доле.
Возможно, что и на борьбе за мир.

Мир держится на ниточке ручья.
На родниковом и песчаном пульсе.
Скользит волнистая и плавная змея.
Любуйся, наблюдай и не сутулься.

* * *

Как бы ты, друг, ни вертел хвостом,
Крутится жизнь на ходу холостом.
Хоть и наставлены всюду ворота,
Их открывать никому неохота.

Впрочем, ещё подождём. Приглядимся.
Время придёт – мы туда постучимся.
Или взломаем замки,
Пусть и хитры, и крепки.

Ты посмотри: на широком экране
Люди-свидетели, будто бы в бане, –
Будто прошел их рентген,
А под окном – Диоген.

* * *

Считают, сбиваясь со счёта: какой наш Рим?
Считают, считают и вдруг начинают кричать:
«Горим!»
Но те, кто внимает, опять продолжают считать.
Привычка? Придётся счёт с начала начать.

Возьми всё, что можешь в своей душе унести:
Желание двигаться, бежать, созидать, грести –
Наше знамя. И тучу зажав в горсти,
Жди меня. А пока отпусти.

Я буду искать в этой ночной глубине
Посох, маяк, пристанище, даже во сне.
И, наконец, найду, потому что слаб,
Я сам брежу и тебя веду, потому что раб.

Рыбы-рабы Вселенную пересекут,
Выткнут, вытянут, выпестуют свой лоскут.
Ладушки бьют тревогу. А мы пока
Только и ждём попутного ветерка.

* * *

Так стеклянно, красиво летит самолёт,
Так стеклянно, красиво летит.
Время тянется сладко-тягуче, как мёд,
И в сосудах листва шелестит.

Государство сияния, светоч теней,
Водопады пахучей листвы.
Даже кажется, нет этой жизни родней,
То же, кажется, видите вы.

Наконец-то отмечена светом трава,
И замечены птиц облака.
Небосводом натянутая тетива, –
Не хватает простого мазка.

Самолёт или месяц скользит и скользит,
Прибывает растущий лесок.
И на отмели белое солнце горит,
И шмеля нарастает басок.

И на тоненькой шейке поёт голосок.

Михаил ПОПОВ, Москва



* * *

Говорят, там будет что-то,
Там, куда мы всем идём,
Мы шагаем как пехота,
И в жару, и под дождём.

Сказки мы плетём друг другу,
Как хорош тот дивный край,
К северу лежит иль к югу,
что захочешь выбирай.

Будет что-то, что-то будет,
Невозможно, чтобы тлен.
Там нас горн большой разбудит,
Кто-то там возьмёт нас в плен.

Может даже нас накажут,
Но скорей всего простят,
Нас убьют, но нам покажут
Для чего же нас растят.

Всё, уже мы на подходе,
Вот и всё, я так и знал,
Был же слух у нас во взводе –
Первым делом – трибунал.

* * *

Едем на ярмарку, едем,
От предвкушений горим,
Будущим, будущим бредим,
Ждёт как никак Третий Рим.

Молоды мы, боевиты,
Всё нам ещё по зубам,
Славой пока не увиты,
Завистью не убиты.

Едем мы с ярмарки, едем,
Давней обидой горим,
Старыми дрязгами бредим,
Прошлое благодарим.

Старые, старые кони,
Да, мы не портим борозд.
Злато наград на попоне,
Главное, что не пони.

Пишете, так пишете,
Пашете, так пашите,
Я вас спрошу не со зла,
Где и когда, подскажите
Ярмарка наша прошла?!

* * *

Бреду домой. Не всем доволен,
Скажу прямее – раздражён.
Гляжу, вон пенсионный воин
С подпившим говорит бомжом:

«Ну, вот скажи, какого хрена
Горел я в танке, погляди!»
Бомж тихо отвечал: «Измена»,
И что-то булькало в груди.

И я остановился рядом,
В народный приходя экстаз,
И сладким пропитался ядом,
Смертельно справедливых фраз.

«Всё в этом мире продаётся»,
«Жируют шлюхи и ворьё»
«На что нам эта жизнь даётся,
Когда вокруг всё не моё!?»

И город меркнул засыпая,
Снег падал, искренно кружа,
И по летейски засыпая
Меня, солдата и бомжа.

* * *

Эрцгерцог въезжает в Сараево в автомобиле,
Он прибыл с инспекцией в город, а также с идеей,
Он хочет, эрцгерцог, чтоб подданные полюбили,
Он громко объявит: славяне мои не злодеи.

«Как только дождусь я заветной имперской тиары,
Ещё на могиле верховный цветник не увянет,

так станут моими друзьями не только мадьяры,
А станут друзьями мне все наши юго-славяне». Пока же, являясь всего лишь наследственным
принцем,

Он едет по берегу тихой и мелкой Милячки,
И юный Гаврила идёт этим утром на принцип,
При этом стоит в состоянии мертвенной спячки.

Пистоль снаряжённый в кармане у серба
с секретом,

Он выскользнет вовремя, он безусловно, на взводе,
Свидетелей сотни присутствовать будут при этом,
Эрцгерцог погибнет, убьют его на переходе

От мирного времени к самой тревожной эпохе,
И жизнь становится всё будет страшней и сложнее.
Благие намерения, что же, не так уж и плохи,
Но принципы всё же намного, намного важнее.

* * *

Затихли летние мелодии,
Осенний лист, холодный шум.
Не стать бы на себя пародией,
Боится стариковский ум.

Приливы ненормальной бодрости,
Почти что болдинский экстаз;
В каком ты пребываешь возрасте?
Смотреть пора в иконостас.

А ты рифмуешь и надеешься,
Я, мол, не зря, не зря живу,
Но никуда, браток, не денешься,
А прислонишься к большинству.

Евгений РЕЙН, Москва**«ПЕЙЗАЖ В ОВЕРЕ ПОСЛЕ ДОЖДЯ»**

Н

Осины, ивы около запруд,
И заросли осоки, и дорога,
Болото, кочки – всё, что есть вокруг –
Великолепно, в сущности – убого.
Искусство, необъятный твой пейзаж
Нас помещает в бездну сердцевины,
Какая точная, естественная блажь,
Художник, как Адам, возник из глины.
Но если отойти в далёкий зал,
Стать на границе лучших откровений,
И высмотреть, что быстро срисовал
Бродяга, сумасшедший, новый гений.
Там паровозик на краю земли,
Повозка со снопом у переезда,
Пустующая лодка на мели,
Всё движется намеренно и резко.
Все вместе с ним. Отбросив свой мольберт,
Сам живописец – нищий и богема –
Спешит в Париж, чтоб выполнить обет,
Из Амстердама или Вифлеема,
Теряя тюбики, чужой абсент глуша,
Среди народных скопищ и уродов,
И соскребая лезвием ножа,
пронзительные очи огородов.

НА ВОЛГЕ

Ярославль проплывал куполами церквей,
волжский ветер свежел всё скорей и скорей,
мутноватой волне помогая.
Я стоял на корме, наблюдая, курил,
как взлетала и падала возле перил
светло-серая чаячья стая.

Пусть не слишком начищены ручки кают,
и бывает в салоне не то подают,
Волга правильно катится в Каспий,
слава Богу, что ей никуда не свернуть,
и по карте проложен единственный путь –
по великой равнине скуластой.

Приближалась под вечер родная страна,
сокращались её ширина и длина,
только палуба и оставалась,
репродуктор сипел музыкальный отбой,
и невнятная нота кривой запятой
за оглохшее ухо цеплялась.

Воздух зорко темнел, своевольно дыша,
выступало созвездье Большого Ковша,
и подрагивала машина.
Утомлённый простор уходил на покой,
было всё согласовано с Волгой-рекой,
и как до сотворенья – едино.

Я и сам притворился неспешным глотком,
наименьшей молекулой, тем пустяком,
безбилетным попутчиком летним,
пригашённым окурком блистающей тьмы,
узелком перепутавшейся бахромы,
под всемирным зазубренным гребнем.

ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ

Собор Преображенский лезет в дверь,
открой ему, не то – упрётся в небо,
ещё об этом рано, но теперь
моё перо ведут тоска и злоба.

Там, на Литейном вечная молва
всех новостей и сплетен ленинградца,
она доступна так и молода,
что нам пора отсюда убираться.

Тем более, что в комнате темно,
темно, как в трюме и совсем нечисто,
и, отражаясь в стареньком трюме,
зачем бы нам не пошутить речисто.

Постой, так не уходят напролом,
не оставляют так разор дикарский,
сто фотографий над твоим столом,
машинка, книги и фонарь китайский.

Воротнички истёртые рубаш
и скотный двор разношенных ботинок,
и два комода на своих дубах,
вступившие с пространством в поединок

и у него изрядно отхватив,
припрятавшие что-то шито-крыто
в укромный уголок, где негатив
показывает нам изнанку быта.

А я? Я буду ждать тебя во сне,
пока меня снотворное не сломит,
покуда на облупленной стене
родная речь не обратится в омут.

* * *

Громадный Рим, истёртый камень,
Дорога из щербатых сизых плит.
Осенний день уныл, тягуч, беспламен,
Не слышно ни толпы, ни аонид.

Дорога в Лациум, туда, под кипарисы,
На виноградники, где добрый сельский бог,
Простивший мне успехи и капризы,
Сам терпеливо подведёт итог.

Наталья РОЖКОВА, Москва



Из цикла «Общество мёртвых поэтов»

ПОСВЯЩЕНИЕ НИКОЛАЮ ТРЯПКИНУ

На исходе зимы,
В сельской церкви
Заснеженной, маленькой,
Где богатых окладов
У вечных иконочек нет,
«Ты прости меня, матушка», –
Просит Заступницу старенький,
Преисполненный кротости
Русский чудесный поэт.
В шумном мире вокруг –

Столько зла непонятого, чёрного,
И с довольной ухмылкой
Топор протирает палач,
В чём, наш брошенный друг,
Упрекаешь себя, непокорного,
Неподвластного мерзости,
Спевшего собственный плач?
О годах не молящий,
И даже о лишней минуточке,
Не горюешь, хоть рядом –
Почти что совсем никого,
Ты прости его, Матушка,
Он не виновен ничутьючки,
И в слезах от свечи
Голубиные очи его.

НИКОЛАЙ РУБЦОВ

Задумчиво глядит на паутинку
И, прикрывая кепочкой плешинку,
Поэт сидит в тельняшке на крылечке,
Услышал: треснул лёд на Чёрной речке.
Но впереди – крещенские морозы.
Идалия прикалывает розу.

КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ

Алой гвоздикой, приколотой к майке,
Напоминала,
Что никуда не исчезли дуэли
Для нашего брата.
Младшей сестрою для всех оказалась
Сама ты,
Небо, легко отжимая,
Сушила на солнце.
Мне от него бы кусочек,
Я сделаю шарфик,
В память о той,
Что солгать не умела,
Надену.

ЭМИЛИ ДИКИНСОН

*«Русая девушка в кофточке белой...»
песенка*

Знаю я, сколько тобою испытано
Чёрных и радостных дней,
Падают слёзы на томик зачитанный
Лучшей подруги моей.
Даже луна к нам в окошко не просится,
Скрылась в чернильную тьму,

Ветер холодный по комнатам носится,
Мы не нужны никому.
Поздно душа одинокая хватится
Жизни, прошедшей впотьмах.
Старая девушка в клетчатом платице,
С вечной тоскою в глазах...

**ПАМЯТИ ЛИДЕРА ТВОРЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
«32 АВГУСТА» АЛЕКСАНДРА КАРПОВА,
ПОГИБШЕГО НА «НОРД-ОСТЕ»**

Запад спит и Восток
Робкий дождик
В окно постучался.
Август, тридцать второе,
В дороге октябрь задержался.
Лишь один алый лист
На торжественном
Древе зелёном,
Молча два капитана
Кидают монетки Харону.

* * *

Обрывки разговоров,
Морозный воздух чист,
В подземном переходе
Играет гармонист.
Спешат все на работу,
И зябко на заре,
Летят бумажки в шапку,
Как листья в ноябре.
А днём уже теплее,
Почти комфортно тут,
По кнопкам его пальцы,
Привычные, бегут.
Но вот приходит вечер,
Гармонь свою берёт,
В загаженном подъезде
В обнимку с ней заснёт.
Во сне увидит солнце,
И давнюю весну,
И поезд, уносящий
Его на целину.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ В ОКТЯБРЕ
(безотносительно к революции)

Какая осень, Боже мой!
И Кремль на этом фоне бирюзовом
Гигантским орденом Победы
Прорисован.

Геннадий РУСАКОВ, Москва



* * *

Заполoshная кровь оглушает виски...
Охлони, нам достанет тюремной тоски
в два окна с панорамой в рамке,
где кургузый слепень замирает, летя,
чтоб его рассмотрело чужое дитя –
без сачка и в помятой панамке.
Так и надо любовно разглядывать мир.
Ну, а что если зренье истёрлось до дыр
и хрусталик почти не хрусталит?
Лишь поют соловьи на погостах родни,
и бомжи пропивают погожие дни...
Мой стакан, как положено, налит.
А глядения, в общем-то, стали не те:
поглядишь – и глазами залез в декольте...
Или рожа соседского Вия.
Или стружками лета забросан верстак.
Или кто-то кого-то за что-то, да так!..
Но слепень! Но дитя... Но Россия.

* * *

В ту пору я был с временем врасстык:
что ни скажу – не к месту и не к сроку.
Где прошептать – перехожу на крик.
Где заорать – от строчек нету проку.
А мне хотелось, чтобы всё не так:
чтоб мы дружили. Стали корешами.
Я был «ботаник», попросту – простак
из тех, кто вечно хлопают ушами.
А женщины не любят недотёп.
Им – чтоб летел, хотел и рвал подмётки...
Цветы, конфетки, беспардонный трёп –
и вот уже воркуют, лживо кротки.

А я не мог. Я недопонимал
и был, по сути, никому не нужен:
слегка косил, да и росточком мал.
Потом подрос – и стало только хуже.

* * *

Последний из недóжившего рода,
затоптанного временем в песок,
я был тогда воспитанник народа,
а помыслами честен и высок.
Трясли сезоны воробыной сетью.
Апрель, капель, веснущатые дни.
Срамная баба шлялась по столетию.
Сугробы где-то прятались в тени.
И ни о чём покуда не жалелось,
(как не жалелось после много лет),
а попросту лампасами алелось
и драилось ночами туалет.
Какое тут, к чертям, предназначенье?
Года гнались за нами по пятам.
Какая-то невспомненная Таня,
зачем-то оказавшаяся там,
грядущего громоздкая фрамуга,
подросткового знания балласт...
...И годы, налезая друг на друга,
плотнее утрамбовывают пласт.

* * *

Больно осень многодумна.
Больно вёсны тяжелы.
Зимы долги. Лето шумно,
словно слово «Чердаклы».
Росы пали на покосы.
Стали ночи коротки.
Философские вопросы
ходят-бродят у реки.
Как здесь музыка кипела!
Как здесь музыка текла!
Всё умела, всё успела,
отшустрила-отцвела.
Ах вы, Гендели-Бартоки
с Пендерецкими вприклад!
Ах, лирические строки,
невостребованный клад!
Никому-то вас не надо,
вы прыщавы и малы,
словно ранняя рассада,
словно эти Чердаклы!

* * *

Накрыты пластиком копёшки.
Денёк с утра плаксив и сер.
Глядят в окно коты и кошки...
Всё, как тогда, в СССР.
По сути, жизнь не изменилась
в масштабе местного села:
мы так же отданы на милость
метафизического зла –
дождей, сезонов, бормотухи,
горластых жён, бухих мужей.
К тому же снова ходят слухи
что ожидается хужей.
А в остальном всё, как и прежде –
всё, как при бабушке-царе.
Ну, есть различия в одежде..
И век сменился на дворе.

* * *

Господи Боже, давай поживём.
Господи Боже, давай погуляем.
Рыбу половим, цветочки порвём.
Вместе с собакой хвостом повилеям.
Ветер повеет – перо пролетит.
В речке карась от восторга прогнётся.
Господи, к жизни возрос аппетит.
Воздух при носке почти что не мнётся.
Хочется важности слов или дел.
Просится малости, ждётся большого.
День крупнотелым шмелём прогудел.
Вечер слегка голубым подтушёван.
Близится время счастливых утрат,
лучших находок и ровного света.
...Господи Боже, сейчас, в аккурат,
самое лучшее в Редькине лето!

* * *

Вот так живёшь, а в пятницу усоп...
Спасибо всем. Когда меня не станет,
а вы меня среди других особ
припомните, то обращайтесь к Тане.
Она вам всё расскажет про меня:
про все мои грехи и заморочки,
кто был, кто есть и кто моя родня...
Покажет недоструганные строчки.
А я висел у жизни на поле,
простуд боялся, помирал от гриппа.
На этой удивительной земле
звал вас до поглупения, до хрипа.

И, не дождавшись, принял всё, как есть
и понял суть всеобщего расклада:
я жил, а это, собственно, и честь.
И больше ничего уже не надо.

* * *

...А я гляжу на мир с весёлым выраженьем –
болтун, олигофрен, ловец осенних мух –
поскольку я во всём согласен с окруженьем,
хотя и не могу понять его на слух.
В мои смурные дни мне хорошо живётся:
они мне в полный рост, на отступ в три шага.
Земля во все концы, дистанция не рвётся,
а всё же на Оке просели берега.
И закрошился мел в порожних птичьих норах.
Запели по ночам под ветром провода,
И видно далеко на пойменных просторах,
где медленно течёт усталая вода.
Земля во все концы, хватает места людям.
К чему её делить, распугивать зверьё?
Мы здесь не навсегда – мы так недолго будем...
Недолго звать, и петь, и покидать её.

Ольга РЫЧКОВА, Москва



* * *

И не день, и не вечер,
И дорога легка,
И закату навстречу –
Облака, облака.

Уносимая в небо
Невесомая рать –
То ли быть, то ли небыль:
Ни постичь, ни догнать.

Их весёлое племя –
Без вериг и оков.
Растворяется время
В белизне облаков,

Одержимых любовью
К мимолётным ветрам,
Устремлённых мольбою
В самый солнечный храм.

* * *

А сегодня – полнолуние.
Мерный свет стекает с крыш.
Что же ты, моя певунья,
Приуныла и молчишь?

Как осенняя загадка,
Темный лист в твоей руке.
Кто-то маленький и гадкий
Затаился в уголке.

Ухмыляется спросонок
И зевает не спеша...
За душой пришёл, бесёнок?
А на что тебе душа?

День закончится прозрачный.
Пробираясь через ночь,
Ангел призрачный, невзрачный
Не захочет нам помочь.

Да и сами не попросим
Мы несмелого его...
В мире осень, только осень,
Осень – больше ничего.

ВОЛНА

Волна – исчадие ветров,
Кочевница морская!
Какой несёшь ты нам улов,
Сама того не зная?

Останови же, наконец,
Свой бег, доселе пылкий.
Смотри: медузы и мертвец
И чёрная бутылка.

И не письмо в ней, а вино...
Так что ж мы пьём и плачем,
Когда медузам всё равно,
А мёртвому – тем паче?

* * *

Мир апрельский и весел, и пьян
Ожиданием лета и мая.
И когда я его обнимаю,
Каждый камень весной обуян,

Даже в самых столетних лесах
Оживают дремучие ели,
И душа моя в маленьком теле –
Словно вечность в песочных часах.

* * *

Мне так сказал мудрец античный,
Плутая в лабиринтах сна:
«Вам стали зрелищем привычным
Чужие дни и имена.

Не вам сии скривали править,
Не вам, случайным... Оттого,
Что никого здесь не убавить
И не прибавить никого».

Олег РЯБОВ, Нижний Новгород



ПИСЬМО К ДРУГУ

Что-то давненько не слышал я песен грузинских
Про виноградную косточку, дружбу, вино
«Цинандали».

Что-то не весело, что-то мне очень грустит
Лишь только вспомню, как мы с тобой вместе гуляли

По Руставели, где твой кабачок Пиросмани,
Или по Мцхета, откуда весь мир на ладони.
Что-то случилось, наверное, гадкое с нами,
Если прокисло в бутылках вино молодое.

Как твоя Грузия? Солнышко светит над нею?
А Сулико провожает тебя на рассвете?
Может, мы встретимся? Я ещё очень надеюсь.
Мне ещё кажется: это – не старость, не вечер.

* * *

Вот деревенька. Как семья маслят
Присели избы под своё столетье,
И оконки прищурившись глядят,
Подсолнух, вишня и малина плетью.

Идёт пацан, ведёт свою козу.
И это – жизнь. Часы стоят на стрёме,
Слух обострён, здесь ловишь каждый звук,
И чувствуешь, когда он не настроен.

Здесь каждый дом – свой век, своя судьба,
Упрёк в близкости бетонным новостройкам,
И тонкая наличников резьба
Подобна лучшим стихотворным строкам.

Идёт пацан, коза на поводу,
В руке дубец, и он козу ругает
Так нежно, что захватывает дух.
И это – жизнь, хотя она другая.

* * *

Ну, обидели! Ну, что же –
Так теперь – конец пути?
Что ж теперь – страдать до дрожи,
И не петь, и не светить?

И не пить вина с друзьями,
Бросить, не писать стихов?
Помолясь под образами,
Вновь идти в страну грехов?

Стыдно в поисках награды
Примерять чужой венец.
Есть на свете просто правда.
Есть же Пушкин наконец!

* * *

Наши кони уже истоптали долины предгорий,
Мы испили хрустальной воды из озёр
молчаливых,
Зёрна лотоса грызли, и пили мы сок мандрагоры,
И тогда засыпали в надежде видений счастливых.

Только кончилось лето, и завтра ты дальше
на запад.
Мне же козья тропа, и к вершинам,
где снежное жженье.
Ты решился, но помни, что Запад – лишь сон
или запах,
Как мираж он растает, венчая твоё поражение.
Ну, а мне предстоят – одиночество, вечность,
забвенье.
Я свободы достиг тем, что стар и, что больше не
нужен
Никому, и теперь я без всякого благословенья
Ухожу, забывая о Родине, долге и дружбе.
Нашу память шельмует не старость, а подлая
совесть:
Мы себя оправдаем – для ищущих грех разрешен.
Просто будет писаться с зарёю для каждого
новая повесть –
Тебе в руки уздечку, ореховый мне посошок.

Юрий РЯШЕНЦЕВ, Москва



ГЕНИЙ ДЛЯ ГЕНИЯ

Гений для гения часто не так очевиден.
Гения легче признает обычный талант.
И для Шекспира толстовский вердикт не обиден,
ибо Толстой рассудил с целым миром не в лад...
Сказочный вечер не ровня абхазскому полдню.
Полдень молчит восхищенно, но медлит уйти.
Как же я помню Пицунду, о, как её помню!
Всё же нелепо, что необратимы пути.

Месяц лихой болтовни о Толстом и Шекспире,
хрипы писательских глоток – забыть и заснуть.
Как всё внезапно и просто меняется в мире
к лучшему, к худшему – да ведь не в этом же суть.

Нам, как стеклянным игрушкам, обложённым ватой,
неги хотелось, а бы ли нам ведом покой?
Я – лишь о том, что Господь не такой консерватор,
как бы, прости меня Боже, хотелось порой.

Там из апацхи доносятся песни-молитвы,
чтоб опуститься на горном, на майском снегу.
Там хулиганской нагою толпой эвкалипты
всё не дойдут до купальщицы на берегу.

ГРЕКИ БЫЛИ СОСЕДАМИ

Греки были соседями живших чуть выше богов.
И стучали порой в потолок, не довольные шумом.
Это плохо обычно кончалось: Зевес не таков,
чтоб терпеть коммунальные склоки. Над пиком
угрюмым
до сих пор раздражённо витает его борода.
Никогда фамильярности он не простит. Никогда!

Что – с героем Троянской войны, Золотого руна?
Что – с великим народом, столь дерзким и в славе
и в скверне?

Что, скажите, стряслось с Пенелопой: я видел – она
чаевые берёт на Итаке в прибрежной таверне.
Что вообще заставляет народ, изменяя себе,
покоривши судьбу, словно раб, покориться судьбе?

Как он может, творец иберийских надменных
дворцов,
жить в хургадской халупе? Но вот ведь живёт и –
доволен...

Почему хилый отпрыск библейских крутых мудрецов
патриотам, державе, начальству и всем подневолен?
И куда повернула живая кривая стезя,
что её направленье народу исправить нельзя?

Неужель... О, какая надежда в словце «неужель»!
Но не будучи Вяземским, я говорю: неужели
мы, народ, чьим младенцам дарили отрез на шинель,
почадим, как и все, и умрём в надоевшей постели,
или, хуже того, будем жить, не щадя поясниц
гастрарбайтерами во дворах европейских столиц?

Собирались начать, как никто. Да уж слишком
всерьёз...

Кабы гром не гремел, кабы ветры не дули, а то ведь...
Ишь, как уличный нищий запел на углу про мороз.
Нет, ещё не запел, он ещё только горло готовит.
И вздохнул и взял верхнее «до» и закончил на том,
как великий художник, беспомощный перед
холстом.

КНИЖНЫЙ ШКАФ

Книжный шкаф, чужих раздумий замок,
тёмный и загадочный, как амок,
буковая books'овая статья.
И пускай судьба меня, барана,
хоть за то простит, что слишком рано
научился буквы сочетать.

Что попало, прыщ, хватал я с полок.
Жаль, что избежал расправ и порок –
мама у меня была не та.
Вот ведь сказки братьев Гримм. Однако
я тащил из шкафа труд Бальзака –
«Куртизанок блеск и нищета».

– Ты хоть знал, – закрыв все двери в замке, –
кто такие эти куртизанки? –
мама улыбалась вся в слезах.
Мне пять лет! Я знал, конечно, это –
те, что с вражьей силой беззаветно
бьются и скрываются в лесах.

Спутал с партизанками. Но честно –
там не про войну. Неинтересно.
Мы с Бальзаком мыслили не в такт...
Помню, что в студенческие годы
в поисках себя, в тисках свободы
я свершил над шкафом адский акт.

В нём была досель своя система.
В ней порядок книг решали тема,
время, класс писателя и пр.
Но был год: всё – ложь, всё – фальшь, и значит,
пусть заткнётся Кант, пусть Гегель плачет:
я им всем устрою дикий пир.

Если нет в них правды ни на грошик,
пусть хотя б палитра их обложек
разукрасит комнату мою.
Плавный переход от цвета к цвету
должен увенчать реформу эту.
Только – колер! А на смысл – плюю!

Розовый Золя за белым Манном,
синий Блок за голубым Кораном,
алый Фет за рдяным Бомарше.
Медленно от стенки и до стенки
появлялись новые оттенки,
к тьме стремясь на нижнем этаже...

То, что, примирившись с этим адом,
Маркс и Достоевский встали рядом –

этот факт беспорен, хоть уныл...
Слава Богу, дурь прошла внезапно.
Книги возвратились вспять, назад. Но
был такой период в жизни. Был.

КУСТ КРУПНЫХ БЕЛЫХ РОЗ

Куст крупных белых роз с утра дрожит упруго.
Куст мелких красных роз всю ночь провёл без сна.
Их лепестки вот-вот сорвутся друг на друга.
Чуть ветер посильней – Гражданская война.

А ветер как на зло менялся то и дело.
Как тут определить, кому несдобровать?
То белая пурга за красными летела,
то красная орда теснила белых вспять...

Как нынче далеки все Щорсы, все Чапай,
Юденичи, Шкуро и Колчаки.
Не потому что прошлое в опале.
Не знаю, почему... Но – далеки...

Две девочки в цветастых мини-платьях
штампуют селфи: раз и два, и сто.
Они всего-то в трёх рукопожатьях
от Анки-пулемётчицы? И – что?
Всесильна жизнь. И смерть всесильна тоже.
Как жаль, что не всесильна красота.
И потому пошли им, правый Боже,
по свежей розе с каждого куста.

* * *

Мне страшно это молвить вам,
но кто-то должен молвить это:
не верь поступкам – верь словам,
когда они слова поэта.

Кому он руку подавал!
Каким беспутством был потатчик!
И полон был его подвал
каких позорнейших подачек!

Его оправдываю? Нет.
Его жалею? Лишь отчасти.
Кто знает, из чего поэт
соткал для нас вот это счастье:

«Что ты заводишь песню военную
Флейте подобно, милый снигирь?»

Марина САВВИНЫХ, Красноярск**КОСТА ДЗУГАЕВУ**

В лесу между мирами воздух тяжёк –
Он стелется, захваченный корнями,
Как пепел во дворах пятиэтажек
С их звуками и письменами...

Проклятья множатся – но ветер триедин,
Листва волнуется – и деревья трепещут,
И Божий пламень в глубине куртин
Взвивается – и ветви рукоплещут...

Вдохни и вспыхни! ... выдохнешь едва ли...
В лесу между мирами воздух – тёмный,
Как теплота в тисках каменоломен,
Как свет в насквозь простреленном подвале,
Как Бог – в Цхинвале...

* * *

Блаженны кроткие: их взор не замутнён,
Рассудок – трезв, уста – медоточивы...
На их пути – стремнины и обрывы,
Зубовный скрежет и вселенский стон,
Но их глаза взирают, не сверлят,
Их речи – утоляют, не тревожат,
Как Божий дар, они вкушают яд,
И день мытарств, как праздник, ими прожит...
Нет им преград и нет у них врагов.
Не знают ни воров, ни дураков
Блаженные – ударь: подставят щёку...
А ты живёшь – мякинный хлеб жуёшь,
Клянёшь, рыдаешь, мучаешься, ждёшь –
И веришь проходимцу, как пророку...

* * *

Каждый волен мыслить себя героем,
Сообразно избранным убеждениям:
Видит Бог – никогда не ходила строем,
Но в хороший хор вольюсь с наслаждением...
Я с тобой поделюсь и вином, и хлебом,
А споткнёшься – подставлю плечо, дружище...
Но в толпе – как в шеренге – разит Эребом,
А хороший хор – в резонансе с небом:
И душа – свободней, и воздух – чище...
Так споем! Вопреки мировым раздорам –
Люди, ангелы, звери, деревья, птицы –
Мириадоголосым бессмертным хором,
Превышая условности и границы!

* * *

Г. В. Малашину

Ещё будут, дорогой, холода,
Будут беды сердце рвать на куски
И стонать над головой провода
От глухой невыразимой тоски...

Ещё будут и ухаб, и овраг
На пути, где и конца не видать,
И не станет церемониться враг,
Посягая на твою благодать.

Но однажды – на морозной заре –
Не в апреле, так совсем в декабре,
Ты встряхнёшься от тяжёлого сна
И увидишь: за окошком – весна!

О которой не мечтал, не просил –
Только теплились во мгле голоса –
И такая ли пасхальная синь,
И такие ли над всем – небеса,

И такая ли – не дух и не плоть –
Разливается лучистая даль,
Что поверишь, наконец – сам Господь
Утоляет твою боль и печаль...

РОДНАЯ РЕЧЬ

Чертёж невозмутимой правоты –
Двуглавый византиец – здесь и ныне.
Кость мамонта – точёные черты
В тебе сосредоточенной латыни.

Шаг эллинский. Чекан монгольских сбруй.
Норд-вест, по скифской вьющийся основе.
Кипение глубинных древних струй –
В любом твоём созвучии и слове.

Дышать тобою – или прахом лечь,
Солончаковой горечью бесплодной.
Понять тебя – из мрака свет извлечь,
Судьбою становящаяся речь
Несокрушимой памяти народной.

* * *

Да – всё отвергнуть или всё принять,
Неся свой крест среди сестёр и братьев...
Так есть и будет: время обнимать,
И время – уклоняться от объятий!

Когда весь мир – театр и Колизей,
Финал – открыт, но финиш – предсказуем,
Бегу подобострастия друзей...
Но ведь Распятый – в кротости своей –
Ничьим не погнушался поцелуем?!



Анна САЕД-ШАХ, Москва



* * *

Вот отец на коленях у деда,
это я у отца на коленях,
это сын у меня на руках.
Это внук на коленях у сына,
это сын на коленях у внука,
это внук у него на плечах,
это... Вот бы это! – пускай и без звука,
в запредельных увидеть лучах.

* * *

...В ожиданье вестей от того, кто по мейлу не пишет,
шелуху отделяем от всякой другой чепухи,
мироточим ночами, на ладан почтительно дышим
и рожаем детей, искупая в купели грехи.

За пределами сна, за пределами кровельной
крыши
мы легки на подъём, мы живём – от души!
Наши умные детки не хотят вырастать из штанишек,
чтоб героями пасть на весёлых полях анаши.

...Успокой моё сердце, скажи – я хорошая, правда?
Мои дети со мной, и сама я напрасно дрожу.
Дай под солнцем согреться,
а большего – больше не надо, –
я другую не буду и деток других не рожу.

* * *

Маленькой скоро стану опять,
девочкой с тонкой противной косичкой.
Будут дочки мои меня опекать,
как дочку родную, как певчую птичку.



Будут гулять с капризной со мной
в сквере и в парке, ранней весной
переводить через чёрную лужу,
свирепо на шею наматывать шарф,
пряники прятать в высокий шкаф,
а ночью дыхание слабое слушать.

...Пошли им терпенья меня не предать,
займи доброты и безумия дерзкого.
О дай им безумья! – с улыбкою ждать,
когда я из платица вырасту детского.

* * *

Я не смею смятением тебя донимать,
утешать своей женскою жалостью хилой...
Голубоглазая девочка-мать
хнычет над маленькой свежей могилой.

Набекрень нахлобучу беспечный берет,
подставляя лицо под невзрачное солнце,
улыбнусь невпопад:

– Слава богу! Как дед
твой сынок никогда не сопьётся!

И никто, как отца, не зарежет его
и с ума не сведёт, как отцову сестрицу.
...С ним плохого не будет,
с ним уже ничего,
никогда ничего не случится.

ДВА ПРИПЕВА

1

А что позабыла –
на то и забила:
на горстки находок,
на свалки потерь.
Всё лучшее – было,
всё худшее – было!
А то, чего не было,
будет теперь.

2

А что позабыла,
на то и забила:
ещё на потерю,
ещё на успех.

Всё лучшее было,
всё худшее было.
А то, чего не было –
будет у всех.

* * *

Тело придумали,
чтоб обмануть,
чтоб сквозь него
просочиться в душу.
У тела для этого есть
глаза и уши,
всякая муть,
разная там анатомия,
тайные закрома,
а в них всё такое,
подробное.
Ведь душа не может
родить сама
по образу и подобию.

Дмитрий СВИНЦОВ, Петрозаводск



НА ЛАДОГЕ

Нас будили с тобой по утрам
крики чаек. И вместе с тобою
поднимался со скал Валаам,
умывался студёной водою.

а потом свой рассказ начинал,
как он дважды,
а может быть, трижды
здесь Чайковского в полдень встречал
и вымаливал ночь для Куинджи.

АДРЕСАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ ВОЙНЫ

Л. Филатову

Мы – вечные дети последней войны.
 Наверно, мы были обузой стране,
 но мы вдосталь хлебнули волны
 отцовских смертей и контузий.
 Поныне у нашего сердца гремят,
 как залпы,
 короткие строчки
 о том,
 что ушел неизвестный солдат
 на запад – в бессмертье, бессрочно.
 Пробиты мы пулями тех снайперов,
 что целили в наших под Гжатском.
 Нас лишь не хоронят, как наших отцов,
 в земле безымянной и братской.
 Отцы завещали грядущему нас.
 И почта, ища адресата,
 ушла в неизведанность – все мы сейчас
 посмертные их аттестаты.
 Но ветер забвения адрес не стёр,
 всё длится почтовая повесть.
 И братья всё ищут и ищут сестёр –
 и вечно не кончится поиск.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

В платице ситцевом.
 В кителе старом.
 Перед фотографом мудрым предстали
 мама с отцом. Молодые совсем.
 Ей двадцать два.
 Ему двадцать семь.

Первые годы после войны.
 Скулы обтянуты. Души видны.
 Время хранит этот снимок в архиве.
 Снимки – не люди: многие живы.

В каждой семье дорог снимок один –
 тот, на котором им жить, молодым:
 в стареньком кителе, в платье из ситца.
 Время, в которое не возвратиться.

НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА

Какая ночь!

Развешены по небу,
 как в августе,
 гирлянды диких звёзд.

Прекрасна жизнь,
 когда не на потребу
 живёшь,
 не руша нор, жилищ и гнёзд.

Как слышен каждый шепот, каждый лепет
 за окнами заснеженных домов.
 Торжественно в своем созвездье Лебедь
 летит на запад в ромбах парусов.

Загадочно среди морозной пыли
 звенят бутылки узкие берёз,
 напоминая, как нас всех любили,
 любили целомудренно до слёз.

Лишь сучьев треск во тьме неосторожный
 поведает о близости зверья.
 И только снег, как хрупкий корм подножный,
 хрустит под ломкой коркой бытия.

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Ещё я и в славе и в силе,
 ещё я достаточно крепок,
 и тех, кто меня поносили,
 я сдюжил, как водку и девок.

Когда же я сделаюсь старым
 и станут кормить меня с ложки,
 начну сочинять мемуары,
 как Гофман, от имени кошки.

А может, от имени чаек,
 а может, от имени сосен.
 И ночь запивать буду чаем,
 холодным, как поздняя осень.

И в тех мемуарах запечных
 предстану и в славе и в силе.
 За то же, что не был в заплочных –
 мне б всё остальное простили.

Елена СЕМЁНОВА, Москва**ВОЗВРАЩЕНИЕ**

Всю жизнь думаешь,
Что двигаешься вперёд,
Но вокруг –
Те же дома, улицы, вещи.
Крутится-вертится
Пластмассовый шар,
Только близкие люди,
Как фанерные мишени,
Падают за горизонт.
И кажется –
Сколько бы ни шёл,
Ты остаёшься в той же точке.
Лишь сама точка
Длится внутри тебя –
Завивается лентой Мёбиуса,
Выворачивается бутылкой Клейна.
От себя – к себе,
От себя – к себе –
Гулкий метроном,
Мающийся маятник.
В камере ожидания,
На перекрёстке миров,
Тиская в кармане
Детский трамвайный билет,
Засохшего ландыша цветок,
Прядь волос близкой подруги
И, да... что ещё? Что ещё?
ЧТО ЕЩЁ?
Ключ от потерянной комнаты.
Это и есть он, пардон за романтику,
Рычаг...
Для отключения...
Гравитации...

ПОСРЕДИ

Как описать ЭТО?
Звёзды крупные, как горох и жемчужины.
Скользкий в темноте берегов пароход.
Ветер. Резкий майский ветер.
Брякающая табличка – вход запрещён.
Немыслим одновременный купол
Воды, тишины и неба,
Но ты – посреди.
Невероятно, но мнишь,
Что ты – точка отсчёта и конец,
Пылинка и центр.
А вокруг, как мерцающее веретено,
Как в оны времена,
Вращается мир.
И в этом вращеньи, перетеканьи
Мыслимая ли? Нет!
Скорее на миг узурпируемая
Для себя тайна.
Ветер созвездий и сердцебиенье планет.
Страсть метеоритов и астероидов.
Разум. Разум седых облаков.
Я отрываюсь от палубы?!!
Нет, крепко на ней я стою.
Смысл – неминуем.

КНИГА

Русский поэт, что живёт в Америке
Щурится, выходит на берег, и
На лице его, сквозь стиль, ученость
Просвечивает некая обреченность,
Которая, в общем, обрученью сродни –
Кто забил алгоритмами эти дни?
И они, убежденьем своим окаянны
Бьются о другую сторону океана.
Эта жизнь – вечное возвращенье, и
Атлантика, пронизанная теченьями,
Вздыбленная грозными ураганами
Носит между Канском и Каннами –
Вязким углом и холодной почестью,
Погрязанием и беспочвенностью.

Русский поэт, что живет в Америке
Щурится, выходит на берег, и...
Нет, вроде не был с вечера пьяным,
Но слились воедино края океана –
И коль вступишь на зыбкое облаковье
(Вот зенит у зеницы, коснись рукою!),
Краем глаза, в зеркале заднего вида
Всплывёт мерцающая Атлантида,
Может быть, на долю свербящего мига –
Придел измеренья, мера отчаянья,

и при тебе всего пространства тесность
приобретала радужный окрас.
И если бы не день тот за окном,
казалось бы: всё улеглось и спелось,
а хворь твою сочли бы пустяком,
была она – и вмиг куда-то делась.

Тот странный день, похожий на погост
среди берёз, как люди, долговязых,
синюшным становился, пока нёс
ты боль в себе. Она была во фразах,
что прежде показались бы смешны,
забавны, остроумны и прелестны.
Тогда ж от них остался привкус пресный,
а ты, попав в объятия тишины,
уже стоял у края смертной бездны.

ДЖАЗ В РИГЕ

Игорю Пронину

Напротив Домского собора
есть дом, а в доме мезонин.
Там на трубе играет Жора,
и не угнаться мне за ним.
Нет у меня такого жара,
не тот талант, не тот полёт,
особенно, когда Тамара
под звуки трубные поёт. И выводя фи-
оритуры,
и открывая дивный рот,
она забавно строит куры,
и этим за душу берёт.
Она вся в чувственном экстазе,
и Феб, как преданный лакей,
себя забыв до безобразья,
готов служить, но только ей.
Прелестница, богиня, душка,
она, чем ближе, тем родней.
Само Искусство побирушкой
бежит, заискивая, к ней.
Но вот Тамара очень скоро
закроет свой волшебный рот,
погасит огненные взоры
и тупо выпятит живот.
Вернётся прежняя морока,
а с ней тоска и скукота,
и станет очень одиноко,
хоть заводи себе кот!

Андрей СИЗЫХ, Иркутск



ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭВРИДИКИ

В. Ш.

госпитальная горечь зимы,
выходящая в трубы и двери.
здесь живут неизвестные звери –
те, которыми были не мы.
я пойду за тобой в скорбный дом,
в бесконечный войду лабиринт.
с глаз незрячих сниму чёрный бинт –
мы обратно вернёмся вдвоём.
мы пройдем, от звонка до звонка,
мимо чудищ безжалостных снов.
снова станет походка легка
и тверда интонация слов.
нету силы способной сгубить
нашу преданность нашей любви.
вот она – путеводная нить.
голос мой незабытый – лови!

ПОД ЯНВАРСКИМ СОЛНЦЕМ

Отзывается звоном байкальская снедь –
Ледовитая рыбка-январка.
Невозможно надолго такой завладеть –
В ней звучит серебро или синяя медь
И взрываются солнца как сварка.
Раскатись и накрой, тишина, красоту!
Над горой прорастает сосна в высоту
И на бреющем море полёте,
Улетают в грядущую тень, в немоту,
Все размолвки на автопилоте.
Обрастают шарфы драгоценной каймой,
превращаются щёки в ланита.
И твоя рукавичка вспорхнёт надо мной,
прикасаясь к тому, что забыто.

Константин СКВОРЦОВ, Москва



* * *

Золотой зверобой
и горячее поле душицы,
И обвивший смородину сказочный алый цветок,
И родник под скалой,
тот, который доньше мне снится,
И сиреневый полог тумана вдали от дорог.

Я мальчишкою знал:
ты должна здесь вот-вот появиться,
Вся из солнца и трав,
из ручьёв, от рассвета хмельных.
Побелели виски.
Замолчали в отчаянье птицы.
Я оставил тебя,
как веночек из цветов полевых.

Я готов был припасть
к первой встречной зелёной травинке,
Потому что в тумане
всё время мерещилось мне:
Может быть, это ты
в серебристой, как сон, паутинке,
Той, что ветер принёс,
словно птица на сизом крыле.

И уехал я в город,
оставив и горы, и поле...
И в ущелье домов,
где не встретишь живого огня,
Ты по улице шла
в золотых светляках зверобоя.
Я узнал тебя сразу.
Но ты не узнала меня.

* * *

Помолчим. И послушаем Жизнь.
Блики солнца в воде отмерцали.
Тихий сумрак стирает межи
Меж стучащими робко сердцами.

Звёзды с ивы упали на дно
Водоёма: ни всплеска, ни мути...
И два сердца вдруг слились в одно,
Как две капли дрожащие ртути.

В неприкрытое кем-то окно
Залетела случайная птица.
Больно бьётся она о стекло,
А ты шепчешь, что сердце стучится.

Ей объятья рассвет распростёр,
Манит пленницу небом напиться...
Но не вырваться ей на простор.
Бог не дай мне вот также разбиться.

Помолчим. И послушаем Жизнь.

* * *

Не став избыю, доживает сруб.
Дымит полынь из выбитых окошек.
Не пахнет хлебом из холодных труб.
Нет ни мышей пронырливых, ни кошек.

Петух уже не сядет на плетень.
Ворон — и тех не видно на деревьях.
Старушка, словно собственная тень,
Едва плывёт по вымершей деревне.

Берестяной пылится туесок.
Забута прялка. Выброшены пальцы.
Не говорите мне: всему свой срок...
Страна уходит, как песок сквозь пальцы!

* * *

В глубинке русской посреди разрухи
У нищих окон, как у царских врат,
Сидели на завалинке старухи
И тихо пели, глядя на закат.

Ни радио хрипящего, ни света,
Ни вечных кур, ныряющих в пыли...
Остались только песни им... И это
Взамен молочных речек и земли.



В чужие дали уходило солнце.
В чужие клетки сыпалось зерно...
На мой вопрос: и как же вам живётся? –
Они глаза подняли озорно.

Святая Русь, не знавшая покоя,
Омытая слезами, как дождём,
Где б я ещё услышать мог такое? –
Чего не доедим, то допоём!

То допоём!.. Так как же жил я, если
Мне знать доселе было не дано,
Что голова всему не хлеб, а песни,
Которые забыли мы давно?!

В глубинке русской над деревней робко
Вставало солнце алой пеленой...
Старушки пели песню неторопко
И медленно вращался шар земной.

* * *

На горячем ветру,
У земли на краю
Села бабочка вдруг
На ладонь, на мою...
И сидит, не дыша,
Мир собой заслоня, –
Это чья-то душа
Отыскала меня.

Торопись, мотылёк!
Скоро дождь, скоро снег.
Этот тёплый денёк –
Твой единственный век.
Не вершится ничто
На миру просто так.
Это, видно, Господь
Посылает мне знак.

Толи, вправду, я слеп,
Толи путает бес...
Это – мама моя
Опустилась с небес.
Что-то хочет сказать
Лёгким трепетом крыл
На родном языке,
Что я знал и забыл.
Чтобы маму понять,
Стал я памятью – весь, –
Не исправится ТАМ,
Что напутано здесь.

...Вот и падает снег
На поля, не спеша...
Пусть недолог наш век,
Но бессмертна душа...

* * *

Зажёг костёр и юркий огонёк,
Мне робким показавшийся в начале,
Припал к ногам, как ласковый щенок,
Зализывая все мои печали.

Костёр горит. И вроде отлегло.
И жизнь уже не долговое бремя.
И всё ж... Всё по-иному быть могло.
Горит костёр безжалостно, как время.

От всех невзгод, надёжней, чем броня,
Меня костры всегда спасали с детства.
Иди ко мне, любимая моя,
Мне одному уже не отогреться.

Владимир СКИФ, Иркутск



К РОССИИ

Чем глубже Россия, тем проще:
Там за душу песня берёт,
И светят державные рощи
Проснувшихся русских берёз.

Украсил нетленные дали
Алмазного снега венец.
Здесь предки Тебя поднимали,
Как будто духовный дворец!

И слово, и дело сияло,
Державе и Богу – поклон.
И русская совесть стояла
На страже души и знамён.

Сегодня – сиянье молитвы
Спасает опальный народ.
Он вновь от родимой калитки
К забытому Храму идёт.

Из глаз его катятся слёзы,
Душа к очищенью спешит.
И в латах – стальные берёзы
Несут ему саблю и щит.

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

Вот и канули в прошлое битвы.
Ты уходишь, как свет – в высоту.
Зашепчу над тобою молитвы,
Что хранили твою чистоту.

Запою твои горькие песни,
В изголовье поставлю свечу.
Зашепчу над тобою: – Воскресни!
И услышу в ответ: – Не хочу!

Не хочу. Ты моё «Завещанье»
Прочитай – и узнаешь тогда,
Что меня моё чёрное знание
Торопило уйти навсегда.

Встало куполом Чёрное Знание
Посреди затверделого дня,
Мне присвоило новое званье...
Вот и вы проводили меня.

Это званье пойдите – измерьте,
Суетливое дело верша.
Это ЗНАНИЕ – из жизни и смерти,
До него досягнула душа.

Потому-то и живо сознание,
Что с души начиналось, с неё.
Я-то знала, храня, как преданье,
Это вещее знание моё.

* * *

Белошвейка-зима над полями застыла,
Белым инеем жухлые травы зажгла,
И к погосту пришла, тёмный Храм засветила,
И в туманных полях скорбный крест прибрала.

У природы нет зла и глухой, укоризны,
Тишина и печаль, как водицы бокал.
Здесь Рубцов проходил по изменчивой жизни
И в болотах последнюю клюкву искал.

Белошвейка-зима, мы покличем Рубцова,
Чтобы он – тихим днём – в русском поле ожил.
Вдруг туманы ушли. Стыло небо свинцово,
И на небе Рубцов или месяц кружил...

МАРИЯ АВВАКУМОВА

В ночи пылают круглые зарницы.
Мария Аввакумова, привет!
Меня твои «Зимующие птицы»
Призвали на торжественный совет.

Уж скоро осень. Склянкою аптечной
Запела льдинка. Маки отцвели.
Скажи, Мария! Может быть, навечно
Из сердца улетают журавли?

Россию мы содержим в запустенье...
Тайгу и поле поразил недуг.
Средь веток прячут редкие растенья
Кочующих зимующих пичуг.

И больно в это миг не потому ли,
Что в темень – уголёк за угольком –
Российские деревни потонули,
Как в зоне затопленья – целиком.

И не спасти высокого доверья
Зверей и птиц, речушек и цветов...
Вон догнивают жизнь свою деревья
На море Братском в связках из плотов.

С печалью в небо поднимаем лица,
Где на последнем умершем стволе
Ещё поют зимующие птицы,
Но тени их исчезли на земле.

Елена СОЙНИ, Петрозаводск



НА СЕВЕРЕ

Здесь не было
ни крепостного права,
ни войск Орды,
прошедших полземли.
Что гордые живут здесь –
это правда,
кто слаб и малодушен –
не смогли.

Да, одиноки,
но не сиротливы
на Севере часовни и дома,
и люди здесь добры, не суетливы,
ни сил не занимать им, ни ума.
И каждая старушка знает сказки,
от древности
полученные в дар...
Не смыть снегами северные краски,
как не смываем северный загар.

ИЛЬНИЧНА

На фотоснимке добрый,
твёрдый взгляд –
Ильнична – мать девяти солдат.
Так вышло, мы встречались
только раз.

Что помню я?
Взгляд бабушкиных глаз,
её калитки* из ржаной муки,
прикосновенье тёплой руки...

* Калитки – карельские пирожки из ржаной муки с начинкой.

Конечно, помню сказки
о морях,
не о принцессах –
о богатырях.
Но мне, трёхлетней, было невдомёк,
зачем носила бабушка платок
лишь чёрный?
Я, сказать начистоту,
хотела сдернуть эту «черноту».

Однажды я платок под тюфяком,
проснувшись рано, спрятала тайком.
Бабуля встала, ищет – не найдёт,
другой платок из тумбочки берёт,
такой же чёрный, но ещё черней...
Откуда знать мне –
шестерых парней
домой, на берег Северной Двины,
не дождалась Ильнична с войны.

* * *

Ничего уже святого
на Руси моей Святой,
Вот и выкинуто слово
из печальной песни той,

что, казалось, будет вечно
литься с синей высоты...
На каком другом наречье
о любви зашепчешь ты?

Ни небесного, земного,
сбранного в узелке –
жаль потерянного слова
на родимом языке.

Но разбуженная хрусткой
перекличкой воронья
по ночам кричит по-русски
дочка финская моя.

* * *

Ю. Т.

Сбереги мне озеро до тепла,
с берегом берёзовым у косогора.
с первыми морозами я ушла,
но вернусь с последними – это скоро.

От зверей смородину приукрой,
помнишь, как нам сладостно было с нею?

А с черникой, собранной тобой,
пироги намного вкуснее.

Все пути заснежены – вьюга – Русь,
не на лыжах мне, не на конях,
но однажды с радостью я прорвусь
в твой пейзаж морозной строкою.

Сбереги мне озеро до тепла,
без пригляда озеру жить опасно.
Ну а печка русская всё цела?
Раз цела, то жди меня ближе к Пасхе.

* * *

Река и лес –
всё в золотом огне
опавших листьев северного склона.
И даже солнце меркнет в вышине
в лучах листвы
рябины, липы, клёна.

Но как печальна крона, как пуста,
как ствол осиротевший гол и страшен.
Что ветвь одна – без жёлтого листа?
Что путь земной – листвою не украшен?

Я соберу рябиновый букет,
им разрисую небо, словно кистью.
Октябрь,
Покров.
И отовсюду свет,
щемящий отовсюду шелест листьев.

* * *

Услышана твоя молитва, Русь,
и на равнинах поутихло пекло,
и на руинах, возродясь из пепла,
ты поднялась.
Я тоже поднимусь
во весь свой рост
с простреленным крылом,
где были раны, станет крепче кожа.
Нас никому с тобой не уничтожить.
простим врагов. Воздаст им Бог
потом.

* * *

Километры, километры –
сосны, серые мосты,
километры, километры –
воплощение мечты...

А вокруг земля пожухла,
зной недели напролёт,
в мире жарко, в мире жутко,
а душа моя поёт.
Далеко не надо ездить
ни на запад, ни на юг –
в нашем северном предместье
обретётся дом и друг.

Я запомню эти ветви,
пни и каждый поворот
по лесной дороге ветхой,
что к добру... не приведёт.

* * *

М. Б.

Чудодействовать – это непросто,
но однажды в начале весны
над растаявшим льдом у погоста
воскреси мои детские сны.

Я смогу чудодейством ответить,
незаметным для тысячи глаз,
и не будет на всём белом свете
двух скитальцев счастливее нас.

Валентин СОРОКИН, Москва

СИНИЙ СОЛОВЕЙ

Страстью каждого побега
Сквозь пласты немого зла
Из-под снега, из-под снега
Встала яблоня, бела.

Встала, тонкая, в округе
День цветами закипел,
Соловей, седее вьюги,
На ветвях её запел.

То ли серый, то ли синий,
Свет серебряный он льёт,
Лепестковый зябкий иней
Стряхивает и клюёт.

По очам твоим зовущим –
Кто нам это запретит? –
По плечам, объятий ждущим,
Снег сверкает и летит.

Не с пургой, так с белым ветром
Закружится нам дано.
Я хочу зелёным кедром
Заглянуть к тебе в окно.

Или клёном, или клёном,
Размыкая белый дым,
Но не менее зелёным
И не менее седым.

ТРЕТЬЕ ВОСХОЖДЕНИЕ

Я был ещё ребенком, воды
Катил Урал, вздымал Урал.
И ветер грома и свободы
В просторе ливнями играл.

И синева клубилась густо,
И время шло, и, молодой,
Я с тем же трепетом и чувством
Встал над весеннею водой.

Дожди и молнии свистели,
Трава цвела на берегах.
И древним скрипом коростели
Опять катили ночь в лугах.

Но через годы – над рекою,
Где думы падают во мглу,
Я из тщеты и непокоя
Опять поднялся на скалу.

Волна сильна, да некипуча.
И реже синь,
и тише гром,
И жизни холод неминуемый
Росою светится кругом.

И в звёздных сумерках природы
Мне утоленья не найти.
А ветер грома и свободы
Кого-то ищет на пути.

НА ТРАКТЕ

Что ты хочешь,
На Руси рождённый,
Славы и богатства,
Тишины,
Неуёмный
И не ограждённый
От своей
И от чужой вины?

А твоя вина –
Твоё призванье,
Совесть близких,
Горе их и свет,
Не за это ль
Козни и страданье
На лицо
Означивают след.

Сколько гроз
Мятежливо скатилось,
У какого ж
Доброго царя
Голова скорбяще
Наклонилась
Над лихой
Могилой бунтаря?

Трон – царю,
А вольному – недоля.
Две дороги:
Истина и ложь.
А в моём отчестве,
Тем боле,
То и то в излишестве
Найдёшь...

Вон стоит с клюкой
Вдова-старуха,
А по тракту,
Развевая пыль,
Пролетел,
Покаркивая глухо,
Бронированный
Автомобиль.

Новый барин
Мчится через годы,
Знаменит
грабительством,
И рад,
Будто знамя
Братства и свободы
Не взлетало
С наших баррикад!..

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

Вся жизнь, как череда порабощений,
И ты идёшь к начертанной судьбе.
Из всех, плохих и добрых, возвращений
Есть возвращенье главное – к себе.

И ничему уже не удивится
Душа твоя...
А молодости нет...
И только рожь звенит и серебрится,
И сквозь берёзы льётся лунный свет.

А за туманом гнутся те же дали.
Кого окликнуть?..
Ворогу на страх
Друзья, прижавшись к гривам, ускакали
И канули в погибельных ветрах.

И тот же холм и те же избы рядом,
И вечная висит над ними пыль,
Но под твоим высокодумным взглядом
Не расцветёт красавицею быть.

Она вела, фантазиями грея,
И возле сердца шаря день и ночь,

Других юнцов пленит ещё быстрее, –
Жаль, не могу обманутым помочь.

Круг завершён, но опыт не мерило,
И новый день не легче понимать,
Не зря меня терпеньем одарила
И в грозный путь
благословила мать!

Владимир СОРОЧКИН, Брянск



КАКОЙ ПОРТНОЙ...

Какой портной в пресветлой горенке
Под шорох ветра и планет
Смог без сучка и без задоринки
Сшить воедино этот свет,

Соединить сиянье месяца
И синеву звенящей мглы...
Посмотришь – жизнь твоя поместится
На острие его иглы.

КАСАЯСЬ ЛИЦА

А помнишь – снег кружился вразнойбой,
Светясь алмазным нимбом над тобой,
Лица касаясь, тая в сгустках пара.
Зима едва куражилась и жгла,
И шаркала метельная метла
По стёртой грампластинке тротуара.

И ты смеялась – снегу, свету, снам,
И щедро время улыбалось нам,
Пересекая год привычным курсом,
А снег ваял, коснувшись пустоты,
На ветках букли, бантики, цветы,
Как говорится, – просто и со вкусом.

Морозный мрамор хрупок. – Бог бы с ним...
Я знаю, что с тобой неразделим:
Не разлучат нас тени или стены...
Уже февраль, и сникшие снега
Белеют, как танцовщицы Дега,
На грязный холст сошедшие со сцены.

ТАКИЕ ДНИ

Июнь смеётся, проходя
Неторопливо, без запинок –
Шуршаньем листьев и дождя,
Благоуханием тропинок,

Томленьем воздуха в жару,
Цветной оскоминою чая,
Когда ложишься поутру,
Минувшей тьмы не замечая.

Да здравствуют полутона
Мгновений, пролетевших мимо! –
Ты с летом переплетена
Невольню и неразделимо.

Когда, лучась, твои черты
Подобны выси небосвода,
Я понимаю то, что ты –
Моя последняя свобода,

А летний свет – тебе сродни,
Я не терзаюсь, не тоскую,
И я люблю такие дни,
И я люблю тебя – такую.

ПОМНЮ О ВАС

Всем, кто ушёл, мне хотелось бы снова
Доброе слово сказать иль полслова –
Всем, кто ушёл.
Всем, кто в закатной разлил позолоте
Дни, промелькнувшие, словно в полёте
Крылышки пчёл.

Помню о вас, кто с терпеньем и болью
Жил, на любовь отвечая любовью, –
Помню о вас.
Помню, что сретенье – не за горами,
И проступает сильнее с годами
Кровная связь.

Живы во мне – отголосками счастья
Все вы, родные, до смертного часа
Живы во мне.

Живы, печалям земным не внимая,
Веткой сирени весну обнимая
В радужном сне.

ОСЕНИ ПРИЗНАКИ ЯВНЫЕ...

Осени признаки явные
Видишь на каждом шагу.
Слышно, как падают яблоки
В стареньком нашем саду.

Дальнее поле распаханно –
Всё – из полос и заплат.
Дверь ненароком распахнута
На догоревший закат.

Можно простить и покаяться,
Можно забыться виной.
Вместе с тобой мы пока ещё,
Ты ещё рядом со мной.

Помню себя каждой толикой
Только твоим и ничьим.
Пахнет зелёной антоновкой,
Детством и небом ночным.

И расставаться не хочется,
Но, словно загнанный зверь,
Из темноты одиночество
Смотрит в раскрытую дверь.

ВЕРХНИЙ СУДОК

Эта речка бежит, как подранок,
По оврагу, вдоль топкой тропы. –
Никуда ей не деться из рамок
Берегов и бетонной трубы.

Неказиста и неприхотлива,
Знай – свои обдирает бока. –
Даже в бурную пору разлива
Не бывает она глубока.

Но и ей, неуёмной, по нраву –
В пору тёплых туманов и гроз
Напоить и деревья, и травы,
Приютить плавунцов и стрекоз,

Пригубить из весёлой криницы,
Из болотины взять тишину,
Прожурчать, прозвенеть, проструиться
И сорваться – с разбега – в Десну.

БЫВАЮТ ДНИ...

Бывают дни пронзительного счастья,
 Когда уже почти сойдя на нет,
 Душа не разрывается на части,
 Но воедино связывает свет,

За тенью жизни – призрачной и длинной –
 Скрывает и безверие, и зло,
 И трещины замазывает глиной,
 Как ласточка разбитое гнездо.

ВЬЮНОК

Цепляясь за щебень, лежащий у ног,
 За чёрную грязь просмолённого бруса,
 Под самые рельсы подсунул вьюнок
 Свои граммофонные белые блюдаца.

И дружно плетётся зелёная нить,
 На свет прорываясь из сумрачной глины,
 Пытаясь обвить, задушить, окрутить
 Железки и насыпь тщетою паутины, –

Хватается, тянется с разных сторон,
 Цветками и листьями живописуя
 Дорогу, но каждый молчит граммофон
 И музыку вынужден слушать чужую...



Евгений СТЕПАНОВ, Москва



* * *

Жизнь тает точно пастила
 Во рту – Господь даёт отмашку.
 И невозможно постирать
 Судьбу – как джинсы и рубашку.

И невозможно изменить
 Ни дня, ни собственного взгляда.
 И невозможно извинить
 Себя – а впрочем, и не надо.

ТЕПЕРЬ

Кишащий офисный планктон
 Ко мне относится по-братски.
 Но я не буду поплавком –
 Смешно ценить земные цацки.

Я был тогда и глуп, и мал,
 Когда прочёл в библиотеке:
 «Что взял – чужое; что отдал –
 Тебе принадлежит навеки».

Теперь я знаю: это так.
 Теперь осмыслены задачи.
 Теперь я не такой бедняк,
 Теперь я становлюсь богаче.

ИВАН-ДУРАК

*«Облетают последние маки»
 Н. Заболоцкий*

Пробуждается дачная роза.
 И душа не желает лажать.



Чем бежать впереди паровоза,
Лучше дома на печке лежать.

Не бегу за морковкою-славой,
Я – счастливый! – лежу на боку.
Жук ползёт по сосне величавой,
А сосна не ползёт по жуку.

ДИАЛОГ

– Ты должен помнить, что нетленны
Эвтерпы музыка и свет,
И раздвигать руками стены
Репейной суеты сует.

– Я должен, будто на галерах,
Пахать как жар(л)кий раб мошны,
Шурупить в хитрых схемах серых,
Забыв о схиме тишины.

– Ты должен помнить, что мамона
Тебя оставит в западне.
– Я это помню, и смущённо
Звучит мелодия во мне.

Звучит мелодия простая
Во глубине банкирских чаш.
А жизнь летит, года считая.
И свет её животворящ.

ПАМЯТИ

ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Земшар – опупевший старик –
Задумал себе харакири.
И шёпот, похожий на крик,
Гуляет по съёмной квартире.

Я тоже старик. Я умру.
И где-нибудь в дебрях рунета –
На сайте «Дурдом кочка ру» –
Похвалят меня как поэта.

Статью посвятят моему
Таланту и выпустят книжки.
А мне будет пофиг. К чему
Мне эти земные коврижки.

Я буду другой человек.
Я буду счастливо-смирненным,
Общаясь с Татьяною Бек
И, может быть, с Полем Верленом.

Мы будем – забывшие смерть –
Судачить о формуле дара.
И с облака будем смотреть
На будни родного земшара.

МЕМОУАРЫ

Помню, мы жили в общаге,
Пили какую-то дрянь,
Тощие, как доходяги,
Грызли, как гризли, тарань.
Помню, мы жили в подвале,
Помню, бандитскую прыть.
Помню, меня убивали
И не сумели убить.
Помню далёкие страны,
Помню немодный фокстрот.
Помню, кричали бакланы
Ночи и дни напролёт
Помню, я шёл по Бродвею.
Помню, пришёл на Луну.
Я ни о чём не жалею,
Я никого не кляну.

ВСЁ ПРАВИЛЬНО

Всё правильно – время, и возраст, и вялость,
Сковавшая руки и ноги, и мозг.
И леди, которая мной восхищалась,
Теперь сокрушается: «Как же ты мог?!»

Всё правильно – я чемпион раздолбаев,
Седой дауншифтер и антигерой;
Не стал знаменит, как поэт Улюкаев,
Сидящий, как Бродский, в темнице сырой.

Всё правильно – время прошло бестолково.
Но я, как известный предмет, не тону.
Всё правильно – тихо на даче в Быково.
Но я-то как раз и люблю тишину.

СРАВНЕНИЕ

Раньше был дефицит харчей.
А теперь дефицит рублей.

Раньше был дефицит одежды.
А теперь дефицит надежды.

Раньше я был молодой.
А теперь я седой.

ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО

Как хорошо отбой
 Дать суете сует,
 Как хорошо с тобой
 Быть много-много лет!

Как хорошо не брать,
 Как хорошо дарить,
 Как хорошо не врать,
 Как хорошо парить!

ПОЭТ

Ты поэт, значит будут не слабо
 Изгиляться, гнобя и травя.
 И какая-то склизкая жаба
 Скажет: «Квакай, болезный, как я!»

Улыбнись, оставайся собою.
 Бог читает твой благостный блог.
 Посему будь доволен судьбою
 И не думай, что ты одиноч.



ЮБИЛЕЙ

Дмитрий СУХАРЕВ, Москва



ИЗ ДНЕЙ ПОЭЗИИ

Хочу выразить признательность Геннадию Николаевичу Красникову за неожиданную идею отметить юбилей моей многолетней дружбы с «Днём поэзии». В самом деле, срок немалый, и участие в альманахе 1957 года было для меня значимым событием. До того мои стихи печатала только многотиражка «Московский университет», а у неё вряд ли было намного больше читателей, чем у нашей биофаковской стенгазеты.

Разъясняя свой замысел, Геннадий Николаевич написал: «Мне кажется, что было бы интересно, если бы вы рассказали, предваряя публикацию дебютного стихотворения, каково было в то время напечататься молодому поэту, кто помог вам попасть в тогдашнее сверхпрестижное издание, кто был главным редактором того «Дня поэзии»...»

Дело давнее, память пошаливает. С уверенностью скажу одно: в те времена напечататься было легче, чем в любое другое прошедшее или будущее время. Никогда не была у нас поэзия такой чтимой и любимой, как тогда – во второй половине пятидесятых. Счастливая пора захватила и шестидесятые. Сборники стихов мгновенно исчезали с полок книжных магазинов, несмотря на солидные тиражи. Толстые литературные журналы ежедневно получали сотни писем со стихами людей, желающих напечататься на их страницах. Мне довелось своими глазами видеть горы почтовых конвертов на редакционных столах «Юности» и «Нового мира», это называлось «самотёком». Свидетельствую, что весь этот неподъёмный самотёк внимательнейшим образом прочитывался сотрудниками отделов поэзии – как правило, образованными и талантливыми



молодыми литераторами. Все тогда надеялись наткнуться на восхитительного автора и немедленно его напечатать.

Идея Дня поэзии принадлежала старому поэту Владимиру Луговскому, он же придумал отмечать этот праздник выступлениями поэтов в книжных магазинах. Заранее объявлялось, кто в каком магазине будет читать стихи. Моими друзьями по литобъединению МГУ эти чтения воспринимались как праздник. Сохранилось пожелтевшее фото: стоим в магазине с Олегом Дмитриевым, слушаем. Кого? Мне кажется, это был Леонид Мартынов. Но не ручаюсь, память дырявая. Когда? Не раньше 1955 года – даты рождения праздников поэзии.

Тогда же, в 55-м, родился журнал «Юность». Он был весёлый, разноцветный, разительно отличался от других литературных журналов. Отделом поэзии заведовал поэт из фронтовиков – Николай Константинович Старшинов, и он же пришёл к нам в МГУ руководить литературным объединением. Со Старшиновым быстро подружились, даже перешли на «ты». Вот у него бы в «Юности» и печататься! Так оно и случилось, стихи университетских поэтов незамедлительно стали появляться на страницах популярного журнала. Но, увы, не мои. Мои стихи Коле не нравились. А чтобы я не чувствовал себя обиженным, он давал мне заработать переводами. Мои переводы Старшинов печатал.

«Ты, Митя, – говорил он, – чересчур интеллигентен». Сознать себя чересчур интеллигентным было некомфортно, поэтому лирический герой моих стихов той поры иногда старался выглядеть немного более почвенным, чем довелось быть автору. Так получилось и со стихотворением «Деревня Лужки», которым я дебютировал в «Дне поэзии». В реальной жизни Лужками называлась деревня под Серпуховом, которая дала кров моему курсу на летней практике по ботанике. Стихотворение до сих пор вызывает у меня некоторую неловкость, я никогда не включал его в свои сборники.

Вслед за альманахом «День поэзии» меня напечатал толстый журнал «Дружба народов». Его ноябрьский номер 1958 года особенно дорог тем, что в нём же впервые напечатался Олег Чухонцев, мой любимый поэт. Как мои стихи появились в том журнале, я не знаю; что касается альманаха, их туда принёс Лев Иванович Ошанин. Будучи руководителем поэтической секции московской писательской организации, он стал главным «мотором» реализации идеи Луговского. Подозреваю, что Ошанин и придумал ежегодник. Он делался силами секции, редколлегия регулярно менялась, каждая новая старалась перещеголять предыдущую. Первый альманах «День поэзии» увидел свет в 1956 году.

Тогда же Лев Иванович решительно оживил жизнь поэтической секции – стал приглашать на её собрания молодых стихотворцев, которые ещё не были членами Союза писателей. Вряд ли нас, таких, было много; вспомнить могу только Евгения Евтушенко. Мы читали свои стихи и, наряду со «взрослыми», участвовали в обсуждениях. «Взрослые», среди которых доминировали фронтовики, относились к нам крайне доброжелательно.

Стихи Евтушенко к тому времени уже широко печатались и набирали популярность среди молодёжи, так что внимание Ошанина к их автору имело простое объяснение. Со мной, не печатавшимся, получилось иначе – помог случай. Супруга Ошанина – писательница Людмила Борисовна Успенская, впечатлённая личностью академика Лысенко, задумала написать художественную прозу о бескомпромиссной борьбе прогрессивных советских биологов с носителями идей хромосомной наследственности. Чтобы войти в материал, Людмила Борисовна поступила на заочное отделение моего биофака. А он был тогда чемпионом МГУ по самодеятельности, гремел спектаклями, в которых, в частности, звучали песни на мои стихи. Слух о наших песнях дошёл от Людмилы Борисовны до Ошанина, от него – до его постоянного соавтора, композитора Аркадия Ильича Островского. Оба стали нам покровительствовать. Вот Ошанин и предложил моё стихотворение редколлегии «Дня поэзии».

А если бы Людмила Борисовна Успенская не задумала повесть о зловредных вейсманистах-морганистах – попали бы мои стихи в престижный «День поэзии»? В 1957 году – вряд ли. Но через несколько лет – пожалуй. В 1962 году меня выудили из самоτέка и напечатали в престижном «Новом мире», да и «Юность» стала благосклонней к моим стихам. Появились первые сборники. В 1989 году, на волне горбачёвской «перестройки», я даже побывал главным редактором очередного «Дня поэзии». Но это уже совсем другая история.

Дмитрий СУХАРЕВ

ДЕРЕВНЯ ЛУЖКИ

Мне родны твои зори – пригорки, вздремнувшие
тихо,
И скворечни твои, и цветок, что глядит пустяком.
Мне родны твои деды, хлебнувшие всякого лиха.
Мне родны твои бабки у старых и смутных икон.
Мне родны твои вдовы, веками не спавшие
вдоволь,

И девчонок твоих целомудренный, строгий устав,
Хоть глаза озорны и глядят горячо и бедово,
Хоть слова озорны на медовых и лёгких устах.

Умиление? – Нет. Любование? – Что ж! Это наше,
Это родина, Русь. Нам любовь не на срок занимать.
Часто мать мы зовём по-домашнему просто –
мамаша,

Но Россию всегда называем единственно – мать.
Матерей не находят, не ищут по странам
заморским,
Не берут, как невесту, по вкусу, по выбору в дом.
Матерей узнают по морщинам да пальцам
замёрзлым,

Заскорuzлым и ласковым, нас одевавшим с трудом.

Я не праздный турист. Есть большой
и неприбранный город,
Корпуса, факультет, диссертации, споры, статьи.
Там надежды мои. Там ребята у дерзких приборов.
Неудачи, удачи. Рабочие годы мои.
На любимой земле я стою беспокойно и гордо –
Вся до боли моя. Мне её не в альбоме хранить.
И пускай от прибора до робкого в кашке пригорка,
Неприметная в травах, бежит путеводная нить.

Я иду, я иду. Просто так – не поэт, не художник.
Проводи меня тишью – предутренней тишью овей.
Ноги росами встретить. А лицо я подставляю
под дождик –
Редкий-редкий и добрый, как письма твоих
сыновей.

Там, за далью озёр, за семью заливными лугами –
Я пройду их насквозь – там, в просторном
и спелом лесу
Я к земле припаду, я найду своё слово губами,
И дыханьем прочту, и его на губах унесу.

День поэзии 1957

ГОРОД

Опустилась на улицы тьма,
Тишина поглотила дома,
Ни звезды, ни руки, ни огня,
Только город и есть у меня,
Только темень, да каменный город,
Да над городом чёрный пролом –
Город-глыбина,
Тёплый, как голубь,
У которого клюв под крылом.

Цитадель.
Монумент.
Монолит.
Монолог парпетов и плит.
Песня дня, перепетая скупю,
Дня сгоревшего –
но
не дотла!
Есть и солнце,
покамест,
покуда
Есть в серёдке немного тепла!

Никуда мы бесследно не канем –
Будем длиться, как жар от камней.
Это опыт, накопленный камнем,
Переходит от камня ко мне.
Улетает в пролом слепота,
Суета покидает дурная,
И тогда дуновенье Дуная
Как награда касается рта.

День поэзии 1965

УЖИН

Строжайшая женщина в мире
Над ужином тихо колдует,
Пред нею картошка в мундире,
И соли немножко,
И лук.

Её непоседливый друг
На клубень с усердием дует.
Пред ним кожа на газете,
И хлеб на газете,
И соль.
И располагает к беседе
Накрытый клеёнкою стол.

А день за окном истлевает,
Он сумрачен и сыроват,
А лампа на них изливает



Свои шестьдесят, что ли, ватт,
А руки им греет картофель,
И дело идёт к темноте.
А чайник стоит на плите.

И чайника белая крышка
Танцует цыганочку, что ли,
Приплясывает – от излишка
Веселья, а может, и боли,
И пляс этот, пляс поневоле,
И окна холодные эти,
И этих картофелин дух
Так располагают к беседе –
И необязательно вслух.

День поэзии 1968

* * *

Бремя денег меня не томило,
Бремя славы меня обошло,
Вот и было мне просто и мило,
Вот и не было мне тяжело.

Что имел, то взрастил самолично,
Что купил, заработал трудом,
Вот и не было мне безразлично,
Что творится в душе и кругом.

Бремя связей мне рук не связало,
С лёгким сердцем и вольной душой
Я садился в метро у вокзала,
Ехал быстро и жил на большой.

И мои золотые потомки
Подрастут и простят старику,
Что спешил в человеческом потоке
Не за славой, а так – ко звонку.

Что нехитрые песни мурлыкал,
Что нечасто сорочку стирал,
Что порою со льстивой улыбкой
В проходной на вахтёра взирал.

День поэзии 1978

ВСПОМНИТЕ, РЕБЯТА

Вспомните, ребята, поколение людей
В кепках довоенного покроя.
Нас они любили,
За руку водили,
С ними мы скандалили порою.

И когда над ними грянул смертный гром,
Нам судьба иное начертала –
Нам, непризывному,
Нам, неприписному
Воинству окрестного квартала.

Сирые метели след позамели,
Все календари пооблетели,
Годы нашей жизни как составы пролетели –
Как же мы давно осиротели!

Вспомните, ребята,
Вспомните, ребята, –
Разве это выразить словами,
Как они стояли
У военкомата
С бритыми навечно головами.

Вспомним их сегодня всех до одного,
Вымостивших страшную дорогу.
Скоро, кроме нас, уже не будет никого,
Кто вместе с ними слышал первую тревогу.

И когда над ними грянул смертный гром,
Трубами районного оркестра,
Мы глотали звуки
Ярости и муки,
Чтоб хотя бы музыка воскресла.

Вспомните, ребята,
Вспомните, ребята, –
Это только мы видали с вами,
Как они шагали
От военкомата
С бритыми навечно головами.

День поэзии 1978

* * *

Дитя моё, голубушка моя,
Кого, каким словечком образумим?
Прости отца, коль можешь: это я
Повинен в том, что этот мир безумен.

За боль свою прости! Её унять
Я не могу единственно по лени,
Не может быть, чтоб я не смог понять
Твоей болезни суть, твоей мигрени.

Да, мир безумен, и болезнь проста.
А я – я был футбольною трибуной.
А ты спросила медленно: «А та –
Та мегатонна, кто её придумал?»

А я ответил: люди. «Но зачем?!»
 Зачем... Зачем я раб пустого звука?
 Зачем тщета моя важнее, чем
 Беда твоя, и боль твоя, и мука?

Зачем я так беспомощно стою
 С таким тупым бессилием во взгляде,
 Когда, вложивши голову свою
 В мою ладонь, ты просишь о пощаде?

День поэзии 1984

Светлана СЫРНЕВА, Киров



ВЕСНА В ЗИМНИКЕ

Владимиру Крупину

Нарождается праздник цветущей весны,
 и такое в природе творится!..
 Стоит солнцу взойти – и с любой стороны
 вылет пчёл на цветы состоится.

Потому что и яблони все зацвели,
 а куда от сирени деваться!
 И буравят листву золотые шмели,
 нагибая соцветья акаций.

Это школьный, старинный, раскидистый сад,
 это детства весенняя зона,
 где сияющий воздух до неба объят
 ровным гулом пчелиного звона.

Над бескрайней равниной побед и потерь
 голубые раскинуты сети.
 Вот и школьный звонок – и в открытую дверь
 на каникулы вырвутся дети.

На окне – позабытая кем-то тетрадь,
 жизни пройденной малая вежа.

Улетели! Умчались! Ничем не сдержать
 беззаботного детского смеха!
 И не веришь, что миг торжества преходящ,
 и забудешь, что праздник не вечен:
 стоит солнцу зайти – из берёзовых чащ
 вылет майских жуков обеспечен.

В темноте они мягко и густо скользят,
 зачарованный путь выбирая,
 чтобы рушиться вниз и стучаться, как град,
 о дощатую крышу сарая.

ЛИЛИЯ

Лилия белая в тёмном стакане,
 не узнавая, глядит со стола.
 Так же цвела она при Чингисхане,
 при Иоанне Предтече цвела.

Гибли империи, рушились страны,
 пепел вулканов сжигал письма,
 и стратотерпцев сменяли тираны –
 но никого не узнала она.

Жизнь, чем ты дальше, тем больше в могиле
 копится мёртвых – противу живых.
 Но не пристало ни грязи, ни пыли
 к белым одеждам красавиц слепых.

Страшен покой твоего караула,
 бледный излом и кромешная мгла!
 Белая лилия клюв разомкнула:
 белая лилия вновь расцвела.

Всё улетучилось, всё догорело,
 копяты в книжной пыли имена.
 Всех проводила, на всех посмотрела,
 но никого не узнала она.

ПОЭТ ФОМЕНКО

Свершилась поколений пересменка,
 круги дождя распались на воде.
 Мне вспоминается поэт Фоменко,
 который долго жил в Караганде.

Потом он в Шахматове пил жестоко,
 сторожки тёмной обживал углы.
 Он выходил во двор – и образ Блока
 ему являлся из вечерней мглы.

И Блок смотрел с безмолвной укоризной
 секунды три из пелены дождя



и растворялся в небе над Отчизной,
в её туман легко переходя.

Леса роняли жёлтое убранство,
клонились долу жёлтые цветы,
и было ливнем занято пространство,
в которое рискнул вернуться ты.

Срывай, поэт, листы бездомных лилий,
глуши вино в попутных поездах!
Нам негде жить: мы слишком долго жили
в Караганде и прочих городах.

Оглянешься на тёмное, пустое,
за что тебе полвека зачтено, –
и думаешь, что дальше жить не стоит.
Быть или не быть! – Теперь уж всё равно.

Не тяжело в бесчувствии глубоко
доматывать уже недолгий срок.
Твоя судьба могла бы стать уроком,
но никому не нужен твой урок.

НОЧЬ В ДОРОГЕ

Невесёлые люди вокзала,
пассажиры больших поездов!
Вас случайно судьба увязала,
предоставила временный кров.

Вас судьба собрала, как пожитки,
как разрозненный мелкий багаж,
и в бессмертном пергаментном свитке
не оставила перечень ваш.

Зябко, холодно вам, полусонным,
бесприютным игрушкам судьбы.
Рассуёт она вас по вагонам,
путевые поставит столбы.

Сном забыться скорее недужным
и качаться под грохот колёс,
чтоб не видеть, как маревом вьюжным
неизвестность летит под откос.

Сыпь, холодная полночь, огнями,
загибайся в крутой поворот!
Только вечность свистит над тенями
одиноко примкнувших сирот.

Словно в Лету навек окунулось
всё, что мимо проносится прочь.
И на целую жизнь растянулась
путевая безродная ночь.

ПОКЛАЖА

Скрипнет калиткою, хлопнет дверьми,
тихо к прощальному выйдет порогу.
Всё суетится: «И это возьми».
Полно, всего насовала в дорогу!

Что там, в кошёлке? Сметана, блины,
квас деревенский... Родная, куда мне!
Во поле выйду, не чуя вины –
молча оставлю поклажу на камне.

Душат любовью в родной стороне,
путами травы лежат под ногами,
тянутся ветви из сада ко мне,
не понимая, что пропасть меж нами.

Пой, соловей! Заливайся навзрыд,
нежный певец, замурованный в роще!
Видишь, пространство меж нами сквозит
все нестерпимей, больнее и жёстче.

Лёгкая лодка скользит по реке,
старую улицу ливни умыли.
Горько вы плакали там, вдалеке, –
стало быть, сладко меня позабыли.

Тенью луга затянулись на треть,
солнце садится, до завтра сгорая.
И хорошо мне на это смотреть
из моего отдалённого рая.

Владимир ТЕПЛЯКОВ, Москва



Красу не облетевшую – долой:
Картина холодов должна быть честной...
Стоящим с непокрытой головой
Пора предстать во всей красе древесной.

Конечно им, самим себе чужим,
Не по себе без шелеста и шума.
Но ветер ледяной неумолим,
И графика ноябрьская угрюма.

Его не воспевают – в нём живут;
Он был таким от сотворенья Рима...
Деревья обезлиственные льнут
Одно к другому – еле уловимо.

ДЕ-ФАКТО

То выбрит, весел – то угрюм
И щёк запущенных не бреешь.
Живёшь нескладно, наобум,
А к рифме точной тяготеешь.

Иначе скроенным – своим
Казаться склонен: не враги же!
Но, даже и напившись в дым,
Неблизкому не станешь ближе.

Тому, кто ест не даром хлеб,
Рифмующий – смешон и жалок;
Смешон и жалок, – и нелеп,
Как бомж с букетиком фиалок.

* * *

Всё более значительную тень
Отбрасывает тело. На плетень
Тень наводит – забросил песню эту...
Дожди мешают радоваться лету.
Всё меньше греет то, что пригублю.
И лишь тебя по-прежнему люблю, –
Хотя гляжу не прежними глазами
На то, что не закроешь облаками.
Мгновенье кликнешь, а всплывает всё...
И впору процитировать Басё.

НОЯБРЬ

Дни съёжились, как листья ноября.
Как парк пылал! Как роща пламенела!..
И грянул тот, кому до фонаря
Всё яркое – его пора приспела.

ТАЙНА

Не ведаем, гремящие ключами
Сердец, приотворённых сгоряча,
Какие дни, оставшись за плечами,
Навеют драгоценную печаль.

Такая вот, гуляющая в роще
Громоздкая частица бытия,
Постичь пытаюсь, действуя на ощупь,
Каким задуман кажущийся я?

Анатолий ТЕПЛЯШИН, Оренбург. обл.



ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ

Перелётные птицы не знают зимы:
только север подует прохладой,
только ветер зловеще засвищет из тьмы
над пустым, обезлюдившим садом –

покрываются крыши и мачты антенн
беспокойною стаей пернатых,

словно палуба брига, попавшего в плен,
возбуждённой толпою пиратов.

Гвалт базарный стоит все отлётные дни.
Ночь приглушит их крик беспардонный.
Только город погасит ночные огни –
снова кружатся птицы бездомно.

Что их ждёт? Те же крыши, поля и сады,
серебристые ленты излучин?
Улетают подальше от зимней беды,
от метели да стужи колючей.

Мы не первую зиму с тобой переждём.
Но с годами все глубже, все глуше
ты уходишь в себя
с первым хмурым дождём,
с первым ветром, пронзающим душу.

И печаль, и обиду в душе затая,
словно нет в мире солнечных пятен,
ты уходишь в себя, как в чужие края,
и язык мой тебе не понятен.

Перелётные птицы не знают зимы.
Им гнездовье родное не снится.
Перед стужей житейскою выстоим мы,
о, моя перелётная птица?

Ветер дует в окно, нагоняя тоску,
забирая тепло постепенно.
Сколько лет, сколько зим на коротком веку –
только осень одна неизменно.

Ты проснёшься однажды в предутренней мгле,
чёрным стержнем погоду отметишь...
Сколько лет, сколько зим пролетит на земле,
только осень пройдёт – не заметишь.

Сразу станет и тихо, и пусто вокруг, солнце встанет,
как будто из дыма.
Подступает декабрь...
Ты готова, мой друг,
зимовать бесконечную зиму?

МОЛЧИ

Молчи – за дружеским застольем
и на печальном randevu.
Молчи – когда пронзают болью,
тиранят душу, сердце рвут.
Молчи – и в счастье, и в несчастье,
обидных слов не замечай.
Скрывай душевное ненастье

и радость тихую скрывай.
Когда все брошено на карту,
молчанье выставляй, как щит.
Кричит младенец перед стартом,
а старость мудрая – молчит.
Не сохранить простые чувства,
когда примешаны слова.
Молчанье – высшее искусство,
в миру привитое едва.
И если станет слишком смутно
от жизни, принятой всерьёз, –
молчи, чтоб слабостью минутной
не замутишь хрустальных слёз.

Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН, Москва



ДОНСКАЯ СТЕПЬ

1
Донская степь.
Выгуливают совы
Ночную темь,
С коня лишь обозришь,
Как радуга
цветастою
подковой
Пригвождена
над косяками крыш.
Где на лимане атаманят ветры,
Плывёт ладья на белых парусах,
И звезды проступают
через вербы
Крупитчато,
как соль из-под рубаш!
Я чист перед тобою, степь!
Завидно
Поёт в полыни лунный коростель...

Такая ширь,
 что Человека видно,
 Наверное,
 за тридевять земель!..

2

Донская степь! В тебе душа голубила
 Высокие и нежные слова...
 Когда молчит мужчина, значит любит:
 У сердца есть особые права!

Не надо клятвы! Вот моя рука –
 В труде упорна и в бою безжалостна...
 И, если подведу тебя, пожалуйста,
 Отмерь два метра мне солончака!..

САМОКАТ

Два подшипника на досточке –
 Это будет самокат!
 Я не ел – катался досыта,
 Презирая листопад!
 Очарован дальней далью,
 Мчался я во весь опор,
 И служил для ног педалью
 Асфальтированный двор...
 Впереди закат
 В красной майке...
 Самокат, самокат –
 Самодельной марки!..
 Я летел по небу дерзко,
 Весь забрызган синевою,
 Словно
 убежал
 из детства,
 Опалённого войной!..
 Мама чистит миски медные,
 Вешает ремень на крюк...
 Колесо велосипедное
 Мастерит в углу паук!..

КОНИ

У самой последней ограды,
 Где спят до зари облака,
 Шли кони гривастые рядом –
 Лоснились крутые бока.
 Полночные птицы вещали
 Какие-то песни без слов...
 Над чёрной травой нависали,
 Как месяцы, восемь подков!

И, словно каждому,
 Отвесила верба поклон.
 Шли кони.
 Красиво и важно,
 Ничей не нарушив покой.
 Среди васильков и полыни
 Степная тянулась верста.
 Шли кони.
 Шли так, словно плыли,
 Могуче тела распластав.
 Минуя курганы волнистые,
 Исчезли,
 растаяв как дым...
 Вы слышите, кони?
 Вернитесь,
 В обиду мы вас не дадим!..
 Курень же смотрел молчаливо
 Сквозь пыльную мглу миража...

Шли кони.
 Вослед волочилась
 Тропы
 деревенской
 вожжа.

* * *

Мама моя,
 Анаид Мкртычевна! –
 Холм оседает
 В степной стороне...

Вряд ли твой след
 На Кавказе отыщется,
 Вот отчего
 Мне печально вдвойне...

Криво свистят –
 Как в ночи ятаганы
 Ветры,
 По колкой гуляя стерне.

Как вы сюда добежали,
 Армяне?
 Холм оседает
 В донской стороне...

В поисках крова –
 Голодные дрогли
 (Память,
 Она не сгорит на огне),

Дарья ТИШАКОВА, Оренбург



ИНСТАГРАМ

Мы пропустили свою жизнь
 Через фотошоп,
 А потом –
 Через фильтры в инстаграме.
 И так она показалась нам лучше:
 Успешнее, роскошнее.
 Но – неверно выставленный кадр –
 И в него попал
 Бардак твоей комнаты
 И старый ремонт, оставшийся от бабушки:
 Другого не нашли.
 И убраться некогда –
 Надо отправлять новые фото
 В инстаграм.

* * *

Последнее поколение
 Из Советского Союза –
 Мы надежда этого дня:
 Нас ещё много
 И мы окончили вузы.
 Образованных не так-то просто
 Разложить,
 Растлить
 И заманить тёртыми джинсами,
 Которые уже давно слишком малы.

* * *

Боюсь подойти
 К зеркалу
 И увидеть своё усталое лицо
 И натруженные глаза.

Я потеряла свое «я» –
 Свой телефон.
 И не знаю, кто ответит
 Мне вместо меня.

Владимир УРУСОВ, Москва



* * *

За любовь или ненависть эту,
 или зависть, не всё ли равно,
 я по белому русскому свету
 расплескал золотое вино.
 Не судите меня, не судите,
 темень глаз твоих – преданный знак.
 Был я тенью под солнцем в зените
 среди самых случайных бродяг.
 Не с того ли в плену и на воле
 ты такая одна как страна,
 где лишь мёртвый не чувствует боли
 и не пьёт золотого вина.

* * *

Откуда я взялся, откуда
 в той жёлтой пустыне, куда
 коричневого верблюда
 вела золотая звезда.

За торбы с несметным товаром
 пятак положите на горб –
 мы пот проливали недаром
 в песчаных артериях троп.

И даже успели влюбиться!
 Слышал про такую Кармен,
 Завалишь на плед верблюдицу –
 а ей подавай гобелен...

А немцы и те же французы –
им лишь бы сгонять в два конца.
Груз скинут, а там одни бусы,
Теперь у них мавр за отца.

Но есть ещё чёрный оазис,
мне люди сказали о нём.
Не там ли, в камнях спотыкаясь,
мы яд свой допьём и споём...

Откуда взялись мы, откуда
в той жёлтой пустыне, куда
коричневого верблюда
ведёт золотая звезда.

* * *

Море звёзд и трава по колено.
От огней городских в стороне,
Русь нагую выводит из плена
тень бродяги на белом коне.

Облака отбивают поклоны
вдоль по левому краю земли,
а на правом в просветах погони
и костры золотые вдали.

И на взмах ледяной рукавицы
у высоких полей за рекой
соколиная хватка Жар-птицы
душам дарит крылатый покой...

Из глубин безымянного камня,
если тайна распутья проста –
пусть пробьётся живое дыханье
в ослепительной бездне креста!

* * *

Чёрный дом до сих пор не снесли,
только ветер взлохматил стропила,
брёвна мощные мхом поросли
да крапива крыльцо утопила.

Дверь на запад, окно на восток.
Гул войны наплывает негромко,
словно пуля вонзилась в висок –
подкосила его похоронка.

И стоит он в убогом краю,
ждёт хозяина, хлопает дверью.
Ночь в деревне – как вечность в раю,
свет увижу – и в Бога поверю.

И в потоке стремительных дней
мы отметим хорошую дату.
В мире тайном печальных теней
послужи дорогому солдату.

* * *

Стоит, как призрак, за спиной,
за пеленой тумана
мой друг, который был со мной
в горах Афганистана.

Мы снова едем на броню
в клубах горячей пыли
среди своих в чужой стране,
где нас давно забыли.

Алеет утренний восток
не далеко, не близко –
звезда восходит сквозь песок
на стебле обелиска.

И слышен мерный гул колонн,
как будто все вернулись
под сенью выцветших знамён
во мглу российских улиц.

А ты остался навсегда
в пустынной трын-травнице,
где плещет мёртвая вода
в глаза твои, дружище.

И облака плывут вдали
крылатыми тенями.
Сквозь холод каменной земли
смотри, что стало с нами...

* * *

На стакане чёрный ломоть хлеба.
Миновало всё, чему не быть.
За отца, за Верстакова Глеба
с младшим братом водку буду пить.

И опять мерещится палата
и печальный блеск в глазах отца.
Выпьем за танкиста, за солдата,
он за жизнь боролся до конца.

Смерть хитра, язык её раздвоен –
в сердце брешь нашла, а не в броню.
Всё равно он пал как русский воин,
выпьем – на войне как на войне...

Слёзы или дождь – никто не знает.
Тает хлеба чёрного ломоть,
водка из стакана исчезает.
Брат по крови! В небе наша плоть.

* * *

Женщина с весёлыми глазами,
я тебя любил и не любил,
жил в тебе и смехом и слезами
и, целуя в губы, счастье пил.

Я не знаю, нежность или жалость
власть имела, верх брала над ней.
В неизбежность мимо нас умчалась
золотая стая лёгких дней.

У хмельного счастья вкус солёный,
всё пройдёт, тебе я говорю.
Я и сам из осени зелёной,
как на солнце, в прошлое смотрю.

Михаил ФЕДОСЕЕНКОВ, Тюмень



* * *

Расходилась твердь, сходилась...
Набесилась буря всласть.
Вновь лучей струится милость,
Синь по лужам разлилась.

Утвердились тишь да радость.
Упразднились гром и жуть.
Всю сибирость и уралость
Ажно хочется вдохнуть!

* * *

Забрала любовь-чумиха,
Жутким жаром объяла –
Жил себе, не ведал лиха,
А теперь гори дотла!

Может, всё, зачем рождён ты,
В этом вызове судьбы
И на милости девчонки
Из ставеньчатой избы?!

Провожал её всё лето
Звездопадною порой –
Но совсем не значит это,
Что ты грёз её герой...

* * *

Раннее утро,
День выходной.
С яблонь, черёмух –
Наперебой:

Чиф-чиф-чиффычи,
Чиф-чиф-чисслик,
Слик-слик-чиффычи, –
Звучит заклик.

Радости сколько
И простодушья,
Благословенна
Песня пичужья!

РАЗБИТНОЙ

Бугульма, Елабуга,
Тихвин, Городец.
Выходил ненадолго –
Не нашёл крылец.

Заплутал бурьянами
Да болотным мхом,
Облаками рдяными
Просквозил верхом.

Поднырнул под радугу
И видал, стервец,
Бугульму, Елабугу,
Тихвин, Городец!

* * *

Доживаю, но жизнь не клянуп,
И когда просыпаюсь до свету,
Вспоминаю родную страну,
Не беда, что её уже нету.

Нету многого, нет ничего,
Из того, что люблю я доселе.
Над Москвою-рекой, над Невой,
Над Амуром и над Енисеем,

Заметая Урал и Кавказ,
По Днепру, по Днестру и по Бугу
Только ветер, не помнящий нас,
Завивает воронками вьюгу.

Мир, которым я был опьянён,
С кем я дрался и с кем обнимался,
Как же это случилось, что он
Вдруг ушёе, а меня не дождался.

Но к кому бы он там ни спешил,
Я вослед ему камень не брошу.
Пусть в пустоты отбитой души
Сквозняком задувает порошу.

Пусть клубится она по углам,
Пусть струится от окон до двери.
Я ж не зря говорил себе сам,
Что сберечь можно только потери.

Я ж не зря повторяю сейчас,
Поднимая тяжёлые веки,
Что лишь то не изменится в нас,
Чего больше не будет вовеки.

Что, казалось бы, истреблено,
Среди общего смрада и блуда,
А сокрылось, как Китеж, на дно,
Чтобы звоном тревожить оттуда.

* * *

Было время, что не было времени,
Будет время, его и не будет.
О себе, об отчизне, о племени,
Отряхнувшись, душа позабудет.
И пространство, воронкою скручено,
Сдавип в атом светила с планетами.
И вопросы, что так нас измучили,
Наконец-то сольются с ответами.

О ЦВЕТАХ, О БАБОЧКАХ, О ПЧЁЛАХ

Не о городах и не о сёлах,
Не о том, что прежде и потом.
О цветах, о бабочках, о пчёлах,
Больше ни о ком.

Не о мной измученной подруге,
Не о друге и не об отце.
О цветах, проснувшихся в испуге,
С крупными слезами на лице.

Не о маме с бабушкой, лежащих
С вечною печатью на устах.
О беспечных бабочках, сидящих
На крестах, оградах и цветах.

Не о людях, живших и живущих,
Пусть другой слова о них найдёт.
О бесстрашных пчёлах, берегущих
Смерть цветов, сгустившуюся в мёд.

Не о городах и не о сёлах,
Не о том, что прежде и потом.
О цветах, о бабочках, о пчёлах,
Больше ни о ком.



Олег ХЛЕБНИКОВ, Москва



* * *

Чем времени жизни становится меньше,
тем в сутках часов всё больше.
И это всё больше касается женщин –
они и живут подольше.

А нас, мужиков, касается краем
страны, к сыновьям нерадушной.
И в нужность, и в важность мы только играем,
чтоб ночью бодаться с подушкой.

* * *

Становятся всё важней простые отношенья –
с продавщицами, барменами, попутчиками
в электричке.
Вот улыбнутся – и славно, как будто мне вышло
прощенье
за вину перед близкими, умножаемую по привычке.

Становится всё важней телевизор к ночи
(и неважно, на что глазеть, не умолк бы только),
колыбельные мне поёт, усыпляет очень
ненадолго.

* * *

Я хотел бы родиться в Смоленске и Ленинграде,
в Ярославле, Орле, Иркутске – чтоб быть земляком
ростовчанам, воронежцам – Родине, Господа ради!
Чтобы знала меня, вспоминала за то, что знаком.

Я уже не готов достучаться своими словами
до чужих и угрюмых, не верящих ничему.
А вот если б считались мы все земляками,
с одного свята места всем миром роптали Ему!..

отцу

Из шеи моей выдувал клеща,
никогда не давал леща,
зато на мой крючок пескаря
насаживал, когда я
был ещё слишком мал,
чтоб сам хоть что-то поймал.

С тех пор уже никогда не ловил
ни пескарей, ни клещей,
а на крючке многократно был
в силу порядка вещей.

И никого больше рядом нет,
кто мог бы леща – но не дал.
И стал мне темней этот белый свет,
темнее, чем ожидал.

* * *

Чайки белые, как самолёты,
над Самаринскими прудками...
Все без Бога-отца сироты,
а Его не видать веками.

Только чайки – такие ж точно
на погосте, где спит отец мой...

Что осталось ещё
от детства?
Самолёты и днём, и ночью –
так что в небо не наглядеться.

* * *

Анне Саед-Шах

Я хочу тебя прежнюю, бывшую.
Я мечтаю вернуться к тебе
той, которой уж нет – вижу, слышу я –
ни в житье моём, ни в бытье.

Как жестоко всё это устроено:
мука-ревность взамен любви!
Груды спелые, ноги стройные
были-сплыли зови не зови.

Только дело не столько в плоти, а
в разговорах сутра допоздна...
Как честна была глупая Лотова
обернувшаяся жена.

* * *

Только когда начинается война,
узнаешь про некоторые города
и населённые пункты.
Всё меньше населённые. Но страна
запоминает их навсегда
или – хотя бы на секунды.

* * *

«Жизнь чудовищна, – так Бродский говорил. –
И друг другу помогать давайте...»
С ним согласен я по мере сил –
слабнущих, смягчающих, как в вате.

«Что пришло процветать и умереть, –
пел Есенин, – то благословенно».
Ну и ты, конечно, имярек,
умирающий ежемгновенно.

Пушкин причитал: «Предполагаем
жить, да вот, глядишь, как раз помрём».
Но – «вдвоём», тут главное – «вдвоём».
Перед краем и потом – за краем...

* * *

Соседям

Завидую жизни чужой,
вот этим завидую, им –
на то, что друг к другу с душой
и телом ещё молодым.

Обидно, что жизнь и судьба
столкнулись совсем невпопад.
И тут пожалеть бы себя,
да знаю, что сам виноват.

* * *

Дикорастущая Луна,
а тело – на ущерб...
Но люди благостны. Страна
чудна. Создатель щедр.

Да звёзд всё меньше над землёй
при вот такой Луне
и те присыпаны золой
и не мигают мне.

О чём Создателя просить?
Чего желаю сам? –
когда уже по горло сыт
текущим по усам.

Владимир ХОХЛЕВ, Санкт-Петербург



ПОЭЗИЯ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Отрывок)

I

Поэтический сон... Рифмы-крыши от сна
встрепенулись,
разложили проспекты листы городских площадей.
Шпили башен в чернила Невы, не спеша, окунулись...
и стихи потекли – про несчастья и счастья людей.

Их читали мосты, сокрушаясь и радуясь вместе
с куполами церквей, отражающих внутренний свет.
Летний сад рассказал своей Зимней канавке-невесте
о прекрасной любви... по прошествии тысячи лет.

Зазвонили трамваи, с ночными собаками споря,
кони вздыбились, им не впервой отбиваться от рук.
Зашептал Эрмитаж, строкам слышимым истоиво
вторя,
завучал над садами высокий таинственный звук.

Бриз балтийский его, не сумев заглушить, увеличил...
до небесных высот вознеся, чтобы слышали все.
Поэтический сон Петербург воспевал и величил,
над землёю по взлётной стараясь взлететь полосе.

II

Не взлетел, опоздал... Амальгама зеркальных
каналов
удержала в себе отражения будущих встреч.



Завязалась игра между ритмами строгих порталов
и катренов стихов, предназначенных время
стеречь.

Заигрались поэзией мытые ливнями плиты
мостовых, в перекрёстках меняющих векторы снов.
Парапетов и набережных молодые граниты
собрались в ожидании метко расставленных слов.

Чистота вдохновения пересеклась с перспективой
не уставшего Невского всех выводить на простор
главной площади города, необъяснимо красивой,
разрешающей давний – барокко и классики – спор.

Разлетелись огромною стаей поэзии ленты
голубей... На карнизах расселись, вдали от земли.
Поэтический сон, из реальности выбрав моменты
Петербург с невозможным смешал...
и растаял вдали.

III

Чтобы где-то соткаться из нитей смещённых
событий,
побывав от земли на седьмом временном этаже...
Петербург не родился бы без отвлечённых наитий.
Вот родился... и вырос, и молча стареет уже.

Он как опытный мэтр зарифмует дожди с облаками,
если нужно добавит в строку ассонансной воды.
Он на стрелке Васильевского, обращёнными к небу
руками
оставляет Ростральных колонн световые следы.

Здесь кривая подковы, спасающей воду от суши
спит и видит во сне наводнений подводную суть.
Два гранитных мяча, сохранив обречённые души,
покорили Неву, чтобы вдруг на волне не уснуть.

Поэтический сон, пробежав полукругом газона,
словно хрупкая девушка утром в спортивном трико,
подвязал на трезубец Нептуна, у Биржи фронтона
ожидания вечной любви, унесённые сном далеко.

IV

Два не могут египетских сфинкса, давно полюбив,
отвести в сиените застывшие намертво взгляды.
Прикоснулись к грифонам, традиции императив
исполняя, влюблённые чувств испытав перепады.

Он пришёл проводить угловатые льдины в века,
ледоход на Неве – календарного пика примета.
Под мостом исчезали прохладного дня облака,
Петербург открывался и ждал не прохладного лета.

Стометровый собор, опрокинутый вниз головой
под фасады Английской, смущённые дерзостью века,
заглянул... покачал на волне золотою главой
и уснул среди дня, позабыв про дела человека.

Проносились машины, художества силясь разъять,
под Минервой на куполе грелась в искусстве весна.
Бородатый художник с этюдником хост разлучать
передумал внезапно... когда появилась Она.

V

Постояла на каменной пристани Невских ворот,
непохожих совсем на Петровские арку-ворота.
По ступеням спустилась, прошла под стеной поворот
бастиона Нарышкина, друга Петра...
Начиналась суббота.

Поэтический сон длился долго – до пушки, до дня.
Просыпались, желая уснуть, крепостные
фракталы...

Пушка бахнула ровно в двенадцать, добавив огня
в неактивную жизнь, испугав городские кварталы.

И взметнулся над крепостью чаек пронзительный
крик,
и волна понеслась между небом и рябью воды.
По пустынному пляжу навстречу красивый старик
к Ней шагал, оставляя на белом песке
запяты-следы.

Разминулись... Она засмотрелась на парусный бот,
огигающий стены под гюйсом крестовым Петра.
Он узнал... приоткрыл в изумлении радостном рот,
чтобы что-то сказать... Гюйс трепали морские ветра.

VI

Что птицы пьют зимой, когда вода замёрзла?
Об этом думал мокрый Он, под зонт, не прячась
от воды.

Над городом весна с утра туч недра чёрные
развёрзла
и поливала, не скупясь, проспекты, площади, сады.

Лес ионических колонн в продольных, мелких
каннелюрах
под музыку небесных струй играл в линейный
водопад.

Кутузов и Барклай-де-Толли, навек застывшие
в скульптурах,
отечество своё хранили, не жаждали больших
наград.

Собор Казанский обхватил раскрытой в небо
 колоннадой
 огромную пространства часть, в слезах заснувшую
 вчера.
 Дом Зингера с большим орлом, с прозрачной
 башнею-громадой
 был озадачен лишь одним – продажей книжного
 добра.
 Он озабоченно искал знакомый образ на канале,
 заглядывал в метро, в такси, в дом Зингера с угла
 зашёл.
 Хотел Её увидеть вновь – на улице, в торговом зале...
 Ходил-бродил, искал-грустил... Надеялся...
 Но не нашёл.

VII

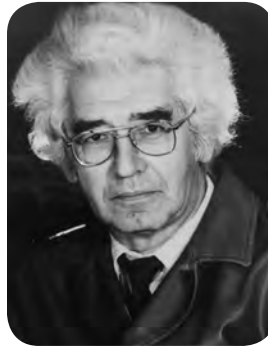
БКЗ, упразднив разнесли, как недавно «Россию»
 в Москве,
 город истово ждал перемен, возрождения
 Греческой церкви.
 Он по Лиговке медленно шёл, предаваясь
 весенней тоске,
 фонари у вокзала на Знаменской медленно меркли.

Наступающий день не сулил исполнений мечты,
 у метро беззаботные слёзно просили на грех.
 Облысевшая площадь, устав от машин и людской
 суеты,
 не хотела Восстания зваться и с утра обижалась
 на всех.

Ленинградский в Москве и Московский вокзал –
 близнецы по отцу,
 между – кроме железной дороги – секретная связь.
 Не вождя – оказалось – Петра бюст Московскому
 больше к лицу...
 Гомонили таксисты, приезжих везти торопясь,

о прибытии голос, железом скрипя, объявил,
 сигаретный окурок с искрой полетел из окна.
 Он ещё никогда никого – как Её – не любил,
 не Её ждал сегодня... а вышла навстречу Она.

Александр ЦИРЛИНСОН, Новотроицк,
 Оренбургская обл.



СТУПЕНИ

И занял я очередь к Богу,
 Как только увидел свет.
 И Бог осветил дорогу,
 Названья, которой нет.

Одни называют – верой,
 Другие зовут – судьбой,
 Но нет в этом мире меры,
 Чтоб жизнь измерять собой.

А в небо ведут ступени
 Под Божию благодать.
 Ступени усердья, и лени,
 Но сроков – не угадать.

В сомнениях и печали,
 Под яркий звёздный салют,
 И днями ведут, и ночами,
 С мгновением каждым – ведут!

И сколько ещё ступеней,
 Пройти надо в те края,
 Чтоб выдохнуть на последней:
 Господи – это я...

МИГ!

Всё, что сердце любило –
 Облачком над головой.
 Господи, что это было?
 Что это было со мной?



Тучи прошли стороною
Ветры легли вдоль дорог.
Кто это надо мною?
Бог

* * *

Я приобрёл седую мудрость лет.
Г. К.

Моя вечерняя заря
слилась с рассветом.
Жизнь промелькнула.
Но не зря
на свете этом
я жил. И видел наяву
снега и грозы.
Я видел солнце и траву.
Я видел звёзды.
И я творил.
И я любил.
И ненавидел.
И Господа благодарил
за всё, что видел.
Тускней и мягче свет в глаза.
И понемногу
душа отходит в небеса.
Уходит к Богу.
И звон ручья, и птичий гай
всё тише... тише...
Душа летит в незримый край
всё выше... выше...

Маргарита ЧЕКУНОВА, Тюмень



* * *

Ветер, неженка, мистик, истерик, ироник,
То взлетит на карниз, то скамейку уронит.
С оголтелою чуткостью тайных потоков
Узнаёт, что гоним с северо-востоков.

От камней и до звёзд – мир ревущий и синий,
Как плывущий мираж многолюдной пустыни.
Руки ветра простёрты, черты его строги.
– Я с тобой, если вдруг ты собьёшься с дороги.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ В ЯЛУТОРОВСКЕ

День превратился в вечер,
Роща – в застывший свод.
Гулкой сердитой речью
Катится снегоход.

Месяц – блестящий шпунтик
В чёрной небесной стене.
Вьётся поземка-путник
Змейкой на белизне.

Пляшет метель – сражённый,
Кем-то забытый друг.
Словно преображенный
В то, что царит вокруг.

Наскоро заключенный
Этот покой стеречь,
Сказочный, отречённый
И позабывший речь,

Ставший навеки днями
Этого городка.
Белый острог с огнями
Сладостно спит, пока

В крышах – сусальный, игольный
Трепет, как ксилофон,
А за мостом – колокольный
Всё отразивший звон.

ПАСТОРАЛЬ-ФАНТАЗИЯ

Где солнцем залита опушка,
Где льётся дождь и зреет колос,
В потоке трав стоит пастушка,
И у неё – мой взгляд и голос.

В её руках – полынь с левкоем,
В глазах – закаты, в косах – ленты.
Там камень камню тихим боем
Расскажет серые легенды,

Где василёк и ветер в склоне,
Где тополь с чёрными глазами,
Алхимик в тёмном балахоне,
В рубинах солнца вечер замер.

Там небо стало родниками,
Притоки стали небесами...
Сплети лазурными строками
Свой шар с иными полюсами!

ИЗ ДЕТСТВА

Пересуды, колкости и сплетни,
Сотни взрослых, спутанных химер.
Пусть шептали мне, десятилетней:
«Жанна д'Арк девчонке не пример».

Я молчала, но среди чеканных,
Школьных правил мой меридиан
Простирался вверх, и снилась Жанна,
Что брала с войсками Орлеан.

Помню ёлку: между фей жеманных,
Арлекинов, всадников и книг,
Ангелок в доспехах – ангел-Жанна
Светлой тайной в сердце мне проник.

Евгений ЧЕПУРНЫХ, Самара



* * *

Он неслышно и нечётко
Путь свершает до земли.
У него моя походка,
У него глаза – мои.

Снег идёт
В глухую осень,
Перемешанный с золой.
Как Последний Письмоносец
Между небом и землёй.

* * *

Боли в сердце – ночная забава,
Потому и резвится оно.
Почему начинается справа,
Если слева оно быть должно?

Почему начинаются возле?
Или есть в этом грубый секрет?
Только после поймёшь,
Только после,
Что в тебе его, может, и нет.

* * *

Хоть и странным рождённое корнем,
В небесах, в полуявь взметено,
Не должно моё сердце быть чёрным,
Видит Бог, вижу сам: не должно.

Сердце с церковью очень похожи.
Их боишься,



Но плачешь, любя.
А иначе,
Зачем бы я, Боже,
Две минуты глядел на Тебя.

* * *

Не хватает всплеска огня
В многострочье.
Не хватает каждого дня,
Каждой ночи,

Трёх снежинок в большом снегу,
Что не тает,
Двух берёзок на берегу
Не хватает.

Не хватает блеска звезды.
Так бывает:
Где ни сунешься,
А везде –
Не хватает.

Так решила ни для чего
Злая сила.
Было б странно, если б всего
Всем хватило.

Мысль летит и летит стрела
До рассвета.
И уж так ли она и зла,
Сила эта?

* * *

Твой голос мне слушать досадно.
Сними несгораемый плащ.
Не плачь о России, Кассандра.
О Трое разрушенной плачь.

О Трое, об озере праха,
Что плещется ночью в окно...
О Трое...
А что о ней плакать?
Её уже нету давно.

В саду задымлённом и горьком
Упал, обронивший копье,
Сатир с перерезанным горлом,
Последний защитник её.

И трубы взревели досадно,
И смолкли. И факел погас.

О чём же ты плачешь, Кассандра?
Ужели и вправду о нас?

О русском глухом безразличьи,
О тысяче путанных пут.
И вновь в тебя пальцами тычут,
И дурочкой бедной зовут.

Не плачь.
Не отмеривай сроки
И не хорони сгоряча.
Свои у России пророки,
Своя на окошке свеча.

И даже качнувшись от боли
В кругу смертоносных огней,
Она никому не позволит
Заранее плакать о Ней.

* * *

Ты улетаешь сегодня
И на прощанье молчишь.
Ты из зимы новогодней
В вечное небо спешишь.

Нудное всё же страданье –
Долгий прощальный привет.
Надо б сказать «до свиданья»,
Только вот голоса нет.

Всё соразмерно в природе.
– Да, – говорю себе, – брат,
Ангелы в отпуск не ходят,
Ангелы в отпуск летят.

Валерий ЧЕРКЕСОВ, Белгород



НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

Правда в том, что Непрядва была,
и дружины здесь насмерть стояли,
погибали и воскресали.
И стрекохут опять до утра
на лужайке былинной цикады.
Ивы в омуте отражаются.
И небесное войско сражается,
чтоб потомки не знали неправды.

* * *

А в распадке – голубица,
и на мари – голубица.
Собираю, загребаю
ягодки ладошками...
Это детство снится, снится...
Тяжелеют на ресницах,
щиплют веки нестерпимо
слёзы, вновь непрошенные.

Неужели было это?
Щедро раздавало лето
пацанве послевоенной
все свои богатства
поровну – и не монеты,
а закаты и рассветы,
и надежду, что однажды
папы возвратятся.

ВЫСОКАЯ ПОЭЗИЯ

Аборигены русских деревень
нынче не носят резиновые сапоги,
а щеголяют в китайских «adidasax»,
но месят всё ту же грязь.

ЧЕРНОБЫЛЕЦ

Соседу известно доподлинно,
что мирный атом – враньё,
поскольку любимая Родина
в Чернобыль послала его.
Теперь он кровью отхаркивает
почти уж тридцать лет,
а в общем, весёлый характером,
гутарит, мол, смерти-то нет:
врачи обещали, но, видимо,
Бог по-иному решил,
не хочет Он, чтоб небожителем
раб облучённый был –
ещё заразит ненароком
Ангелов, и, может быть,
тогда, как героям убогим,
гробовые им станут платить...

А это стране накладно.

НА РОДИНЕ ЕСЕНИНА

Занимается утро.
Опарой заря поднимается
За рекой, по-над лесом.
На взгорке былинный костёр
То померкнет, то снова, воскреснув, ожив,
разгорается,
И светлеет, яснее прохладный осенний простор.

О как ломит виски!
Тишина их сдавила до боли.
И слезятся глаза, если долго смотреть на огонь,
На бескрайнее, к небу всходящее синее поле,
Где без всадника скачет есенинский розовый конь.

Наталья ЧИСТЯКОВА (Мазалецкая),
Балашиха, Московская обл.



НЕБО, ЗЕМЛЯ И ЛЮБОВЬ

Вот он – за елями скит.
И нет ничего наносного.
Птица в лазури летит –
Крестит вселенную снова.
Все навороты веков –
Столько немислимых ран!
Небо, земля и любовь,
А остальное – обман.

* * *

И правый и неправый,
Идущий стороной.
Немножечко лукавый,
Немножечко смешной.

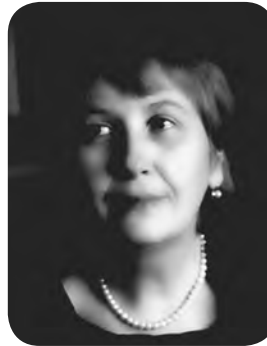
Мой океан безбрежный,
Мой ветер неземной,
Мой нежный, нежный, нежный,
Как люб ты мне, шальной!

ПАСХА

А вчера – ещё не пели,
Плащаницей пеленали.
В небеса с мольбой глядели,
Верой темь отодвигали.

А сегодня – Воскресенье!
И поют земля и небо
Песню пахоты весенней
О дождях и ливнях хлеба.

Светлана ЧУЛКОВА, Москва



* * *

Я выключаю всю страну,
я изучаю тишину.
Шуршанье капель по окну
обозначает тишину.

Волненье трав и птицы крик –
то есть молчания язык.
Ни дождь, ни гром не нарочит:
шумит природа, но молчит.

Все запахи земли молчат
в саду, где люди говорят...

* * *

Это очень похоже на правду:
Вся деревня – в пятнадцать домов,
Что под звёздами тихо темнеют
Как пятнадцать волшебных холмов.

От сарая и до сарая
Над дорогою – влага сырая.
Это место вселенских основ.
Спят пятнадцать доёных коров.

Ночь светла как торжественный случай.
И сновал, притворяясь травой,
Вперевалочку ёжик колючий.
Что-то думал своей головой.

Вздых земли...
И собаки тоскливо залают...
Деревенский пропойца не знает:
Там вдали,
в духоте городских пирамид
мировое правительство спит...

* * *

Желтеет поле, желтеет лес:
все жёлтое – до голубых небес!

Я слышу гул дождливый вдалеке
и птиц на поднебесном языке.

Пытаюсь слов юродивую рать
как яблоки гнилые перебрать.

Что мудрствовать лукаво: всё равно
всё сказано, всё создано давно...

* * *

Дворник – фартук из звёзд –
он мечтатель и сноб,
он забыл про сосульки на крыше:
под окном моим – одноэтажный сугроб,
а душа – не светлей и не выше.

Я устала от стёба и злых новостей,
скоро снова петардою жажнут:
мне осталось лишь ангелов от чертей
отделить, словно в партии шахмат.

Чтоб узнать, кто есть кто,
нужно встать в полный рост,
пусть меня не сочтут виноватой:
снова дворник надел
старый фартук из звёзд,
белый прах разгребая лопатой...

РОЖДЕСТВО

Эта девочка на стуле возле ёлки,
Словно девочка на шаре, и опять
Нужно сонно улыбнуться из-под чёлки
И гостям стихотворение читать.

Душно в комнате, хрусталь запотеваает,
Вот уж гости приступили к пирогам.
Кто-то форточку, весёлый, открывает,
И сквозняк ночной гуляет по ногам.

Как печально эта девочка читает,
Где белеет за спиной её – окно.
Как звезда над головой её сияет!
...А хозяйка всё чулок свой поправляет,
Громко сетуя на крепкое вино...

ПУЛЯ

Какие-то незнакомцы
сердце моё взломали
серебряный колокольчик
они у меня украли
И умный какой-то алхимик
три пули горячих отлил
и бравый какой-то вояка
прицельно кого-то убил
От крови потом отмывали
мои три серебряных пули
и в бархатную тряпицу
три пули моих завернули
Мне свёрток приносит посыльный
под запись в свой протокольчик.
...А был у меня когда-то
серебряный колокольчик...

Николай ШАМСУТДИНОВ, Тюмень



* * *

С крепкой проседью, но, на прогулке, ещё не шлак,
«Человек тупика», с мятым Кеннетом под подушкой,
Учится одиночеству, как выживанью, – так
Замыкаются в створках своих, становясь ловушкой

Для себя же... Альянс выливается в мезальянс
С музой, ждущей иных. Приручая воображеньё,
Обстоятельства, зная резон, выбирают нас,
А не мы их... Как правило, редкое отраженьё

Соответствует оригиналу. Темно, окно
Одевает мерцанье, и, взгляд визави бросая
Из промозглой души, – «Приближается утро, но
Ещё ночь...» – выпевает, ладони сложив, Исаяя.



Ни к кому не тянитесь, ладони убрав со лба, –
 Всё бессмысленно, и, в заусенцах ворон, ненастье
 Поднимает нам веки... Наставница и судьба,
 Под колоннами клонов дичает земля. У счастья

Неуживчив характер. Но с кем, посвежев, ни длишь
 Пустоту, вездесущую в тайнах, не подбирая
 Ей имён, – всё слабее «впиваются в жизнь», ведь лишь
 В смерти мы обретаем бессмертие, исчезая...

* * *

Время – черстветь... С подколотной горячкой
 в крови,

Ревность, прилежно кричащую за человека,
 Жизнь утишает протяжным стяжаньем любви
 И осушает ресницы. Чрезмерна опека

Варварской цитры... Пожизненно сердце сосёт
 Предвосхищенье – теплом обливает фаланги
 Женщина, что, в утешение, руку кладёт, –
 И словно, к сердцу лицом, улыбается ангел.

И, кровеносная, нежное бремя моё,
 Чуткость, в толчках, разгорается в кончиках пальцев,
 Чтобы внять женщине, плавкой природе её,
 Ловко к блаженству любить – подпускающей жалъце.

Непостижимая, в воспоминаньях на треть,
 Женщина, в тайнах, живёт тёплой связью с огромным
 Прошлым любви, чтобы, жизнь отразив, умереть
 Рядом с Джульеттой..., под холмиком единокровным.

Не подбирая молчанию имени, пью
 Вечную юность её, что она ни вещает
 И, забирая убогую душу твою,
 Полную радостной мукой её возвращает...

* * *

В морозное крошево, в дождь ли
 Чужих, запредельных времён,
 Кусая перчатку, всплакнёшь ли
 Дорогой с моих похорон? –

Что скаредна вещая пряжа,
 Что весь я в забвеньи – один,
 Сам прах, прозорливец, от праха
 Суровых кладбищенских глин,

Что гибельный рок – неминуем,
 Что губы («Царуй!.. Государь!»)
 Ни ласкою, ни поцелуем

Уже не разбудишь, как встарь...
 И в ветре, вздымающем ропот
 Листвы над тесовой тоской,
 Услышишь надорванный шёпот,
 Сырою затёртый доской?

Уже не руками – ветвями
 Я встречу, забвеньем продут,
 Ушедших. Какие на память
 Тебе перелёски придут,

Преосуществляясь в страданье?
 И ты не почувствуешь, вот,
 Как, недоумённый, в рыданье,
 Слепой, расплзается рот.

Ну, так оглянись же! Бессильем
 Я грубо спелёнут,
 На свет
 Простёртый – в посмертном усилье
 Взглянуть тебе, радость, вослед...

* * *

«В ум и лицо поглядеть...»

Гомер

«В ум и лицо поглядеть...». Терпеливый, глядел,
 Не отрываясь. Но приторней нежные виды:
 Лавры..., магнолии..., пляж, по весне, не у дел...,
 Чуткие ночи в двусмысленных звёздах Тавриды..,

Влажные шорохи... В обетованной глуши
 Исповедально молчанье ракушки, и глухо
 Бриз в новолуние, поверенный душею души,
 Тише за шторую, слух отвлекая от духа.

Непогрешимое, грустно тускнеет кольцо
 На безымянном, и тем, очевидно, резонней,
 Что до сих пор, жар под кожей, помнит лицо,
 Не остужимо, атласную властность ладоней.

Не иссякая, пространство в загадке своей –
 Ороговевшее время, и, судя по сыпи
 Редких огней в незнакомых предгорьях, острый,
 К холоду, рудиментарное зрение зыби,

Влажно следящей за поздней купальщицей, чьи
 Прелести прячет стихия, и, к юмору сноба,
 Вытянув душу, морочат, смущаются и
 Тянутся в «ум и лицо поглядеть...», Пенелопа.

Андрей ШАЦКОВ, Москва



Княжича русы-кудри
Вынесло из реки.

Были одним подобьем,
Как две слезы с лица.
Стал он моим надгробьем –
Смертным грехом отца.

Души летят, как криквы,
На ледяном ветру...
Нет в этом мире правды!
Нет и в ином миру!!!

30 июля 2016 г.

Сороковины

НОЧНАЯ СТОРՉЖА

*Памяти старшего сына Димитрия
(10 марта 1980 – 21 июня 2016)
с горечью посвящает автор*

Нет в этом мире правды,
Да и того ль ты ждёшь?
В пойме реки-Непрядвы
Ветер качает рожь.

Лютые оборотни
Чувствуют волчью сыть...
«Отче, позволь пол-сотни
Прапором осенить?»

Да не поглотит темень
Нами зажённый трут.
Сёмка, Игнатий Кремьень,
Гридя – не подведут!»

«Сыне, тебе не приспело
С воями в пекло лезть.
Скажет Боброк: Не дело!
Скажет Бренок: Не в честь!»...

Взгляд его светлый – строже
Сделался, и синей.
«В первой пойду стороже!
Лучших возьму коней!»

Ах, как кричали птицы,
В смутной поре ночной.
Бьют родники-криницы
В быстрой воде речной.

И опустилось утро.
Бликами на пески...

21 ДЕКАБРЯ

(Полугодины)

Да лягут снега на обитель твою,
На новую,
с бабушкой рядом!
С седой головою в молчанье стою
Под жёстким седым снегопадом.

И купол церквушки, и абрис креста –
Покрыла ворон плащаница.
За дальней оградой стучат поезда,
Погост огибает столица.

Ваганьково,
снеги,
да камень-гранит,
Да тень прапрадедова стяга.
Пусть небо твой путь одинокий хранит
В туманности млечной, бродяга.

Я помню в ладони ручонку твою,
И кеды – спешащие рядом...
Немного осталось... Но я достоин
Под нашим с тобой снегопадом!

СНЕГИРИНАЯ ПАНИХИДА

И падает снег, и отбившись от рук,
В угрюмое, зябкое небо,
Летит запоздалая стая на юг,
Где зрелищ хватает и хлеба.

Как выбранный невод – скукожилась ширь.
Повыползли Божие страхи...
А я – остаюсь, как российский снегирь
В кровавой отцовской рубаше.

Которую сын мой примерить успел.
Земля ему – прахом и пухом.
Я б песню ему средь трилистников спел,
Овеянных Троицы духом.

Он в жаркую пору июня унёс
Отцовское сердце в ладони.
И только с утра пробудился мой пёс.
Призвав к бесполезной погоне.

И что остаётся: читать псалтыри
На жизнь возведенной плахе?
И клювом в окошко стучат снегири
В отцовской горячий рубахе!

АВГУСТ 2017

Задумчиво листаю свод страниц
Своей судьбы
и, несомненно, вправо
Воскликнуть –
заповедный август – AVE!
Я ждал твоё мерцание зарниц
Из чёрных туч, парящих так весома
Над линией лесного окоёма.
В молчании, к земле припавших птиц.

Пусть голос грома – накалён и груб
Рой ласточек спугнёт, чтоб те – над нами
Поднялись в небо, в суете и гаме.
Им вслед шепну, не разжимая губ –
Родства не обрывая пуповину,
Мою молитву донесите сыну
И горький запах георгинов с клумб...

Осенним одиночеством звенит
Хрустальный воздух,
и не может Руза
Стать Летой для вины отцовской груза
С которым мне не улететь в зенит
К тебе, мой мальчик – журавлёнок в стае,
Которая крылами, как крестами,
Нас грешных, напоследок, осенит.

Гармония души – навек, прости,
Заложница судьбы поэта в споре
Где на кону стоят печаль и горе,
И радость слов, которых донести
Не доведётся – людям, в книг конверте,
Скрывающем забвенье и бессмертье.
Как персть земли, зажатаю в горсти.

АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ

Под низким, пронизанным выстрелом небом
Стрелы, улетевших в закат журавлей,
Я всем поделился: стихами и хлебом,
И вечной любовью к Отчизне своей.

Я всё разложил по размерам и строфам,
Составив печали остатный реестр.
И номер своим инвентарным Голгофам
Присвоил,
похожий на скошенный крест.

Андреевский крест, словно «икс» в уравненье,
Которое в жизни конце решено...
И тихо угаснет пылкости рвенье,
И станет грешно то, что было смешно.

И выпустят стилос усталые пальцы,
И эхом беззвучным растают вдали:
Мои не рождённые стансы и вальсы
Мой дом на песке и мой Спас на Крови.

Андрей ШЕВЦОВ, Тюмень



* * *

Я сегодня вошёл в то пространство стиха,
Где наивная речь и проста, и тиха:
Где кричит своё «клии» на кедре желна...
Где сырыми губами лопочет волна...
Где на крышу «грибка» приземляется снег...
Где ложится под землю и спит человек...
Где течёт по листу, высыхая, роса...
Где жужжит и жужжит в сером шаре оса...
Где доверчивость До и плескание Ля...

Где скрипит, но возвращается наша Земля...
Где лепечет ребёнок и клохчет старик...

Я сегодня, как царь, в эти сферы проник.

* * *

Я видел в глазах ингаирской татарки
Поэта, диван и бутылку «Кадарки».
О злая татарка! Косички, как змейки,
Ползли на лицо мне в той малосемейке...

Соседка Светлана входила нежданно,
Как в лирику Анны Ахматовой – Жданов.
«Купи сапоги! – говорила Диане. –
О, кто это спит у тебя на диване?»

Мне снились лимоны, желтевшие ярко...
До этого – сладко вливалась «Кадарка»
И злая татарка с пружинистым телом
Скакала на мне, как умела – умело...

И доски скрипели в той малосемейке,
А снег заметал голубые скамейки,
И два фонаря нам светили устало,
А утром их света не стало, не стало.

* * *

Иду в микровельветовом пальто,
прокручивая шарик под ногами,
и Западно-Сибирское плато
скрипит под широченными шагами.

Встречаю девушку, веду её в кино
забора вдоль, где надпись чёрным: «Вымпел».
И льётся свет, как красное вино;
духи пьянят; шатаюсь, будто выпил.

Заходим в гипермаркет «Карусель»,
шучу про базис, но и там, повыше,
клюют попкорн... И мы, как караси,
вплываем в зал в ТЦ под самой крышей:

и вот – о том, что счастье за горой,
не за горой, быть может... И свободен,
как птица в небе, лишний тот герой,
жене и жизни, в общем, неугоден;

и вот учитель пьёт уже с утра,
летит, как самолетик, на качелях,
географ глобус пропил, та-ра-ра,
засохла Кама, в киноакварелях.

ДВЕ РЕКИ

Он написал «У омута», «Полынь»,
«Есть парадоксы гениальной жизни»...
Сухой и чёрный ветер всех пустынь
метёт листы по улицам Отчизны.
Черна, как нефть, тюменская Тура...
В ней нет волны Владимира Белова.
В Тюмени – темень, Тартар – и туда
влетело поэтическое Слово.

Над головой – небесная река,
я вижу тень Владимира Белова.
Третью века, вечность, рыбы-облака
в ведре его священного улова.
Чешуйки, как кольчуга, на руке
сверкают при стремительной отмашке...
Грызёт он горький стебелёк ромашки,
по пояс стоя в солнечной реке.

* * *

Молчит перо, но светится бумага,
Взлетает голубь мира с чердака,
И облака, как сонная навага,
Плывут по небу в сети рыбака, –

Поэт авоську тянет из окошка...
Милетский грек, придёшь ли за пером?
Жизнь бесконечна: будничная крошка
Ржаного хлеба, будто апейрон.

* * *

Вчерашней рифмы горечь на губах,
осенним снегом выжженное поле...
И «Здравый смысл»
(привет тебе, Гольбах!)
упрятан в шкаф.
Лишь книжное: «Доколе?»
во мне звучит и дышит на стекло
и просится – под белый лист и землю...
Но старое и глупое стило
ведёт меня...
О господи, я внемлю.

Михаил ШЕЛЕХОВ, Минск



ЯЩЕРИЦА

О том, как губатые шли печенеги,
Хазары, тевтоны и смерти гонцы,
Как всё полыхало и гибло в набеге –
Весною, как странники, молвят скворцы.
Они пожалеют, они и поплачут
О том, что прошло и рассыпалось тут.
И юркая ящерка в поле проскачет,
Как крошечный конь, одичавший от смут.
Кто всадника ящерицы вспомнит далече
У розовых пашен, в косых ивняках?
Спроси меня что-нибудь, радость, полегче
На этих лазурных и хмурых холмах.
А россыпь жуков на прорехе зелёной
Так весело щегольский сушит мундир,
Как старая гвардия Наполеона,
По русским оврагам познавшая мир.

ПОТОП

Как родился я в бедной избушке, а там
На полу – допотопная глина.
Бородатые люди висят по углам,
И трубит, как архангел, скотина.
Я в сознание вошёл – что такое вокруг?
Где избушка, где милое детство?
Экскаваторы роют, как смертный недуг,
Чтоб скорее прикончить наследство.
Ничегошеньки больше. Канавы и рвы.
Да железная бляха на крыше.
Да лошадка пасётся у ржавой трубы.
А земля всё провальней и ниже.
Бородатых людей покидали за печь.
А на место их лампу прибили.
И на старую лавку ни сесть и ни лечь,
Потому как в огонь порубили.

И не жаль ничего. Только слёзы к глазам,
Если вспомню, как пахла малина,
И прохладой ластилась к детским ногам
Допотопная нежная глина.

МОГИЛА СОЛОВЬЯ

Возле дома старого засола,
Возле шкварок битой нищеты
Как под небом обречённо голо,
И какие ямы и кресты.
Навсегда заколотили двери
И крестами окна милых дней.
И ушли в поля родные звери,
И не слышен шум календарей.
Всё уже забито и забыто.
И поела ржавчину земля.
Но не бросить старого корыта
Насмерть опустелого жилья.
Возле хаты битой штукатурки,
Где пропала вся моя семья,
Грею душу в горестном окурке
На могилке друга-соловья.

СМУТА ПОЛЕЙ

Всё тот же бойни красный дом. И дуб на склоне неба.
И пруд, где утонул солдат. Зарос до озера.
Лежит в седой крапиве пёс. Как зверь, не хочет хлеба.
Здесь били скот. И кровь текла. И мухи без конца.
А нынче тишь. Солдатский двор. Локаторы.
Свинарник.
Растёт горох. Лесничество. Хоть никаких лесов.
Здесь двадцать лет чинили мост. И двадцать лет
пекарню.
Дом рыбака. А речки нет. Но уйма рыбаков.
А у шоссе мужчина ждёт. В широкой чёрной шляпе.
Приносит стул. Сидит и ждёт. Хорошее шоссе.
Ждёт сына он пятнадцать лет. Но сгинул сын
куда-то.
Тут раньше выходил и я. И вот сию, как все.
В начале города я жил. А нынче проезжаю.
Кусты. Заводик. Тополя. Весной жуки в ветвях.
А старый дом ещё стоит. Но дворик разорвали.
И проложили на завод широкий жёлтый шлях.
На ворота залезу я, нарву последних вишен.
Печальна жизнь. Ненастна смерть.
В сарае тёплый дух.
Как хорошо, мой старый дом, что ты немного
слышен,
Теснимый смутую полей у яблоней-старух.

СОЛДАТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ

Три человека военных дорог
 Сели на край земли.
 Один без рук, а второй без ног,
 Третий без головы.
 Разлил на троих безрукий вино,
 Но что-то осталось на дне:
 – Сыщи четвёртого, брат-без-ног,
 На последней войне.
 Пошёл безногий на сто фронтов
 Солдатиком молодым.
 Долго искал. Ничего не нашёл.
 Маршалом стал седым.
 И молвил тот, без головы:
 – Я знаю, кто нужен нам.
 Но он никогда не сойдёт со стены,
 Душа его вбита в храм.
 Тело его сгорело, как спирт.
 И стал иконою дух.
 Сколько ни звал его командир
 В храме среди старух.
 Сколько ни звали его друзья –
 Не сошёл солдат со стены.
 И заплакал, войне грозя,
 Который без головы.
 Вылили наземь вино они,
 И выросла там звезда.
 И больше не пил никто никогда
 Вина на краю земли.

ЕВРАЗИЯ

Повременю я, пока не ушёл.
 Молча, один, навсегда.
 Сила могилы – и лёгкий Эол.
 А между ними – вода.
 Между Востоком и Западом я
 Точно возник меж людьми
 И раздирающий сон бытия
 Сбил, как гвоздями, костями.
 Мясо пространства давно бы с костей
 Сшиб метеор и ледник –
 Кровью упорных и в смерти людей
 Сшит, как ладья, материк.
 Сшит он крестами, как шьют моряки
 Парус морской седины.
 Есть там мои золотые стежки –
 Старой Евразии сны.

ПО ФРИЗУ

По фризу фронтона истории – ленты и фрукты.
 По фризу фронтона истории – феи и франты.
 В орнаменте тесном – Калигулы, Цезари, Бруты.
 В одном хороводе – солдаты, шуты и педанты.
 Такая свобода пылала, и в страшной свободе
 Все жили вовсю, а, как воздух из шара спустили,
 Застыли, как куклы, – соседей давя в хороводе,
 Не выдав гвоздей, что искусно их приколотили.
 По фризу истории – толстые ленты и фрукты.
 По фризу истории – лепятся феи и франты.
 Но всё это ложь, ибо съела земля все продукты.
 А небо похитило души за белые банты.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, Санкт-Петербург



РЕВОЛЮЦИЯ

Тише рыбьего дыханья,
 Легче трепета ресниц –
 Скорой смерти ожиданье
 Сходит с блоковских страниц...
 А вокруг всё лица, лица
 С волосами до земли,
 Журавлиные синицы
 И синичьи журавли
 На златом крыльце сидели –
 (Здесь зачёркнуто...) Гляди
 На бушлаты и шинели!
 Хлеба дайте! Проходи!
 Робы, блузы, платья, спины,
 Маски, кепки, колпаки,
 Свечи, фонари, лучины,
 Проститутки, кабаки...
 Кто поёт, кто матерится –
 Власть издохла! Вот те на!
 Тут – шампанское искрится,

Там – штыки и стремяна...
Карнавал! Гуляй, людишки!
День последний! Судный день!
Ничего теперь не слишком!
Никому сейчас не лень!
Отойти! Остановиться!
Руки разбросать! Не троны!
Вера – счастье несчастливцев –
Всех в огонь!

РЕЧКА

Осязаемо, грубо, зримо,
Разбивая в щепу стволы,
Мимо скал, поселений мимо,
Завязав ручейки в узлы,
Раня пальцы о край небосвода –
(Зачерпни – обожжёшь лицо!),
Сквозь закаты и сквозь восходы,
Свозь сознание – в конце концов! –
Как с мальчишкой со мной играя –
(Вся полёт – боль её легка!),
Ускользает, смеясь, босая –
Неслучившаяся строка...

* * *

Художник поставит мольберт,
И краски разложит, и кисти,
А я – двадцать пять сигарет
И с ветки сорвавшийся листик.

Мы будем сидеть vis-a-vis,
Пока не опустится темень,
И ради надмирной любви
Пространство раздвинем и время.

Мы станем глядеть в никуда
И думать о чём-то не важном –
Сквозь нас проплывут господа
В пролётках и экипажах,

Улыбки сиятельных дам,
Смешки, шепотки одобренья...
Последним проедет жандарм,
Обдав нас потоком презренья.

А ночью в дрянном кабаке,
Где слухи роятся, как мухи,
Он – в красках, я – в рваной строке,
Хлебнём модернистской сивухи,

Забудем, что есть тормоза,
Сдавая на зрелось экзамен,
И многое сможем сказать
Незрячими злыми глазами.

И к нам из забытых времён,
Из морока рвани и пьяни
Подсядут: художник Вийон
И первый поэт Модильяни.

* * *

Ноябрь совсем одекабрел –
В Неву вморозил сухогрузы.
Сменив колготки на рейтузы,
По набережным бродят музы
С щеками белыми, как мел.

Дрожат бетонные быки,
С мостов роняя хлопья снега.
Позёмка в поисках ночлега
Берёт преграды без разбега
И обживает чердаки.

И некого задеть плечом,
И провода звенят на Невском.
А вдалеке за перелеском
Морозец – с щёлканьем и треском! –
Звезду целует горячо.

Визжит сквозняк, прижатый дверью –
Бомжей выводят из метро –
На лицах тает серебро,
Добро рифмуется с зеро...
И крикнуть хочется: «Не верю!»

Сергей ШЕСТАКОВ, Москва



* * *

говори, говори со мною,
говори, даже если свет
обернётся такую тьмою,
из которой возврата нет,

говори, даже если губы
лубяная сведёт тоска,
полоумные лесорубы
ждут безумного лесника,

говори, говори дыханьем,
криком, шёпотом, немотой,
яблонь розовым полаханьем,
горем, радостью, всей собой,

чтобы время не шло, а пело –
до предела, до той поры,
как вонзятся в глухое тело
милосердные топоры...

* * *

а когда Господь отодвинет лиру,
ты услышишь хлопанье всех дверей,
и звезду Полюнь поведут по миру
семь её печальных поводырей,
и на небе маленькая прореха
разойдётся, воздух вбирая весь,
ибо кончилось время для человека,
для всего, чем был он и что он есть...

* * *

убери её имя господи вычеркни из всех
списков как будто нет её для земного дня
утром мы сами справимся утром легчайший снег
и тишины серебряная броня
переставляя горы меняя течение рек
смотрит она сквозь мир за кромешный край
так неотступно будто навек навек
так безоглядно будто прощай прощай...

ДВА ПИСЬМА

лене элтанг

1

пишет молочнику булочник: знаешь, анри,
жизнь обветшала, не просит и малой краюшки,
сил на полушку уже, и, куда не сверни,
всюду зима да земных сторожей колотушки,
видно, обнимемся скоро и, как ни крути,
вновь попируем у клёнов под сплетни сороки,
ты же, наверное, главный на млечном пути –
вот и подумай о булочной рядом дороге...

2

пишет молочник: мой добрый, мой славный рене,
дружба прочней естества и устойчивей к порче,
как же я рад прилетевшей сегодня ко мне
весточке этой по телепатической почте,
булочный домик с пекарней закончат вот-вот,
здешние клёны тенистей земных и просторней,
будем смотреть на течение медленных вод
и наблюдать за одной из всемирных историй...

Андрей ШИРОГЛАЗОВ, Старая Купавна,
Московская обл.



БЛИНДАЖ ДЛЯ КУЗНЕЧИКА

Видно, делать мне, глупому, нечего,
Но в разгар огородной поры
Я построил блиндаж для кузнечика
Из кусочков еловой коры.
Потому что всё утро без роздыха
С неба сыпал негаданный град,
И кузнечик, живущий на воздухе,
Был контужен, как старый солдат.

То, что дадено, то – не украдено.
Повезло ему, как ни крути,
Но отвесно летящая градина
Скрикошетила по пути,
Изогнула лопух, как грузило,
Покачнула чесночный шест
И уже на излёте контузила
Обитателя здешних мест.

Я не то чтоб любитель кузнечиков –
Просто вспомнилось невпазд,
Как отряд наш по чьей-то беспечности
Был накрыт установкой «Град».
Уж архангелы пели отвальную...
Я б не вырвался, как ни крути,
Но ракета моя персональная
Скрикошетила по пути.

А потом был ростовский госпиталь,
Марш-броски от ножа к ножу.
И шептал я ночами: «Господи,
Дай же каждому по блиндажу!».
Нет на свете того разведчика,
Но по правилам прежней игры
Я построил блиндаж для кузнечика
Из кусочков еловой коры.

В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА

Мы не будем говорить долго,
Укорачивая ночь эту.
Всё равно ведь позади – Волга,
А за Волгой нам земли нету.
Всё равно ведь предстоит биться,
Подниматься и опять падать.
Потому что впереди – фрицы.
И убить их всё равно надо.

От границы мы, считай, пёхом
Отмахали тыщу вёрст с гаком.
Надоело отступать, Лёха –
Время ставить немчуру раком.
Сколько силищи на нас пёрло,
Сколько русских баб зашло в тризне!
Закатаем им губу в горло,
Чтоб икалось до конца жизни.

Да о чём тут рассуждать длинно:
Сталинград – пороховой улей:
Тут куда ни поверни – мины,
Тут куда ни посмотри – пули.
И бессмысленно рычать волком,
Выпью выть и избегать света.
Всё равно ведь позади – Волга,
А за Волгой нам земли нету.

Собирается фашист с духом
Вперемешку со своим страхом.
Для меня моя земля – пухом.
Для него моя земля – прахом.
Всё понятно. Так чего злиться...
Мы не будем говорить долго,
Потому что впереди – фрицы,
Потому что позади – Волга...

* * *

В. Перову

Не говори мне про Аид...
Аид – он в Греции, земля.
А нам с тобою предстоит
Увидеть снег в конце тоннеля.
И повезёт нас не Харон.
Из лабытнангской электрички
Мы просто выйдем по привычке
На замерзающий перрон.
И превратимся в синий лёд.
А лёд... ну, кто его осудит...

А поезд двинется вперёд.
Но нас в том поезде не будет.

17 февраля 2016 г.

Старая Купавна

ИНФАРКТ

Уже позади и удача, и фарт,
И драйв, и концертный кураж.
В квадрате «диагноз» слово Инфаркт
Стоит, как полуночный страж.
И больше не скажешь: «Ай донт андестенд»,
Свою извиняя прыть.
Отныне в крови коронарный стент
С надписью «Не курить!».
И как бы твоя не петляла стезя –
Твой нынешний путь иной:
По вешкам, по створам из слова «нельзя»
И в будни и в выходной...
Реаниматолог смахнул со лба
Операционный пот –
И ты осознал, что это судьба
Сделала свой поворот.
И кто-то там, куда не дойти,
За гранью небесных сфер,
В последний раз на твоём пути
Завёл свой секундомер.
И ты, подконвойный, вышел на старт,
Где финиш похож на шабаш...
В квадрате «диагноз» слово Инфаркт
Стоит, как полуночный страж.

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

*(русским добровольцам
в Донецке и Луганске)*

Мне тебя успокоить нечем. На войне так бывает, друг:
Мины раньше рвались далече, а теперь ложатся
вокруг.
И не стоит искать виновных – у войны свой
особый счёт.
Мы помрём на ней поголовно. Просто, кто-то
чуть-чуть вперёд.
Над окопом летают пули, как воронежские стрижи.
Это мы с тобой посягнули невзначай на их рубежи.
И на линии порубежной стриж гнездовье свое
найдёт.
Все погибнем мы неизбежно. Просто, кто-то
чуть-чуть вперёд.

Мне б тебя успокоить надо, но какой тут к чёрту
покой...
То тебя полируют «Градом», то меня утюжат строкой.
С каждым месяцем всё отстойней чёрный цвет
на белом холсте.
Мы не выживем в этой бойне – нас распнут с тобой
на кресте.

Неспокойно во вражьем стане: мы стоим у них на пути,
Словно первые христиане на арене с крестом
в горсти.
А для вечности час ли, век ли – у вины свой
особый счёт:
Все вы сгинете в адском пекле, просто кто-то
чуть-чуть вперёд.

Мне тебя успокоить нечем. На войне так бывает, друг:
Мины раньше рвались далече, а теперь ложатся
вокруг.
Мы с тобой отступать не будем: нынче некуда
отступать.
Видно, время хорошим людям преждевременно
умирать.

Вот и лвы повернули морды в нашу сторону
и рычат.
Скоро стихнут мои аккорды и стволы твои
замолчат.
Но за нами расправят плечи миллионы таких,
как мы.
Мне тебя успокоить нечем на пиру во время чумы...



Виктор ШИРОКОВ, Москва

* * *

Раннее утро.
Туман голубовато-розовый.
В синем инее столб кажется мне берёзою.
Заря полыхает костром в полнеба,
как приглашение в день,
в котором я не жил и не был.
После тепла знобит.
Пар изо рта клубится.
Тучи – как перья в крыле сказочной Синей птицы.

1964

ЗОВЫ

На запад, на запад, на запад
потянется в сумрак ночной
состав костенеющей лапой,
давиться пространством начнёт.
Колеса, маня, зашаманят:
на запад, на запад, туда,
где в стынущем студне тумана
зелёная гаснет звезда.
Где сохнет бузиною веткой
накопленный временем чад...
О самом до жути заветном
колеса стучат и стучат.
Знакомое чувством глубинным,
аж хочется крикнуть: «Не трожь!»
К любимой, к любимой, к любимой! –
по телу вагонная дрожь.
Мне этого ввек не оставить.
Мне это усвоить помог
состав, перебитый в суставах,
в судорогах дорог.

1965

РАССТОЯНИЕ

Вчера на берегу реки
ты говорила: «Надо
от расстояния руки
на расстоянье взгляда
уйти...» Уходишь? Уходи!
Да будет лёгким путь твой!
Звезда сверкает впереди,
а позади – лишь утварь.
А позади – что говорить –
весенней ночи хворь,
и до сих пор душа горит
и помнит голос твой.
Ушла водою из горстей.
И глазом не моргнув.
Всю жизнь – как в гости из гостей.
А я вот не могу.

22.03.67

«СЕЯТЕЛЬ» ВАН-ГОГА

Фантастический пейзаж,
рамкой скованный до боли.
Безысходности багаж,
оказавшийся судьбою.

Ржи далёкая стена.
Сеятель, идущий полем.
Призрачные семена
равенства, добра и воли.

Так, ступая тяжело,
от рассвета до заката
сеять (пальцы б не свело!)
за загадкою загадку...

Два исхода:
свет и тьма,
нас сводящие с ума.

27.04.71

* * *

Возвратился. На час залетел
в город детства, в родные пенаты.
Наконец-то его разглядел.
Отрешился от прежних понятий.

Шпиль собора совсем обветшал.
Краски зданий вконец отлиняли.
Только воздух, которым дышал...
Только необозримые дали...

19.07.80

СТРАНИЦА

Выкинули. Как щенка с балкона.
Словно кошку – в стену головой.
И не думал ты во время оно,
что легко нарушат твой покой.

Ты мечтал, что многое сумеешь
в жизнь, как говорится, воплотить.
А на деле вышло – не умеешь
по счетам предъявленным платить.

Стоило ли эдак торопиться,
золотые мысли теребя?..
жизни перевёрнута страница.
Сколько их осталось у тебя?

12.01.15

ШУТКА

Мне разонравился фейсбук.
Всё пресным стало.
Не вижу умственных потуг,
и сердца мало.

Идёт унылая возня,
где все наймиты.
Друзья, давайте без меня,
и будем квиты.

Но всё-таки живёт испуг,
что в третьем акте
открою, наконец, фейсбук,
а там – *вконтакте*.

11.01.15

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ, Москва



УТЕШЕНИЯ

Отошла земляника,
но поспела черника.
От черники язык ещё синий,
а уже мы в малине.
Собираешь малину губами,
а уже потянуло грибами,
паутинные ткуются дожди.
Засинели в лещине прорехи,
а в портфеле – орехи!
Что-то было всегда впереди.

В ГРАДЕ ПСКОВЕ ИНОКУ КРЫЛАТОМУ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВИЧУ КУРБАТОВУ

Волчьим нюхом обоняя слово,
ночью прилетает он из Пскова
и пешком гуляет по Москве.
А крыло он прячет в рукаве.

ОРИЕНТАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ

– Далеко ли отсюда река?
– Да рядом! – отвечает мальчик,
объезжая лужи на велосипеде.
– За лесом, – уточняет женщина,
показывая в поле,
как будто я шпион
и в удочке моей
запрятана антенна.
Нельзя у женщин
спрашивать дорогу.
Надёжней – у гусей,
у сенокоса.
А если ночью,
то у коростелей.



На берегу, как тёмные отели
стоят стога...
Находишь их лицом
и утопаешь в клеверной постели

* * *

Спасибо тебе, Елена,
За всё, что было со мною.
Душа улетит в небо,
А тело станет землёю.
Но этот ожог рябины,
И тонкий лёд на стерне,
И гул деревянной плотины
Ты всё же оставила мне.
И палой листвы забытьё,
И грустный туман у дороги
Оставила мне, как тряпьё,
В бессмысленной той суматохе.
Но странное дело, Елена,
И винная горечь стогов,
И ярко-морозное небо,
И лодки у чёрных дубов –
Всё это осталось любовью,
Но только уже не к тебе,
А к родине, к тихому полю,
К рябине в седом декабре.

* * *

Бывают дни, когда
всё как бы незнакомо.
Безлюдный двор,
бездонная вода...
И лучше до утра
не выходить из дома,
не уходить из дома никуда.

ВОСПОМИНАНИЕ О СЛАВГОРОДСКОЙ ПЫЛИ

Это пыль на обочине
или поэзия пыли
или полустихи, полупроза
с отпечатками пальцев завхоза
на бутылках портвейна
молдавского красного.
Тихий Славгород в жарком июле
иногда проезжает по улице автомобиль
и за ним подымается облако пыли,
залетая в окно бухгалтерии УЖКХ.
Все ушли на обед и окно не закрыли.

А оттуда по радио
плачут виолончели.
Голос диктора:
– Каприччиозо Сен-Санса.
И взмывает душа,
вспоминая качели.
На обочине белой дороги
долго ждём грузовик
и курлычет под камнем родник.
Удлиняются тени, уходит жара.
С огурцом в кобуре участковый
высматривает завхоза,
объезжая плакучие ивы над Сожем.
От него не уйдёшь...
Пыль показывает следы.
Их приятель лесник
истерзался вопросом:
почему нам всё время видна
одна сторона Луны?
Неужели Луна не вращается?
Плачет после второго стакана,
под задумчивым взглядом завхоза.
Между тем раскалённое солнце
зашло за леса
и на Славгород с неба спустилась прохлада.
– Посоли огурец и не плачь.
– Наливать ему больше не надо.
Тихо реют под звёздами их голоса.

ДВА ОБЛАКА БЕЛЫХ ПЛЫВУТ ПО ЛАЗУРИ...

Два облака белых плывут по лазури.
стоит ослепительный зной.
Ну вот мы и встретились после разлуки,
Не вечной разлуки земной...

Над жизнью, в которой мы прочно забыты,
над синим холодным Днепром,
над кладбищем, где мы не рядом зарыты,
сегодня мы рядом плывём.

Два облака белых... Одно розовеет,
в лазури приветствуя день.
Другое опять отдалиться не смеет,
лежит на нем первого тень.

Нам встретится дым. И о юности милой
ты вспомнишь и нежно взгрустнёшь.
Я ливень пролью над твоею могилой...
А ты над моей не прольёшь.

Ты первой иссякнешь в пылающем небе,
рванусь за тобою, звеня!

Но в клевере, в глине, в полыни и в хлебе
ты разве дождёшься меня?

Два облака белых плывут по лазури.
Стоит ослепительный зной.
А может, и не было вовсе разлуки,
не вечной разлуки земной?

Маргарита ШУВАЛОВА, Кстово,
Нижегородская обл.



МЁРТВЫЙ СЕЗОН

Конец предзимья. Зябкая строка
Возникла и застыла в хладной дали.
О, как она близка и – далека,
Как уязвима в дни поры печали:

Скупой поры без яркого огня,
Что теплотою согревает слово.
Глухой поры, не слышащей меня
Из-за дождей, идущих бестолково.

Им ничего уже не оживить,
Травинки не поднять с остылой пашни.
Но всё-таки, ещё держусь за нить
Что нас соединяет с днём вчерашним.

Вчерашним солнцем, небом и мечтой,
И чьим-то милым, дружелюбным взглядом,
Сентябрьской вдохновенной красотой,
Мелодией души и листопада.

Всё это, словно пёрышко в руке
Сберечь пытаюсь, веря непреклонно,
Что жизнь вот-вот затеплится в строке,
Возникшей в пору мёртвого сезона.

* * *

Где взяться свету в ноябре,
Теплу во взгляде?
Едва родился, а уже
Седые пряди
Младенцу мачеха зима
Малюет снегом,
Беднягу кутая в обман
Под серым небом.
А завтра кинет в полымя
Дождливой хляби.
По чёрным тропом семени,
Пугаясь яви,
Врождённым видом без прикрас
Он устыдится.
Но кто же спрашивает нас,
Каким родиться...
Я светлых черт у ноября
Не замечала,
А надо было на себя
Взглянуть сначала,
Поняв – с ним вместе до зимы
Одна дорога,
И если любишь и любим,
То света много.

ПРОВОЖАЯ

С застывшим сердцем у порога
Стояла прямо как свеча,
Боясь задеть своей тревогой
И не поранить сгоряча
Надежду первого полёта,
Стремлений дерзких высоты,
Не заглушить своей заботой,
Возникшей взрослости черту.
Пока ещё родное рядом,
Пока дыханья горячи,
Ни жестом, ни тревожным взглядом
Мой нерв себя не обличил...
Что это? Радость или мука?
Сама себе дала ответ, –
То неизбежности разлука
И долгожданной встречи свет.
Давно не первой прятать слёзы
И не последней провожать.
Когда-то рано или поздно
Своих детей отпустит мать,
В неудержимость их поверя,
Молитвой освещающая путь...
Лишь,
прислонясь к закрытой двери,
себе позволила всплакнуть.



Пусть прежний мир теперь расколот
 На до и после.
 День за днём
 Оправдан будет
 внешний холод
 Благословляющим огнём.

ЕСТЬ ЗА ЧТО...

Так много мне дано: дышать, работать,
 Любить вздох, вдыхать Отчизны дым,
 Не думая, когда разделит пропасть
 Меня
 меж этим миром и чужим.

И потому не ищется покоя
 Ни в городском чаду, ни где-то вне.
 Всё беспокойное – желанное, земное,
 Кружащееся в стужах и в огне,

Над чем-то вдруг слезливое порою, –
 Всех наших чувств размах непостижим.
 Страдальное, гневливое, смешное
 Любое,
 все в одном значенье – жизнь.

Каких в ней только замыслов не зреет.
 И пусть она пройдёт, как день один.
 Корить её я права не имею.
 Благодарить же –
 множество причин.

Иван ЩЁЛОКОВ, Воронеж



* * *

Век мой белый, век мой красный,
 Весь в бореньях поседельный,
 Ты ужасный ли, прекрасный
 Или просто обалделый.

Просто душу потрепавший,
 Просто сердце простреливший...
 Брат, в чужом краю пропавший,
 Сват, в тайге сибирской сгнивший...

Кто ты мне, мой век-разбойник,
 Резких красок злой метатель?
 Прадед был кулак-раскольник,
 Дед – партийный, председатель.

Красит лист октябрь подённо
 В красный, в белый, в серебро ли...
 Красный – с конницей Будённый,
 Белый – Мамонтов, Шкуро ли...

Ты, Воронеж, в переливах
 Цвета пёстр, в былое канув
 Вихрем белого прорыва,
 Маршем с красными полками.

В революцию, как в небо,
 Вместе с памятью всплываю...
 Век прошёл, а мне бы, мне бы
 Примириться как – не знаю.

* * *

Запросто мог бы на дно опуститься,
 Бомжем на лавке лежать в подворотне,
 Но твоё платье в горошек из ситца
 Чар колдовских во сто крат приворотней.

Как и откуда волшебные ветки
 Вызрели в нежных девичьих изгибах,
 Чтобы нести мои мёртвые клетки
 К солнцу за голую плату: спасибо!

Двор клокотал от порочных соблазнов,
 Лихо вытряхивал медные гроши...
 Ты выручала меня сообразно
 Сказке, где вырос до неба горошек.

Время откупоришь – ортодоксальным
 Страхом террора скорёжатся лица.
 Быть бы и мне бородатым и сальным,
 Если б не платье из яркого ситца.

В жизненной драке есть повод напиться
 Либо скатиться по скользкой дорожке...
 Но, затревожившись, платье из ситца
 Ссыплется под ноги горьким горошком.

* * *

Вдруг мне захотелось помчаться по кругу
 Тех вёсен, тех зим к закадычному другу –
 В распутицу, в наледь, в метельную полночь,
 Не водки попить, не покликать на помощь,
 А так, к настроенью, без всякой причины,
 Как это бывает порой у мужчины...

Петляла, виляла, блуждала дорожка...
 И вот они – улица, дом в три окошка,
 Крыльцо, где дощечки с кудрявой резьбой,
 И зябко в избе без дымков над трубою...
 К старинному другу по гулкому следу
 Никак не дойду, не домчусь, не доеду.

Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ, Москва



НЕМНОГО БАНАЛЬНО

Немного, совсем немного,
 И станет акулой минога.
 Немного, совсем немного,
 И станет Георгием Гога.
 Немного, совсем немного,
 И трассою станет дорога.
 Немного, совсем немного
 И ужасом станет тревога...
 И человеку до Бога,
 В сущности, тоже немного.
 Да только людей ту дорогу
 Проходит немного, немного

СТАЛЬ

Налить – налили, а пить не стали...
 Наверно сделаны мы из стали!
 Но нам сказали, мол, мы устали;
 мол, мы с годами слабее стали...
 Нет, не устали! Нет, мы из стали!
 Мы тут же встали – и наверстали!

САЙРА И КАЙРА

На просторе
 в стылом море
 косяками ходит сайра,
 а над морем
 ей на горе
 расправляет крылья кайра.
 Знает сайра
 в стылом море



много-много тайных мест,
но она бессильна в споре –
кайра
сайру
всяко съест.

* * *

А на крыше сизый сокол,
А под крышей чёрный грач,
А над миром всем, высоко –
Ангел, светел и горяч.

Сокол в небе ищет пищу,
У грача она в гробу,
Ангел смотрит, ангел свищет
И трубит в свою трубу...

Он оглянется неспешно,
Он отправится в полёт...
Всё вперёд – спасать нас грешных!
Только, видно, не спасёт...

Час придет, и клювом чёрным
Грач укажет нам маршрут,
И о том пути прискорбном
Перья сокола сплуют.

* * *

Парень я добрый и кроткий,
Мягкий, как будто воск;
Ехал я в Питер за водкой –
Прибыл я в Петрозаводск.

* * *

С ночи планов громадьё,
А утром встанешь – и адьё...

* * *

Смотрю на свои очертания...
– Ни черта не я, ни черта не я!

Евгений ЮШИН, Москва



* * *

Сначала март всегда обманет.
Под солнце выпорхнет капель,
Но день, другой и затуманит
Просторы хлёткая метель.

А ты доверился, открылся,
Как шубу, распахнул себя.
Весна – великая актриса,
То зло посмотрит, то любя.

То в ноги бросится ручьями,
То ледяной покажет клык,
Погладит ласково лучами,
Ветрами бьёт за воротник.

Иду к любимой в ливне света,
Горю весенним куражом!
Темнеет снег, но мил и этот
Сугроб, свернувшийся ежом.

В весеннем хоре все едины.
Грачи бунтуют у леска.
И хрустко вздрагивают льдины,
И друг о друга трут бока.

И неизбежное – свершится!
Коснусь твоих надменных рук.
Попробуй мне не покориться
Теперь, когда весна вокруг!?

ДИЧОК

Мимо ровно сложенных поленниц,
Мимо огородов и берёз
Тонкой лодкой проплывает месяц,
Расставляя вешки первых звёзд.

Хорошо, что здесь дорог не слышно.
Притулившись к сонному стожку,
Можно любоваться стройной вишней
И её цветущему снежку.

И живут тут Верка с бабой Шурой.
Молодёжь – давно по городам.
Что тут слушать? Как лягушки-дуры
Раздувают песни по прудам?

У крыльца медами плещут липы.
А вдали за тридевять холмов
По калёной трассе гонят джипы
Горячащий воздух городов.

Я познал неоновые брызги
И дворцов заморских кружева,
И теперь готов под небом близким
Понимать, зачем душа жива,

Понимать печалинку пичуги
Подпевать дождинкам и заре.
Мне-то в радость тишина округи,
Только Верке скучно в тишине.

На пруду толкаются утята,
Две овцы у бабкиных ворот.
Смотрит Верка зло и виновато,
Перстень одуванчиком плетёт.

И под грозный шум густого вяза
На тягучий и удушный смог
Выбегает яблонька на трассу –
Бестолкушка милая, дичок.

* * *

Я колю дрова – не поддаются.
Жила к жиле – скрученная прядь.
Вот присяду малость раздохнуться,
Годовые кольца посчитать.

Круг – потоньше, а другой – потолще,
А в ином – дожди и холода.
Это значит, у деревьев тоже
Разные сбываются года.

На ветру просушатся поленья,
Наберут последний солнца свет.
Вот и я стал крайним поколеньем:
Ни отца, ни мамы больше нет.

С думами о всех моих утратах
Брошу в печь полено, вздёрну бровь.

Ярко полетит огонь крылатый,
Запоёт про первую любовь.

И ему невольно подпевая,
Загрущу о юности всерьёз.
Изумрудным, захолустным маем
Бьются в небо родники берёз.

И гудят поленья, тянут выи.
Огонёк играет гребешком.
Догорают кольца годовые
Петушиным трепетным пушком.

Гляну в угол. Строгие иконы
Безотрывно смотрят на меня.
И поёт огонь, гудит и стонет,
Как гудит и стонет кровь моя.

Владимир ЯРЦЕВ, Новосибирск



* * *

Уже который год
Ищу забитый вход
В полузабытый дом.

Ищу калитку в сад,
Где много лет назад
Я бегал босиком.

Всё кажется: вот-вот,
Ещё чуть-чуть, почти,
Ищу который год –
И не могу найти.

Но! Прошлое во мне,
Внутри, а не вовне –
Со светлым потолком
В квартирной полумгле,

Со ржицей-васильком
В стакане на столе,
С окном, раскрытым в сад,
И запахами трав.

Но в скарлатине брат,
Босяк по кличке Граф –

И женская рука
На детском лбу лежит...
Всё хорошо, пока
Вечерний сад жужжит.
Но в сумерках вползёт
Беда сквозь щель в стене.
И доктор не придёт.
И брат умрёт во сне.

ДРИАДА

Там, где сомкнулись даль и высь,
Есть перспектива грозовая...
Не скаредничай, поделись
Хоть чем, подружка стволовая.

Мы обойдёмся без чудес,
Голь на диковинки не чутка –
Впусти меня в дремотный лес,
Нависший на краю рассудка.

Я ни на что не посягну,
Ветвей мифических не трону –
Лишь исподлобья всколыхну
Одну-единственную крону.

Сведи меня – сквозь птичий гам,
Под иволгину кантилену –
По серебристым мягким мхам,
Лишь ты которым знаешь цену,

По таволге, точащей сок,
К истокам бытия, в долину,
Чтоб я размять в ладони смог
Доисторическую глину.

Яви, как можешь только ты,
Насквозь обыденные вещи.
Избавь меня от слепоты.
Ясней! Отчётливее! Резче!

Где в обмороке озерцо,
Как зеркальце в грибной корзине,
Любимой светлое лицо
В холодной глади отрази мне.

... В том сундучке заветном, там
На дне, хоть что-то да осталось?
Так подели же эту малость,
Как пряник в детстве, – пополам.

* * *

В старом парке цветёт волчье лыко,
Ни беседок, ни светлых аллей.
Ну откуда взялась ты, улыбка,
Достоверная, словно улика, –
Для тебя! – господин дуралей?

Ну откуда и нежность, и жалость
Меж чубушников в парке пустом?
И она ничего не боялась,
Эта девушка, – шла и смеялась,
И глаза прикрывала зонтом...

* * *

Шмель, слетевший с рекламы «Билайна»,
Утолит желтизну в черноте.
Крановщица! Ни вира, ни майна
Не спасают. Ни эти, ни те.

Воскресает зверёк землеройка,
Котлован зарастает травой.
Крановщица, зачем эта стройка
И стрела над моей головой?

Прорицатели сядут в галошу,
Ну а лучше бы – сразу в тюрьму.
Опускай неподъёмную ношу,
Я холодные стропы приму.

* * *

На Руси всегда хватало смуты
И во ржи весёлых васильков.
Не делила время на минуты
Родина растраченных веков.

Жито дожинали. Шли на плаху.
И считал за честь последний тать
На груди холщовую рубаху
Надвое до поду распластать.

Устаю из-под руки смотреть я,
Дали не становятся светлей.
И спят, и застыт свет столетья
Безучастным пухом с тополей.

ЗАПАХ МОРКОВНИКА

Опускаются сумерки. Душно и пыльно.
Щёлкнул бич, и лениво вдоль улицы стадо прошло.
Час-другой, и заснёт утомлённое Пильно.
В Императорском атласе значилось это село.

Уцелевших домов, чем замшелых развалин,
Здесь едва ли не меньше. Впотьмах они еле видны.
Поскорей бы пролился, пускай и печален,
Зыбкий свет неизвестно куда запропавшей луны.

Бытие с забытьём так легко перепутать!
И, хотя над селом сладострастно висит духота, –
Не пришлось бы в платок плечи зябкие кутать,
Да согреешь ли душу... Трепещет душа неспроста.

Не ищи, всё равно не найдётся виновник.
Что ушло безвозвратно – ой, нет! – не былём
поросло.
Но травой с безобидным названьем «морковник»,
Сладкий запах которой укутал родное село.

* * *

Я безбытен. Выходит, безбеден.
И конфликт между мной и судьбой
Для меня абсолютно безвреден
И удар не опасен любой.

Раскулачить возможно ль идею?
В долговую внесённый тетрадь,
Не боюсь, потому что владею
Только тем, что нельзя потерять.

Михаил ЯСНОВ, Санкт-Петербург



* * *

Черепаша вышла на дорогу.
Осмотрелась. Встала в полный рост.
Но пустыня не внимала Богу
и совсем не слышно было звёзд.

Запахи резины и металла
наполняли маленькую грудь.
Шли машины. А она стояла,
молча собираясь в дальний путь.

Вот ещё чуть-чуть, ещё немножко,
и – вперёд, куда ведёт чутьё...
И сверкала лунная дорожка,
как медаль, на панцире её.

* * *

К утру, презрев ночные ГОСты,
как повелось на их веку,
цикады перетёрли звёзды
в небесную муку.

Какой неведомый умелец
сумел расположить в ветвях
бесчисленные крылья мельниц,
гремящие впотьмах?

По горло этим скрипом сыт он,
но их прервать ему невмочь.
И светом весь залив усыпан –
и ночь не в ночь!



* * *

В. Б.

Как говорил мой старший друг
(верна его наука):
нет безнадежнее разлук,
чем детская разлука.

Но оказалось, в жизни есть
разлуки безнадежней,
изъятые – с чего? Бог весть! –
небесною таможей.

Они хранятся где-то там,
на недоступном складе,
они подобны облакам,
записанным в тетради,

они застряли по пути,
хоть груза нет дороже...
Их в этом мире не найти,
и в этом небе – тоже.

* * *

Начинают быть слова –
в том-то и загвоздка! –
как в тумане острова
на душе подростка.
Он готов пуститься вплавь
за любым миражем.
То, что он увидит въявь,
мы ему не скажем.

Побелела голова,
что ни день – старею,
но по-прежнему слова
за душой лелею:
и плывут они во тьме –
рифы, пляжи, мели,
и никто не скажет мне,
что там, в самом деле.

* * *

Не кори меня, не проси меня –
не осталось ни снов, ни слов.
Эмигрирую в Обессилию,
как Рембо или Гумилёв.

Рифмы проданы, мысли розданы,
жизнь короче пульса в виске.
О тебе под чёрными звёздами
напишу на белом песке

Сохранив мой завет, буду мою,
словно каменное зерно,
море бросит его, не думая,
как игральную кость на дно.

Обниматься ли, целоваться ли –
где вы, царства былых широт?
И другая цивилизация
от тебя свой отсчёт начнёт.

* * *

Что нам ещё осталось?
Только слова, слова...
Отложим себе на старость
Немножечко волшебства.

Что-то мы бойко мчимся –
за жизнью не уследишь.
«Листья шуршат, как чипсы», –
сказал знакомый малыш.

Нянчу свою корысть я –
быть языку под стать.
«Чипсы шуршат, как листья», –
должен был он сказать.

Вслушиваюсь привычно
в эти слова извне:
то-то ему первично
то, что вторично мне.

Отложим себе на старость
Немножечко волшебства.
Что нам ещё осталось?
Только листва, листва...

* * *

А кто мужчин научит говорить?
Кто с их речей теперь снимает сливки?
Какая там связующая нить –
всё узелки какие-то, обрывки.

О этот дивный скрип духовных скреп,
которые становятся судьбою!
Чиновник туп, простолюдин нелеп,
интеллигент, естественно, в запое.

Как старый воин, синтаксис суров,
сплошные раны, шрамы и увечья.
И некому сказать хоть пару слов,
хоть пару слов сказать по-человечьи.

* * *

Карандашиком с грифелем острым
делай, делай отметки, не трусь!
С каждым годом всё горестней ростом,
всё теснее к земле становлюсь.

Никакому волшебному зелью
побороть этот путь не сули.
Уходить постепенно под землю
не больней, чем расти из земли.

Стихи студентов и выпускников Литературного института

Ольга АНИКИНА, Санкт-Петербург



* * *

Расплывается вечер по небу, чернеет пятном.
Здесь, у моря, любые цвета и любые предметы
меж собою похожи, особенно если темно.
Дело просто в количестве света.

Размываются лица. У края широкой воды
неподвижные спины врастают в песок валунами.
И пока мы глядим, как смыкается небо над нами,
кто-то нас высекает резцом
из большой темноты.

* * *

Звуки ночные в панельных домах
слышишь – до вздоха.
То ли соседка там бродит впотьмах,
то ли эпоха.

Голос за стенкой расплывчат и тих,
фразы всё те же...
«Нет, – говорит, – я устала, прости,
ноги не держат».

Ноги не держат, и руки дрожат,
стянуты жилы...
«Нет, – говорит, – я не буду рожать».
Значит, решила.

Голос ли, голубь ли, крыльями взмах,
из-за стены мне...
Звуки ночные в панельных домах,
звуки ночные.

СЕСТРА

Кто в миру блажен, тот у Бога – служка.
Окаянство правды моей прости:
для того и нужна мне сестра-простушка,
чтобы щи варить, да полы мести.

Так, одним – прибудет, другим – зачтётся,
а она, бедовая голова,
понимает, что не о том печётся,
но молчит и колет свои дрова.

Разгребает стойло, траншеею роет,
на нужду не жалится до поры.
А у Бога будут свои герои.
Среди них не видно моей сестры.

Оттого в глаза ей смотреть нет мочи.
А она готовит: блины, кутью –
и уходит в мёрзлый суглинок молча,
и с собою тащит вино мою.

* * *

Над старой канавой пырея густые вихры,
мои маргаритки, мои золотые шары,
ивняк серебрится над заводью, сгорблен и сед,
горячая память, глухой облепиховый свет.

О дым погребальной сирени, сиреневый дым,
скажи мне то имя, которое было моим.
О маковый ящер, ты держишь мой голос силком
на угольном шёлке под алым своим языком.

Ни слова не слышу, сияет зрачков чернота,
в закопанных бочках в саду замерзает вода,
на этой земле, и никак меня здесь не зовут,
где травы бледнеют, и бурые пятна текут.

Верни меня, дом мой, в свои ледяные круги,
оклихни меня, звоном яблочным, громом ирги,
своим чечевичным, горелым, пустым забытьём
насильно меня накорми на пороге своём.

* * *

Пока никто из нас не вписан
в нечёткий круг,
нарвём петрушки и редиса,
проподем лук,

поговорим, о чём ничего не смыслим
ни ты ни я,
возьмём в ларьке как будто рислинг,
почти коньяк.

Не тянет пазуху ни камень,
ни золотник.
У рыбы в море-океане
горит плавник.

За домом ива серебрится,
как снег зимой.
Ларёк закрыла продавщица.
Бредёт домой.

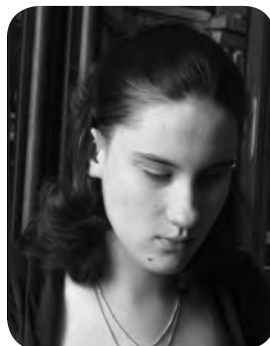
Просыпалась на землю кашка
сквозь решето.
Пока никто из нас, пока что
ещё никто.

* * *

От красных петухов до красных гор
идёт подвода узкими воротами.
Я вышиваю медленный узор,
как на Руси положено – крестами.

И я чуть-чуть подольше не умру
в стежках, что лягут – красное на белом –
за безголовым петушиным телом,
бегущим вокруг по зимнему двору.

Алина КОСТЮЧЕНКО, Москва



ХУДОЖНИК

Мне тёплый луч ложится на ладонь.
На холст перенесу его огонь.
Огнём нарисовать тебя хочу
Похожей на горящую свечу.

Тебя я нарисую за столом,
Когда ты будешь сочинять о том,
Как тёплый луч ложится на ладонь,
Как я на холст переношу его огонь.

* * *

Это – день, звучащий в полный голос.
Это – свет, наполнивший пространство.
Это – телефона звон весёлый
И друзей хороших постоянство.

Это – грозы середины лета.
Это – после ливня птичье пенье.
Это – в тучах будней проблеск света.
Это всё – мой летний день рождения!..

ПРОЩАНИЕ С ДЕТСТВОМ

*Девочка плачет: шарик улетел...
Б. Окуджава*

Как хорошо в пятнадцать лет
Ладонями ловить рассвет!
Так гулок воздух. Пенье птиц:
Скворцов весёлых и синиц.

Другой язык начну учить:
Как хорошо рукой водить

Мы не боги, не святые и неправильно запятые
расставляем порой, но мысли нас уносят
в горние выси.

Люди уходят в горы, горы уходят в небо –
высланное к Богу, выщербленное донельзя.

Не нужно лоций, звёздное небо расчерчено
поквадратно, вход в приватное полотно
бесплатный.

Однажды меня отпустят, не отпустят – убегу!
Волшебное искусство на звёздном берегу:
вселенские картины – Корона, Лира, Змей...
Ваятель сущего, Творец, сочти меня «своей»!

Неудержимой меткой сорвусь, на парусах
соломенного ветра отправлюсь в небеса,
а если затеряюсь, отзовись на гулкий стон
и укажи на ближний странноприимный дом.

ДОМ ИЗО ЛЬДА

Пламя осеннего ветра – листва взлетела...
И будет день, я постучу
в каждый дом,
и каждый дом отзовется
во мне
тоской, случайно, как всплеск
подо льдом,

и в доме каждом привидится свет
в глубине.
И будет ночь, я закричу
подо льдом,
что белый свет лишь привиделся
мне!
Вздвогнут призраки в доме
пустом,
да растревоженный свет уползёт
по стене.

ПРОСТО ОСЕНЬ

обрушь на них это:
жёлтые, красные, оранжевые, коричневые листья
они умеют красиво умирать, листья
и ты, Лис, лист
неприрученный, неприкаянный, красиво
умирающий
ты один из них, красиво уходящих
ты один

Тимофей МАЛЫШЕВ, Москва



НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Озябший серп луны морозный свет бросает,
И по снегу скользят белёдые лучи,
И крики старых сов как хлопья опадают,
И хор небесных сфер как реквием звучит.

И фонари глядят горящими глазами
В заиндеветый лес, звенящий и пустой,
И машет серафим небесными крылами,
Летая в вышине над стройною луной.

ПЕПЕЛЬНО-ПЕННЫЕ НЕБЕСА

Прекрасен серый цвет, когда крупички влаги,
Как стаи синих птиц, садятся на траву,
И странно шелестят лесистые овраги,
И ивы клонят ниц зелёную главу.

Рождается минор симфонии беззвучья
За сферами пространств и познанных миров,
С далёких звёзд летят сиреневые тучи
Среди голубизны парящих облаков.

В реке бурлят струи извечного забвенья,
И фавны струны рвут своих волшебных лир.
В глуби лесных озёр рождается движенье,
И в тёмные клубы свивается эфир.

Когда янтарный цвет приобретает влага,
И белые цветы стенают о былом,
И слышен странный плач в безмолвии оврага,
Прекрасен серый цвет в бесцветии своём.

Ангелина САБИТОВА, Челябинск



* * *

ты родился травинкой
у тебя нет ни матери ни отца
молоком зелёным деревья вскормили тебя –
и вот ты лес
но забытый лежишь на земле и скулишь как пёс

посмотри что господь-лесоруб в ладонях
своих принёс
стелется по земле зелёная кровь старика
звери лижут её с земли
как легка
тяжела душа твоя ушедшая словно в пятки но
в облака –
в этот лес бледный призрачный как фарфор

я лягу рядом с тобой
подставлю голову под топор

* * *

случилось
это случилось
сначала снилось
каждую ночь

и тебе тоже – ты плакал во сне –
тем самым себя выдавал

и наконец сбылось
озеро для которого мы рыли всю жизнь котлован –

(когда он достиг размеров земного шара,
когда планета превратилась в результат
нашего труда,
когда мы несколько раз полегли за работой
и возродились снова,

только тогда мы напоили его водой,
только тогда смело сказали «живи вместо нас»)

оно обмелело

как мои губы
как мои руки
как моё тело

оно пересохло

как твои губы
как твои руки
как твоё тело

превратилось в лунный кратер
мертвенную впадину
просуществовав совсем недолго

(теперь я знаю, какую боль чувствовала моя мама,
когда я навсегда уехала из дома, оставив записку,
что покончила с собой – чтобы не искали)

но мы знали это с самого начала
я помню твои слова о том, что любые наши
действия – это вмешательство в природу
и что ничего хорошего из этого не выйдет
и что только сидеть сложа руки – во благо этой
планете

когда озеро – плод нашей многолетней любви –
пересохло
у тебя больше не осталось слёз

но ночью нам по-прежнему хочется плакать
когда оно смотрит на нас, подсвеченное, с луны

кто из нас теперь искусственный водоём?
мы вдвоём

* * *

это синдром орфея
не переставая смотреть вслед
уходящему поезду

и мелькающие в окнах ладони ещё долго
сияют вдалеке
и тают

я хочу, чтобы провожающие навсегда остались
в вагонах
и хочу, чтобы они знали правду

мы последние свидетели того,
как поезд безвозвратно уйдёт и не вернётся

проводжающие, вы больше никогда не встретите
тех, кого проводили

только не говори, что всё возвращается:
добрые или злые дела, женщины, которых ты
ласкал, блудные дети

если так, то почему мы столько лет стоим одни
на этом перроне,
и никто нас не узнаёт, не обнимет, не заберёт

откуда тебе известно, куда уезжают твои друзья,
чужие жены, дети
этих городов не существует, как ты не понимаешь –
повсюду одни перроны

я тоже когда-то уехала, успела состариться
и умереть
и никто, никто меня больше с тех пор не видел
родные ещё долго помнили меня по моим
фотографиям,
но когда от человека остаётся только его
изображение и ничего больше,
его обязательно забудут

теперь мой каменный взгляд тяжелее поезда
и я больше не могу изменить поворота головы
это болезнь орфея
смотреть вслед

и никакого пути назад

говорят, уезжать всегда проще
но никто не говорит о том, что это значит
исчезнуть навсегда

Даниил СИЗОВ, Тюмень



ЭНТРОПИЯ

Что ж, пусть не за стеной, так – за забором
Стоять, прикидываясь мелким вором
И без малейшего желания украсть,
Листом пожухлым на траву упасть.

Как сторож с допотопной колотушкой,
Ты мечешься вокруг своей избушки
И тщетно ждёшь когда придет лесник,
Чтобы скосить роскошный твой цветник.

Пока не стёрты письма на скалах –
Приходится их списывать устало,
Чтобы затем учёный буквоед
Их расшифровкой озарил весь свет.

И даже товарняк – куда уж прятный –
Нам кажется вдали подвижной ниткой,
Которую обрежешь без труда,
А ближе – не подходят поезда.

Музей, театры, биржи, церкви, банки
Похожи на буфет на полустанке –
Зашёл, у столика лениво постоял,
Деваться некуда – надолго здесь застрял.

Возьмёшь кроссворд – все сходятся слова,
Лишь на одном сломалась голова:
На «С», шесть клеток (на всю ночь борьба),
Ты думал «СЛУЧАЙ»? Нет, пиши: «СУДЬБА».

ВОЕННЫЕ ПИСЬМА

Фонарь потёмки разогнал –
В углу чердачном – писем связка,
Бог мой! Ведь это дед писал,
Что в госпитале жмёт повязка.

И дата – сорок пятый год,
Я сутки разбирал посланья
О том, как в первый шли поход
До слов последних «до свиданья!»

Дед не вернулся с той войны,
Но он был здесь, был голос ясен –
От Вислы до родной Шексны
Воздушный путь был безопасен.

Никто его не прерывал,
И я молчал, убив сомненье,
Что тот, кто эту дверь вставлял –
Имеет право на вхожденье.

* * *

Тех чудных вывесок обрывки и осколки
Лежат на трансцендентной барахолке –
Ненужная космическая мгла
Когда-то моей азбукой была.

Я угнетён масштабностью потери,
Похоже, заколочены те двери,
Стучишься – только мёртвый гул в ответ,
Как в доме Ашеро́в – из окон странный свет,

Зажжённый кем? – Не ведаю, не знаю,
Но постепенно на фасаде различаю
То счастье, отчего чуть не ослеп:
«Больница», «Книги», «Кинотеатр», «Хлеб».



Даниил ТЕСТОВ, Сыктывкар



ОБРАЗ

«Поэзия темна, в словах невыразима»

И. А. Бунин

Ты снова просишь рассказать про север,
Но эти образы в строку не заковать:
Дождями вытопанный, но цветущий клевер,
Лесов безбрежную и пасмурную гладь.

Я говорил, что умирали травы
Под покрывалом снежных паутин,
А тучи осыпались на дубравы:
На иглы елей и листву рябин.
О том, что звёзды сочиняют небылицы:
Они хотели рухнуть в шум воды
И на свои же отраженья опуститься,
Но только вмёрзли в небо до весны.
О том, что ночь ободранной вороной
Бросалась в мех медведицы-зимы,
Костры венчали пышною короной
Озябшие усталые холмы.

НАШ СЕВЕР

Холодный ветер ждёт немного жеста,
Чтоб рухнуть с белых крыш куда-то вниз.
А в чёрном небе не хватает места,
Рассвету и закату разойтись.
Перчатки нежно греют батарею,
Обняв её холодное ребро.
Повсюду снег...
Я здесь. И не жалею.
Давай вольёмся в это серебро!
Не отходи, будь рядом, будь со мной.
Здесь даже светофор покрылся льдом,
Примёрзший цвет, окутанный зимой,
Всё бьётся неуёмным снегирём.

На городе холодные оковы,
Угрюмый лес по улицам разлит.
Наш Север...
...столь прекрасный, сколь суровый.

Я буду ближе, чтобы выжить...
Чтобы жить.

Ульяна ЦОЙ, Лобня, Московская обл.



* * *

Так много пустых разговоров,
Так тихо кончается год.
И поезд идёт без приборов,
Врезается в поворот.
И сходит с ума, а не с рельсов,
И все пассажиры – с ума.
О, безобразная Эльза,
Ты всё это знаешь сама.
В июне в какую-то среду
Мы бросим и пить и молчать.
Ведь столько отборного бреда,
Когда будто бы есть что сказать.
Но только не так, не взаправду,
А ежли – то сиднем, молчком.
Отдай поклонение Сартру.
Не путай трона с толчком.
Отдай поклонение прозе,
Извечный выплюни ком,
Лежа в неестественной позе,
Являя похмельный синдром.
И встань, наконец, на колени.
И стой. И гляди на восток,
Как наползает из тени
Солнце на твой городок.
Конечно, сырой и унылый,
А всё потому, что родной.
Где дом – плита над могилой,

В которой схоронен герой.
И вот эти плиты повсюду
Стоят, ожидая гостей,
Что курят, швыряют посуду
И даже рожают детей.
И собирают снаряды,
Летят от звезды до звезды,
Ни что им, по сути, не надо.
И каждый из них это ты.
Не хочется вовсе героем.
В ногу. В шеренгу. И в бой.
Каждый, воспитанный горем,
Несёт, как дитя, свою боль.
Расти, моя пташка, и крепни.
Агу, ангелок красоты.
И в день, когда вовсе ослепну,
Налей мне стакан кислоты.
И пусть до того, как забыться,
Успею проклясть и простить
За то, что могло бы случиться,
за всё, что хотелось любить.
Из этих пустых разговоров
Не получился рассказ.
И поезд идёт без приборов
На
Нас.

* * *

Когда с теми, кто дорог,
Разойдётся. В пух и прах
Разнесёшь вечера разговоров,
Сотрёшь номера...
Вот тогда ты объёмом задышишь,
Тем, что вложен был в твою грудь.
И уснёшь, и во сне услышишь:
«Не прощай. Забудь».

Не развернется твердь, не рухнет
С неба солнце в который раз.
Только кофе сбежит на кухне,
Потушит газ.
И как будто усталость усадит,
Подбородок направит в ладонь.
И хрусталик глаза оплавит
Ледяной огонь...

Так позволишь себе минуту
Не раскаяться – просто ждать.
Обещал же во сне кому-то
Забыть, не прощать.
А потом станет будто легче.
И наступит новый восход.
Время вовсе порой не лечит.
Но оно идёт.

Клементина ШИРШОВА, Москва



тогда жизнь подошла вплотную и пёсёй мордой
 потянулась меня сожрать сквозь тугие прутья.
 пусть она ядовито хрипела – иди работай,
 я позволила только страницу перелистнуть мне.

а потом жизнь ушла и долго не появлялась.
 я как прежде читала книгу, смотрела в небо.
 я гадала по строкам, сколько же мне осталось –
 я скрошила воронам остатки ржаного хлеба.
 я читала снова и снова, гнала усталость.
 я звонила маме, плакала и молилась.

когда жизнь вернулась, мало не показалось.
 но у книги конец такой, что тебе не снилось.

* * *

похоже, опять пора
 быть выпитым из ведра
 разгуливать до утра
 свободнее, чем ветра

и вновь достигая дна
 своё получить сполна
 смириться, что ночь длинна
 ждать лучшие времена

не слушать чужой совет
 смотреть на парад планет
 ни жизни, ни смерти нет

ни жизни, ни смерти нет

* * *

раньше цветы тянулись к моим ладоням,
 теперь вянут, вжимаясь в землю с моим приходом.
 смотрю на своё лицо, будто впервые вижу.
 господи, ты не знаешь как его презираю,
 бледное, измождённое и кривое.
 я тебе, господь, говорю такое:
 ничего не бывает, поскольку всё умирает.
 не сердись, пожалуйста, повремени с ответом.
 полагаю, нам будет лучше молчать об этом.

* * *

чудеса закончились, стало тревожно тихо –
 это жизнь подкралась на цыпочках вдоль ограды.
 за оградой сидела я, не встречая лиха,
 но читая книгу в тени городского сада.

Роман ЯПИШИН, Челябинск



ДЕТВОРА

Скоропостижный день.
 Седая детвора
 Возьмёт тебя к себе, в обитель устаревших.
 Смотри, как длится тень,
 И как растёт гора
 В объятиях двора под песни местных леших.

Смотри в стеклопакет,
 Смотри в него насквозь,
 Не то упрётся взгляд в униженное нечто.
 Вдруг закричит паркет:
 В нём шевелится гвоздь,
 Не понимая, что он вбит туда навечно.

Коварство матерей
 Поймёшь, упрямый сын,
 Рождённый без вины на неродной планете.
 Возьми большую дрель
 Во славу выходным
 И помолись часам, что б не старели дети.

**СОЛЖЕНИЕ**

Скажи меня, Боже, скажи!
Пускай мной щебечут стрижи!
А если не хочешь сказать,
Соври, почему не соврать?
Соври меня, просто соври,
Пусть думают все пустыри,
Что я, этот лживенький я –
Действительно часть бытия.
Пусть знают, что был я реком
Ручьистым твоим языком.

И травы столпятся у ног,
Застелют тревогу дорог,
И раны затянут тайком
Берёзы зарёванным ртом,
И клёны укроют стеной,
И встанет тогда надо мной
Твой жилистый смех на прощанье.
Мы все твоё, Боже, молчанье.

НЕЛЬЗЯ

Люди копятя, как мыши
На зернистых фотоснимках.
Я стараюсь думать тише
Об ацтеках, майя, инках.

Ты кусаешь серый полдень
Самой праведной зевотой,
Пополняя грозный орден
Проживателей судьботы.

Я живу за счёт поблажек
От начальства всех зачатых.
Значит, я предельно важен,
Значит, я могу быть частым

Гостем негостеприимных
Улиц, жаждущих морозов,
Зафиксированных длительно
В позапрошлогодных позах.

Где тебя нельзя не встретить,
Ждущую трамвайный ветер
На почти пустой планете.
Где нельзя, но я не встретил.

Критика и литературоведение

Наталья ГРАНЦЕВА, Санкт-Петербург



К 300-летию со дня рождения А. П. Сумарокова
ДРУГ ВОЛЬТЕРА, СЕВЕРНЫЙ РАСИН

«Имя Сумарокова было в своё время так же велико, как имя Ломоносова» – утверждал спустя четверть века после смерти поэта Николай Карамзин.

А спустя ещё четверть века Александр Пушкин назвал старшего собрата по перу «несчастнейшим из подражателей».

Теперь, спустя 300 лет, минувших со дня рождения Александра Петровича Сумарокова, очевидно, что место поэта в истории российской литературы незыблемо, роль его в формировании отечественной культуры – особенно в сфере культуры массовой – даже более значительна, чем роль Ломоносова.

Но чем может быть интересен современному читателю Александр Сумароков? Во-первых, своей жизненной позицией, преданностью литературе, страстной любовью к русскому языку, благородством дел и помыслов в поэзии. Он признавал себя представителем служивой аристократии, призванной нести свет знания в народные массы, формировать литературный вкус и чувство прекрасного.

Сумароков был внуком и сыном тех, кто, несмотря на перемены на московском троне, последовательно поддерживал ту часть государственных управленцев, которые вели страну к назревшим преобразованиям, глубоким реформам по западному образцу. Его дед активно действовал в окружении царя Фёдора (отменил местничество!), затем служил в команде Петра Алексеевича (впоследствии – императора).

Отец Александра даже был крестником самого царя! Можно сказать, что три поколения Сумароковых стали частью новой государственной элиты, продвигающей европейские культурные образцы и стремившейся вписаться в направления европейского развития. Поколение внуков преобразователей, сподвижников создателя Российской империи, воспитывалось наследниками великой миссии построения нового государства и новой культуры, те, кто в будущем составят цвет нации просвещёнными гражданами своего отечества, которые могли в любой момент к штыку приравнять перо.

Недаром уже в зрелом возрасте поэт не раз мысленно обращался к образу Петра Великого, к каждому памятного месту, связанному с биографией императора, относился с нежным благоговением:

К ДОМИКУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

В пустынях хижинка построена сия,
Не для затворника соорили ея:
В порфире, с скипетром, с державой и короной
Великий государь имел жилище в оной.
Лъзя ль пышный было град сим домом обещать?
Никто не мог того в то время предвещать;
Но то исполнилось; стал город скоро в цвете...
Каков сей домик мал, так Пётр велик на свете.
<1756>

Конечно, было бы интересно увидеть детские и юношеские стихи талантливого мальчика, родившегося в небольшом городке на окраине Швеции

в 1717 году, в пору Северной войны – приграничные территории русский царь методично и с переменным успехом тогда ещё только отвоёвывал у многолетнего противника. Сейчас петербургские туристы едва ли не каждый день могут приезжать в Финляндию, в составе которой ныне числится милый патриархальный городок Лаппиенранте и где появился на свет Александр Сумароков. Хвойные, озёрные, скалистые края, способные пробудить в душе ребёнка недюжинные творческие силы. Но мы не знаем, когда в душе Александра вспыхнул поэтический дар. Сам поэт впоследствии утверждал, что бросил в камин все стихи, написанные им за первые девять лет... Сейчас в наследии автора сохранился текст, восхваляющий императрицу Анну Иоанновну, датированный 1739 годом:

Как теперь начать Анну поздравляти,
 Не могу когда слов таких сыскати,
 Из которых ей похвалу сплетати
 Иль неволей мне будет промолчати?
 Но смолчать нельзя! Что ж мне взять за средство,
 Не умея ж петь, чтоб не впасти в бедство,
 Тем, что ей должна похвала толика,
 Коль она славна в свете и велика?

Двадцатидвухлетний стихотворец не только признаётся, что не умеет «петь», но и показывает весьма слабый уровень плетения виршей. Возможно, его ещё не интересовала поэзия и «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», выпущенный незадолго до этого В. К. Тредиаковским. Тем более удивительно, какой мощный толчок дала развитию поэта волшебная силлаботоника, вышедшая на сцену литературной жизни. Возможно, если б не это обстоятельство, просвещённый юноша мог бы сделать хорошую карьеру на госслужбе, как его дед, отец, ровесники. Сумароков, этот невысокий, рыжеватый рябой (следы оспы на лице) «горячий финский парень» учился и впоследствии преподавал в заведении, которое его питомцы именовали Рыцарской Академией. А официально оно называлось Сухопутный Шляхетский корпус. Это было что-то вроде Лицея, созданного в правление Анны Иоанновны (1732). Располагалось оно в лучшем здании столицы – Меншиковском дворце. Александр не только был в числе первых учеников, но и решением педагогов по окончании учёбы был поощрён изданием книги своих ученических стихов. Юному автору и ученику-перфекционисту приятно признание старших, но впоследствии приходится ранние вирши сжигать и извиняться перед читателями, остерегая юные таланты от преждевременных литературных дебютов.



А. П. Сумароков (Худ. Ф. С. Рокотов)

Здесь надо отметить одно важное обстоятельство литературной судьбы Сумарокова – одновременный расцвет его поэтического дара и педагогического таланта. Значительная часть его наследия – это воспитательные опыты для молодого поколения, в том числе и на примере своих собственных заблуждений и ошибок. В этом смысле можно сказать, что, как первый профессиональный автор, Александр Петрович смоделировал будущие поведенческие стратегии стихотворцев будущих времён. И через сто лет после его опытов являлось немало литераторов, которые кусали локти, поспешно издав первые книги, и вскоре разыскивали их, чтобы в отчаянье бросить в камин... Ныне – редкое свидетельство возмужания.

Всё то, что написано Сумароковым о таланте, образовании, литературном вкусе, культуре речи, и сейчас не потеряло своей актуальности и может быть предложено в качестве учебных пособий ученикам гуманитарных гимназий и начинающим поэтам. Обе сумароковские эпистолы – о русском языке и стихотворстве – могут и сейчас быть руководством к действию подобно «Науке поэзии» Горация:

Довольно наш язык в себе имеет слов,
 Но нет довольного числа на нём писцов.
 Один, последуя несвойственному складу,
 Влечёт в Германию Российскую Палладу
 И, мня, что тем он ей приятства придаёт,
 Природну красоту с лица ея берёт.
 Другой, не выучась так грамоте, как должно,
 По-русски, думает, всего сказать не можно,

И, взяв пригоршни слов чужих, сплетает речь
Языком собственным, достойну только сжечь.
.....

Хотя перед тобой в три пуда лексикон,
Не мни, чтоб помощь дал тебе велику он,
Коль речи и слова поставишь без порядка,
И будет перевод твой некая загадка,
Которую никто не отгадает век;
То даром, что слова все точно ты нарек.
Когда переводить захочешь беспорочно,
Не то, — творцов мне дух яви и силу точно.
Язык наш сладок, чист, и пышен, и богат,
Но скупно вносим мы в него хороший склад.
.....

Нельзя, чтоб тот себя письмом своим
прославил,
Кто грамматических не знает свойств, ни правил
И, правильно письма не смысла сочинить,
Захочет вдруг творцом и стихотворцем быть.
Он только лишь слова на рифму прибирает,
Но соплетенный вздор стихами называет.
И что он соплетет нескладно, без труда,
Передо всеми то читает без стыда.
.....

Стихи слагать не так легко, как многим мнится.
Незнающий одной и рифмой утомится.
Не должно, чтоб она в плен нашу мысль брала,
Но чтобы нашею невольницей была.
Не надобно за ней без памяти гоняться:
Она должна сама нам в разуме встречаться
И, кстати прихотив, ложиться, где велят.
Невольные стихи чтеца не веселят.
.....

Нечаянно стихи из разума не лютятся,
И мысли ясные невежам не даются.
.....

О чудные творцы, престаньте вздор сплетать!
Нет славы никакой несмысленно писать.
Во окончании ещё напоминаю
О разности стихов и речи повторяю:
Коль хочешь петь стихи, помысли ты сперва,
К чему твоя, творец, способна голова.
.....
<1747>

Трудно поверить, что прошло всего восемь лет с тех пор, как Александр Сумароков написал беспомощные поздравительные вирши Анне Иоанновне. Теперь, в 1747 году, когда созданы эпистолы, перед нами опытный поэт, ментор, мастер,

наставник. Речь его жива, афористична, свободна... В море поэзии автор плавает как рыба в воде. Впереди у него ещё 30 лет творческой жизни. И все эти годы он будет неустанно взывать к юным стихотворцам со стихотворными и прозаическими воззваниями, направленными на то, чтобы создать российскую литературу равновеликую европейской.

Надо сказать, что литературное и научное творческое сословие в те времена формировалось преимущественно из представителей дипломатического и переводческого корпуса. Овладев иностранными языками, эти первоначальные творцы давали россиянам «эталонные» тексты в переводах на родной, русский. Сам же русский ещё не был в достаточной мере нормирован, никакого представления о литературном языке, как законном инструменте, пишущий чаще всего не имел, да и учение о трёх стилях только формировалось. Поэтому ещё очень долго в общественном пространстве образованные слои в прямом смысле изъяснялись на смеси «французского с нижегородским». К тому же на дворе царил Век просвещения, и французские авторитеты в литературе для россиян были наставниками и арбитрами. Александр Сумароков состоял в переписке с Вольтером и иногда взывал к нему как к третьей судьбе. Но в вопросе чистоты и красоты русского литературного языка он был сам себе лучший судья! И действительно, поэт обладал великолепным чувством слова, редким музыкальным и эстетическим вкусом. Из всех поэтов XVIII века ныне стихи Сумарокова выглядят наименее архаично! Значит, он интуитивно убирал из своей лексики потенциально не жизнеспособные формы.

И мы сейчас отчётливо видим, что в его стихах, например, нет модных сорняков-галлицизмов или засилья церковно-славянизмов.

Поэт прямо и сердито высказался относительно злоупотребления французскими включениями в литературных текстах в стихотворении «О французском языке» (между 1771–1774):

О ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Взращен дитя твое и стал уже детина,
Учился, научен, учился, стал скотина;
К чему, что твой сынок чужой язык постиг,
Когда себе плода не собрал он со книг?
.....

И есть родители, желаючи того,
По-русски б дети их не знали ничего.
.....



Во всех землях умы великие родятся,
А глупости всегда ж и более плодятся,
И мода стран чужих России не закон:
Мне мнится, всё равно – присядка и поклон.
.....

Кто русско золото французской медью медит, –
Ругает свой язык и по-французски бредит.
.....

Пиитов на Руси умножилось число,
И все примаются за это ремесло.
Не соловьи поют, кукушки то кукуют,
И врут, и враки те друг друга критикуют;
И только тот из них поменее наврал,
Кто менее еще бумаги замарал.

Отдельно Сумароков обращал внимание пишущих не только на необходимость глубокого образования, но и на расширение авторского словаря. Как можно сочинить эталонное произведение, если для русских рифм словарного запаса не хватает?

О ХУДЫХ РИФМОТВОРЦАХ

.....

Сапожник учится, как делать сапоги,
Пирожник учится, как делать пироги;
А повар иногда, коль стряпать он умеет,
Доходу более профессора имеет;
В поэзии ль одной уставы таковы,
Что к ним не надобно ученой головы?
В других познаниях текли бы мысли дружно,
А во поэзии еще и сердце нужно.
В иной науке вкус не стоит ничего,
А во поэзии не можно без него.

Поэт неустанно вёл борьбу против чрезмерного употребления модной иноязычной лексики, которая воспринималась молодыми авторами как суперсовременное и прогрессивное явление. Он прямо обращался к «несмысленным стихотворцам» и виршесплетателям, обвиняя их в невежестве и кривописании. «С новой модою вошло было к нам и новомодное кривописание».

Он утверждал, что из-за неразумных заимствований погибли Еллинский и Латинский языки. Он призывал «отфильтровать» литературный русский язык, который естественным образом складывался, по его мнению, из скифского, немецкого, татарского, голландского, латинского, греческого, французского и бог еще знает из чего, пригодного для выполнения простейших коммуникативных функций.

С досадой писал: «Мне смешно, что мы втаскиваем чужие слова, а ещё смешнее, не многие смеются, хотя язык народа и не последнее дело в народе. Силой въехали в наш язык, их трудно выжить, десять человек их вытаскивают, а многие тысячи ввозят». Считал, что русскому языку приносят вред не только плохие писатели и переводчики, но более всего – «худые стихотворцы», призывал не отдавать в печать явный вздор. Понимал силу печатного слова: «Простой народ почитает то всё законом, когда что хотя и к бесчестию автора напечатано».

Слова благородство, долг, честь, достоинство были для поэта не пустыми звуками.

А разве нас и ныне не тревожит состояние русского языка, перенасыщенного заокеанскими заимствованиями и стремлением молодёжи к «новомодному кривописанию»?

Александр Сумароков в своем творчестве пытался дать эталонные образцы всех литературных форм. Он писал духовные оды, эпистолы, эклоги, идиллии, элегии, сонеты, баллады, рондо, стансы, мадригалы, сатиры, притчи, сказки, эпиграммы, эпитафии, хоры, песни, пародии, переводы. Поэт на своём примере обучал молодых стихотворцев простоте и изяществу стиля, чёткости мысли, актуальности и прямоте высказывания. Но не только. Поэт обладал ярким социально-политическим темпераментом, неустанно обращался к лучшему в человеке, восхвалял добродетели и осуждал пороки и злодеяния. Он обострённо воспринимал социальную несправедливость, взывал к милосердию и состраданию:

Танцовщик! Ты богат. Профессор! Ты убог.
Конечно, голова в почтеньи меньше ног.
1759

К середине жизни Сумароков вырос в настоящего мастера и литературного эксперта, способного дать материал для формирования школьных образовательных программ необходимого качества. Они в свою очередь оказались нужными для гуманитарного образования педагогических кадров. В соответствии с требованиями эпохи Просвещения, этот деятельный человек ориентировался на ясность и простоту литературного высказывания, которые стали базовыми принципами для выстраивания российских образовательных программ. В то же время эта «школьная» стратегия вела к тому, что заданные Сумароковым параметры творчества неизбежно влекли за собой несправедливое осуждение тех авторов, которые выходили за рамки упрощённых моделей и предлагали более сложные для норм классицизма художественные решения. В

этом плане оппонентами Сумарокова закономерно становились такие крупные литературные фигуры как В. К. Тредиаковский и М. В. Ломоносов.

Современники всех трёх сравнивали их то с Горацием, то с Вергилием, то с Пиндаром – образцовыми авторами античности. Но как создать эталонные произведения в таких условиях, когда декларируется полный отказ от прошлой литературы, когда сам инструмент – русский язык – находится в неустоявшемся состоянии, когда на ходу меняется не только состав словаря, но и правила грамматики и орфографии? Это всё равно, как если бы машинист взялся управлять движущимся поездом и в процессе движения менял бы конструкции колёс, дверей, устанавливал бы, не сбавляя скорости, дополнительные пары колёс, менял паровую тягу на лошадиную и наоборот. А рядом стояли бы ещё два таких же инициативных машиниста-изобретателя... Столкновение мнений было бы неизбежно на каждом шагу.

В случае с Сумароковым можно отметить, что он не робел перед академическими авторитетами, активно оппонировал старшим коллегам, иногда переходил на личности, высмеивал оппонентов, критиковал их творчество. У Сумарокова было развитое языковое чутьё. Он сражался за чистоту и красоту литературного языка, вёл работу по отбору лексических средств, пригодных для создания великой поэзии. Ломоносов и Тредиаковский исходили из своих моделей, формулировали способы стихосложения, конструировали «штили», а Сумароков призывал стихотворцев не по узаконенным регламентациям, а активно и самостоятельно формировать нормы живого литературного языка. Хотя он и насмехался над стихами Тредиаковского, называл поэзию Ломоносова «надутой» и «пухлой», но и к себе относился с высокой требовательностью. Сумароков высокомерно заявлял, что Ломоносов и Тредиаковский регламентируют язык и культуру, не зная и не чувствуя красоты московской русской речи, ибо родились не в культурной дворянской среде, а в провинциальных семьях из социальных низов.

Дискуссия была многолетней, Ломоносов и Тредиаковский отвечали – иногда возмущённо и свысока – они формировали науку филологию. Сумароков всю жизнь яростно отрицал утверждения, что был учеником Ломоносова, он считал себя более одарённым и опытным поэтом, достойным членства в Академии. Академиком он так и не стал, но это ли обстоятельство послужило двигателем неугасимого конфликта?

Хоть стихи А. Сумарокова и входят в антологии и хрестоматии литературы XVIII века, но неформально он был изъят из большого культурного про-

странства с лёгкой руки В. Г. Белинского, который безапелляционно заявил, что вся поэзия XVIII века бесполезна для развития литературы. По существу, целое столетие – всего-то одно из трёх! – базовое для понимания литературного процесса – было выбито из-под ног будущих поколений, упоминания славных имён первооткрывателей остались лишь в пушкинских отзывах. Повезло только Ломоносову и Державину, но и их литературное наследие не вполне оценено.

Глядя из нынешнего времени, можно предполагать, что природный поэтический дар Сумарокова был по преимуществу лирическим. Опора на естественность и простоту выражения породила значительную литературную традицию в массовой культуре, представленную уже в наше время не только рэпом, но и прочими достижениями «высокого деграданса».

Пытался Сумароков конкурировать с современниками и в области высокого стиля и сложных форм. Жаль, что его попытка вслед за Ломоносовым взять «штурмом» такой «поэтический Монблан», как эпическая поэма, тоже осталась всего лишь попыткой. Зачин поэмы сохранился, и мы видим, что идея была плодотворной, и её автор имел все шансы стать «Российским Гомером»... Но чего-то не хватило... То ли запала и замаха, то ли знаний, то ли терпения и усидчивости... А может быть, уже некому было доказывать собственное превосходство? Традиционные соперники уже ушли из жизни.

ДИМИТРИАДЫ

КНИГА ПЕРВАЯ

Пою оружие и храброго героя,
Который, воинство российское устроя,
Подвигнут истиной, для нужных оборон
Противу шел татар туда, где плещет Дон,
И по сражении со наглою державой
Вступил во град Москву с победою и славой.

О муза, всё сие ты миру Расскажи
И повести мне сей дорогу покажи,
Дабы мои стихи цвели, как райски крины,
Достойны чтения второй Екатерины!

.....

Зачато ноября 20 дня 1769

Москва

Избрав в качестве главного эпического героя князя Дмитрия Донского, Сумароков, по сути, не только опять вступил в скрытую полемику с уже покойным Ломоносовым, но и косвенно признался в



поражении на драматургическом поприще. Ведь в пьесе «Тамира и Селим» именно Ломоносов вывел героев Куликовской битвы на сцену – в противовес героям Сумарокова.

Сумарокова называют «отцом русского театра», современники его величали «Наш Северный Расин».

Сейчас мы бы назвали первый театр, созданный Сумароковым, «Учебным» или «Университетским», ибо он появился в середине царствования Елизаветы в стенах Сухопутного Шляхетского корпуса. Сумароков написал первую отечественную пьесу «Хорев», она была поставлена на сцене этого театра, который впоследствии получил название «Российский театр».

Просвещённая столичная публика была в восторге от того, что российский стихотворец смог создать пьесу, соответствующую канонам европейского театрального искусства, не уступающую творениям французского классика Ж. Расина, превозносимого Вольтером в пику Шекспиру. Один из питомцев Сухопутного корпуса, находившийся на премьере трагедии в числе зрителей, и спустя полвека вспоминал о пламенных «хоровых стихах» и о том блестящем успехе, благодаря которому они стяжали драматургу славу «Северного Расина». Действительно, драматургия соответствовала высоким стандартам эпохи Просвещения. Конфликт властителей и проблемы престолонаследия, борьба любовного чувства и чувства долга, красивая любовная история, экзотические интерьеры времён древней Руси и языческого князя Кия... Такого публика ещё не видела! Яркие живые диалоги, эффектные монологи, динамичные сцены... Трагическая развязка, вечнозелёные слезы, катарсис....

Современный кинематограф свидетельствует о том, что подобные лирические истории из баснословных времён, замешанные на любовных чувствах властителей и героинь, и сейчас весьма востребованы молодой публикой, да и в театре они бы могли обрести новую жизнь при использовании современных технологий, особенно в репертуаре детских театров. Но имени драматурга Сумарокова уже давно не видно на театральных афишах.

Под наслоением идеологических клише прошедших столетий, за затемнёнными страницами российской истории XVIII века, в кривых зеркалах принудительных интерпретаций и закоснелых трактовок, жизнь и судьба поэта Александра Сумарокова предстают перед нами лишь в приблизительных очертаниях. Поборник ясности и простоты, он сам стал жертвой классицистического метода: максимально упрощённая канва его жизни создана филологами и историками последующих времён по «школьной» схеме драматического произведения, максимально приближенной к трагикомедии. В реальности, ви-

димо, жизнеописание Сумарокова можно было бы восстановить по его собственным стихам и стихам его современников. И оно оказалось бы более драматическим, чем запечатлено в респектабельных филологических трудах и энциклопедических схемах. Сам Сумароков не признавал трагикомедий и открыто порицал тех, кто их создаёт:

«Двум разным музам быть нельзя в одном
совете».

И говорит Вольтер ко мне в своем ответе:

«Когда трагедии составить силы нет,
А к Талии речей творец не прибегнет,
Тогда с трагедией комедию мешают
И новостью людей безумно утешают.
И, драматический составя род таков,
Лишённы лошадей, впрягают лошаков».
И сам я игрище всегда возненавижу,
Но я в трагедии комедии не вижу.

Несмотря на то, что Александр Петрович часто жаловался в стихах на происки врагов и недоброжелателей, принимал страдальческую позу отверженного, недооценённого и гонимого, в реальности он был оценён и возвышен в царствование всех трёх императриц. Его публиковали, реализовывали все его проекты, давали разрешение на театральные постановки с лучшими актёрами и актрисами, способствовали созданию собственного журнала («Трудолюбивая пчела»), решали его семейные проблемы, выплачивали его долги, не обходили чинами и наградами, рассматривали прошения о поездке на Запад... Он не был изгоем во властных структурах, на дружеской ноге общался с придворными и аристократами.

Парадный портрет А. П. Сумарокова запечатлел миловидного кудрявого блондина, вполне благополучного. Тем не менее, в середине стремительной творческой карьеры, на закате царствования Елизаветы Петровны, Сумарокова настиг жесточайший кризис, причины которого сегодня приходится искать в зоне умолчания. Этот тайный кризис, эта глубокая моральная травма, видимо, и смогли бы объяснить многое, что трудно объяснимо в биографии поэта. Приведшее к тому, что в расцвете сил толкнуло его к непостижимому – решимости отказаться от дружбы с музами:

РАССТАВАНИЕ С МУЗАМИ

Для множества причин
Противно имя мне писателя и чин;
С Парнаса нисхожу, схожу противу воли
Во время пущего я жара моего,

И не взойду по смерть я больше на него, –
Судьба моей то доли.
Прощайте, музы, навсегда!
Я более писать не буду никогда.
<1759>

По счастью, обещание покинуть Парнас выполнено не было. Но засвидетельствовало крайнюю степень отчаяния, причины которого по сей день не известны.

Да, характер Александра Сумарокова был неровным, нервическим, бойцовским. Напор, горячность, уверенность в правоте, завышенная самооценка – свойства его натуры. Он шёл в сражение за поэзию, подобно рыцарю печального образа, не заботясь о выгодах и барыше. Совершенно не умел распорядиться финансами, пережил семейную драму, отдалился от родственников, впал в бедность и бражничество... Ушли из жизни Ломоносов и Тредиаковский, соперники-тяжеловесы... Непревзойдённым оставался только вечный Шекспир, которого он первым открыл для россиян.

Он был поэтом, писателем, критиком, лингвистом, публицистом, педагогом, журналистом, издателем, драматургом – первым профессиональным литератором России. Александр Сумароков признан «отцом русского театра» и верным рыцарем дамы по имени Эпоха российского Просвещения.

Сумароков принадлежал к разряду творцов, ощущающих себя универсальными личностями, громко декларировал своё природное право быть в одном ряду с великими европейскими писателями-просветителями, считаться наследником славных традиций античного искусства

Деятельный, талантливый, амбициозный, Сумароков стал одним из трёх столпов, на которых воздвиглось величественное здание отечественной литературы и театра.

В конце жизни он остался один.

Хоронили его в складчину несколько друзей-актёров. Погребение вскоре было утеряно: уже в недавнее время на территории Донского монастыря поставили скромный памятный знак... Но пришёл ли хоть один поэт на место упокоения Александра Петровича? Вспомнил ли добрым словом этого несомненного подвижника Российского Просвещения?

Марианна ДУДАРЕВА, Москва



К 200-летию со дня рождения А. К. Толстого
**ФОРМУЛА РУССКОЙ ЖИЗНИ В ТВОРЧЕСТВЕ
А. К. ТОЛСТОГО: «КОЛОКОЛЬЧИКИ МОИ...»**

Поразительно насыщенными в творческом плане выдались эти два года, которым посвящён альманах «День поэзии», и одним из имён, украшающих его, является имя Алексея Константиновича Толстого. Можно много о нём говорить как о писателе, поэте, драматурге, но сегодня мы представим его как философа, проникшего в тайны русской жизни.

Одним из ярких, особенно известных стихотворений, положенных на музыку, является «Колокольчики мои». Этот текст известен в нескольких редакциях. Первая появилась в 1840-е годы и потом претерпела изменения до той, которую хорошо знают сейчас все. Композитором П. П. Булаховым был использован для романса именно последний вариант. Однако некоторые исследователи творчества поэта считают, что в этом тексте нет той смысловой нагрузки, того важного, что было до правок Толстого. Думается, что это не так. Напомним читателю отрывок:

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Тёмно-голубые?
И о чём звените вы
В день весёлый мая,
Средь некошенной травы
Головой качая?
Конь несёт меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьёт своим копытом.
Колокольчики мои,
Цветики степные!

Не кляните вы меня,
Тёмно-голубые!
Я бы рад вас не топтать,
Рад промчаться мимо,
Но уздой не удержать
Бег неукротимый!
Я лечу, лечу стрелой,
Только пыль взметаю;
Конь несёт меня лихой, —
А куда? не знаю!

И вот вроде бы, в этой интродукции нет ничего особенного. Литературоведы обращали внимание главным образом на социальное начало и политическую мысль в этом стихотворении, связанные с единением славян:

«Хлеб да соль! И в добрый час! —
Говорит державный, —
Долго, дети, ждал я вас
В город православный!»
И они ему в ответ:
«Наша кровь едина,
И в тебе мы с давних лет
Чаем господина!»

Конечно, это есть. Но есть и другое — то, что воспринимается, как само собой разумеющееся. Красивые колокольчики, цветики степные, к которым обращается лирический герой, вдруг топчутся, мнутя. А почему так? Почему «уздой не удержать бег неукротимый»? Неужели не жаль колокольчиков? Жаль, конечно, но дело не в этом. Русский человек всегда *идёт туда, не зная куда*. И в этой простой формуле, понятной только самому русскому, есть основа стиля жизни и мысли. Этот дурак не так и глуп. Петрушка тоже всех дурачит, околпачивает, но на нём не случайно красный колпак. Этот колпак знаменует амбивалентность мира, весёлый ритуальный хаос, который непременно должен реорганизоваться в Космос. Вспоминается здесь и общество арзамасцев со своим шуточным протоколом, где одним из пунктов было «околпачивание», примеривание *красного колпака*. Разве молодые поэты просто так это придумали? А. С. Пушкин, кстати, хорошо знал фольклор и изучал «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». Знал и А. К. Толстой хорошо фольклор, отдавая ему огромную дань. Так, в письмах к другу А. М. Жемчужникову он пишет о попытках переделать балладу «Садко», но признаётся, что выходит слабо, так как спорить с народом, его творчеством бесполезно и глупо: «Посылаю тебе переделанную балладу «Садко» <...> Кажется, теперь лучше, потому что нет рассказа, а стало быть, *нет бесполезного*

и опасного соревнования с былиной, которая будет всегда выше переделки» (курсив наш — М. Д.). И ведь в этом тонком наблюдении лежит большая истина, которая потом в фольклористике развернётся в целую дискуссию о разных формах фольклоризма в литературе. Так не стилизация ли перед нами, спросите вы? Да, очень похоже по тону и ритму на фольклорное произведение, но всё-таки мы обращаем внимание на скрытые фольклорные формулы.

Конь лихой — это и Сивка-бурка, который мчит-ся во весь опор и дарит герою, Иванушке-дурачку, *сакральные* знания. Конь — это и полярное космологическое существо, которое очень много значит, по точному наблюдению С. А. Есенина, для русского мужика, догадавшегося его усадить на крышу своего дома/избы: «только один русский мужик догадался посадить его [коня — М. Д.] себе на крышу». Выходит, не так уж глуп герой А. К. Толстого. Несёт его конь не просто за пределы русской земли (хотя здесь и может угадываться мысль политическая), а за бытовые границы, преодолевая обыденное, простое географическое. Именно с таких формул и начинается удивительное путешествие в «иное царство». Сам А. К. Толстой, конечно, обладая тонким поэтическим чутьем и глубиной познаний в области истории и философии, видимо, неслучайно «упростил» свой текст.

Вадим КРЕЙД, Айова-Сити, США



**«ПРОЙТИ ОГНЁМ ПО ВСЕМ ВЕРШИНАМ
ГОРНЫМ...»**

К 150-летию со дня рождения К. Д. Бальмонта

Бальмонту заслуженно повезло в литературе. Он жил в стране, в которой тогда был лучший в мире читатель – ценитель стихов. Его творчество развернулось в эпоху, чуткую к философским и художественным исканиям, и возматало вместе с нашим национальным возрождением, названным серебряным веком лишь позднее. Первая книга К. Д. Бальмонта («Сборник стихотворений», 1890) вышла года за четыре до ранних проблесков этого ренессанса, столь медлительного в первом своём акте и столь стремительного во втором. Сам Бальмонт о «Сборнике стихотворений», навеянных надсоновской и некрасовской «музой гнева и печали», вспоминать не любил и считал своей первой книгой сборник «Под северным небом», вышедший в начале 1894 года. Затем наступил редкостно плодотворный период. Книга за книгой: стихи, очерки, переводы, собрания сочинений – известность, успех, популярность, слава и следом за этим приливом увлечения Бальмонтом – отлив, снижение или сужение популярности, но ещё не потеря читателя.

О характере этой популярности сохранилось несколько живописных свидетельств. Забытый ныне поэт Александр Биск, посетивший Бальмонта весной 1906 года, вспоминал: «Нынешнее поколение и представить себе не может, чем был Бальмонт для тогдашней молодёжи. Блок был ещё новичком... Брюсов ещё не был признанным мэтром; все остальные поэты – Андрей Белый, Сологуб, Мережковский, Гиппиус, Вячеслав Иванов – считались второстепенными. Безраздельно царил Бальмонт. Правда... начинался медленный спуск с вершины, но обаяние Бальмонта было ещё в полной силе». А вот свидетельство Н. А. Тэффи: «Россия была именно влюблена в Бальмонта. Все от светских салонов

до глухого городка где-нибудь в Могилёвской губернии знали Бальмонта. Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нашёптывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в тетрадки...» Ещё одно, более позднее свидетельство – Бунин записал в своём дневнике: «Дьяконов сын. Отец без подрясника, в помочах, роет вилами навоз, а сын: «Ах, как бы я хотел прочитать “Лунный камень” Бальмонта». Ни поклонником его, ни сторонником Бунин не был и написал в конце жизни воспоминания, в которых изобразил Бальмонта человеком, изнемогавшим от самовлюблённости. Но в дневнике, хотя и карикатурно, засвидетельствовал степень популярности поэта.

В сущности, этот сын дьячка – драгоценный читатель, ведь речь идёт об эпохе, миллионных тиражей не знавшей. Каков был, например, тираж самой знаменитой книги Бальмонта «Будем как солнце»? Не намного больше, чем тираж его эмигрантских книг: 1200 экземпляров. Эта популярность, о которой так ярко писала Тэффи, имела свои демографические пределы. У поэтов серебряного века был читатель, но отнюдь не массовый. Энциклопедический словарь Павленкова – том в три тысячи страниц, вышедший в лучший русский год (1913), – например, не знает Брюсова, зато даёт сведения о Брюсе – «потомке брата шотландского короля». В этом известном всем образованным современникам увесистом томе есть данные о волошском орехе, но о Волошине ни слова; есть сведения о блоке («вертящийся на оси круг»), но о Блоке сведений нет, как и о Сологубе, Вячеславе Иванове, Иннокентии Анненском. Однако статья о его брате, «статистике» Н. Ф. Анненском, в словаре есть. На фоне красноречивого отсутствия Блока и Сологуба единственный из крупных новых поэтов, словарём Павленкова признанный, – «поэт-декадент, наиболее даровитый представитель этой школы в России» Константин Дмитриевич Бальмонт. В четыре строки – о поэте, выпустившем к тому времени около пятидесяти книг, включая собрания сочинений, переводы и вторые издания.

Россия серебряного века духовно ещё бесконечно далека от Единого Государства Е. Замятина. Хронологически – рукой подать, но духовно – это было «время десяти тысяч вер», говоря словами Н. Гумилёва. Была Россия статистика и публициста Н. Ф. Анненского и Россия Иннокентия Анненского, Блока, Брюсова, Андрея Белого, Вячеслава Иванова – всех тех, кто писал о Бальмонте. Здесь «звезда Бальмонта сияла очень ярко», – говорит один из современников, знавший поэта лично. Иннокентий Анненский принимал в Бальмонте «нежную музыкальность лирического я». Блок удивлялся широте его творческого диапазона: «Следя стих за стихом, решительно не знаешь, есть ли область, в которую

нет сил проникнуть поэту». Вячеслав Иванов в сонете-послании Бальмонту писал о его несравненной «певучей силе». Брюсов отмечал и другую силу – мощь творческого влияния: «...был у Бальмонта... Довольно удачно. Вернувшись... я написал 11 сонетов и 2 поэмы». Прислушаемся к Ходасевичу. «Несколько лет, – вспоминал он, – прошли для меня “под знаком Бальмонта”». Это всё разновременные отзывы. Критики писали о его романтизме, эстетизме, космизме, о его рыцарственности, «сверхчеловечности», изменчивости, импрессионистичности, пристрастии к особым мигам сознания, моментализму. Всё это справедливо, и каждое из этих определений верно подчёркивает какую-то грань творчества Бальмонта.

Но как подойти к цельности облика поэта, чтобы все грани его творчества заиграли, не перебивая одна другую? Из больших поэтов серебряного века Бальмонт – самый неровный, самый плодовитый, самый начитанный, самый многотемный. Мы знаем о музее дальних странствий Гумилёва. Но странствия Бальмонта и дальше, и раньше, и дольше. Начиная с Тредиаковского, никто из русских поэтов до Бальмонта столько не путешествовал. Это о нём довольно наивно заметил Эренбург: «Исколесив мир, ничего в мире не заметил, кроме своей души». Немало, надо сказать! Впрочем, перефразируя, нечто подобное можно было бы сказать и о путешествии Бальмонта по стране книг. Поэзия серебряного века – это стихи поэтов-филологов и поэтов-книжечеев. Бальмонт читал в подлиннике Сервантеса, Шекспира, Гёте, Ибсена, Бодлера, Леопарди, Калидасу, Руставели, переводил, пожалуй, с тридцати языков, изучал египтологию под руководством Масперо, был знаком с египетской «Книгой мёртвых», Ведами, Упанишадами, Зенд-Авестой, с Лао-цзы, скандинавской мифологией, культурой Майя, орфическими гимнами и японскими хокку. Путешествуя по этим «горным вершинам», Бальмонт искал в себе светоносное начало, памятуя слова любимого им Гераклита: «Многознание уму не научает»:

Пройти огнём по всем вершинам горным.
Собрать цветы столетий тут и там.
Идя, прильнуть душой ко всем цветам.
Хранить себя всегда напевно-зорным.

«Влиянье всех неисчислимых веков, что где-то жили мы», – сказал об этих своих странствиях по странам, эпохам и книгам Бальмонт. И действительно, мы найдём в тысячах его стихотворений неисчислимы влияния, однако, претворённые в свои – бальмонтовские – напевы.

Его поэтическое пространство грандиозно, и не все постройки в нём строги и стройны. Вряд ли ког-



К. Д. Бальмонт

да-нибудь кто-нибудь прочёл всё написанное им. Когда Бальмонт умер, М. Цетлин писал в некрологе, что «страниц его произведений и переводов хватило бы не на одну жизнь, а на целую литературу небольшого народа».

В сборниках Бальмонта нет строгого отбора: работу по отделению первоклассного от второсортного всегда проделывал не автор, а читатель. И теперь, думая о возведённом им экзотическом и пришедшем в запустение храме, напоминающем гигантский, воспетый им Боро-Будур, пытаешься уловить единую основу множества прекрасных, пережитых поэтом мгновений:

Пространствуешь в мире, и тянет домой,
И древние манят основы.

Сами названия книг указывают на какую-то единую силу художественного дара. Во-первых, это, конечно, «Будем как солнце» и затем – «Белые зарницы», «Морское свечение», «Зарево зорь», «Светозвук в природе...», «Солнечная пряжа», «Сонеты солнца, мёда и луны», «Светлый час», «Северное сияние», «Светослужение»... И это неполный перечень, куда же могут быть добавлены названия книг «Жар-птица», «Золотой сноп болгарской поэзии» и названия очерков и стихотворений – «Солнечное дитя», «Светлый герой», «Стих о величье солнца» и многое другое.

Часто делали вывод о солнечной природе творчества Бальмонта. «Весёленькой лирики не

бывает», – говорил Георгий Иванов. И у раннего Бальмонта печальные мотивы явно преобладают. Позднее, особенно в эмигрантский период, дионисийские, лунные, печальные, тёмные, трагические ноты слышатся столь же часто, если не чаще, что и аполлонийские, солнечные, просветлённые:

Лишь я один, любя безгранно,
Как чарой, скован тишиной.
И мне не странно, а желанно
Быть отделённой в час ночной
Летучей мышью под луной.

«Солнечный Бальмонт» – одна из легенд, творимая прежде всего самим поэтом. И всё же тема света – на чёрном ли фоне ночи или как залитое полуденным светом пространство, – эта светоносная тема в наследии зрелого Бальмонта ведущая.

В понимании Бальмонта поэтический образ имеет духовную природу. Сознание понимает в образе то поэтическое веяние, тот свежий трепет, который проявляется в миге. Отсюда «моментализм» Бальмонта, внимание к любому мигу, несущему обещание просветления. В каждом миге есть возможность прикоснуться к вечному. Эти миги – работа духа, и слово поэта есть дух. Красота – это то, что одухотворяет вещество, а творчество поэта – роскошь сопричастности к этой преобразующей работе духа. В книге очерков «Где мой дом» Бальмонт как собственное кредо цитирует слова своего любимого польского поэта – «изысканного и проникновенного» Словацкого: «С той стороны смотреть на мир, с которой смотрит Бог, со стороны духа».

* * *

Двадцать два с половиной года в эмиграции – для Бальмонта время почти непрерывного творчества, уединения и поездок, дни одиночества и, как повторял сам поэт, – одиночества духовного. Связь с Россией не могла так просто и легко оборваться. Без этой глубинной связи великая литература эмиграции не состоялась бы. В русской диаспоре не было, пожалуй, другого, кроме Бальмонта, поэта, для которого физическая изоляция от страны своего языка и детства, первых литературных шагов и последующего признания, от знакомого читателя и родного пейзажа переживалась бы так остро и столь продолжительно.

До некоторой степени это неожиданно: ведь в русской литературе Бальмонт – самый космополитичный поэт. С 1894 г. – времени первой заграничной поездки – и до революции он подолгу жил вне

России. Но вот прошло лишь несколько месяцев с памятного 25 июня 1920 г., когда он с женой и с дочерью Миррой уехал через Ревель и Германию в Париж, и Бальмонт начинает свой очерк «Факел в ночи» словами: «Я живу среди чужих...» В Эстонии он прожил месяц в ожидании визы. Встречался с приехавшим в Ревель Игорем Северяниным, отдыхал от лютого опыта зимы 1920 г. (мороженая картошка, нетопленная квартира, страдания близких, болезнь сердца).

С августа 1920 г. Бальмонт поселился в Париже, в городе, с которым связано столь многое и который он когда-то любил. Он ходит по хорошо знакомым улицам, встречается со старыми знакомыми французами, много работает. В 1921 г. вышло шесть его книг: одна из них (изборник «Солнечная пряжа») – в Москве, другие – в эмигрантских издательствах в Берлине, Париже и Стокгольме. Бальмонт подводил итоги своей 35-летней литературной деятельности: кроме «Светлой пряжи» издал ещё две небольшие книги избранных стихотворений («Светлый час» и «Гамаюн»), переиздал «Сонеты солнца, мёда и луны», подготовил к печати сборник своих переводов «Из мировой поэзии», а также написанную ещё в Москве книгу «Дар земле». В Париже он много пишет, но лишь немного вошло в его первый эмигрантский сборник «Марев».

Интенсивный труд, освежающий и освободительный, длится на трагическом фоне: коммунистическая блокада творческой мысли – там, буржуазная блокада художественного творчества – здесь». Бальмонт сознаёт, что отъезд из Москвы совпал с утратой читательского интереса к делу его жизни. И критика – сначала осторожно, потом откровеннее не устаёт напоминать, что поэзия Бальмонта давно пережила свой звёздный час. Одним из первых в эмигрантской печати эту тему поднял Эренбург: «Мы слишком далеки от него, чтобы признать его современность». Не столь категорически, но всё равно о том же говорит и Адамович: нынешнее поколение «не слышит уже в поэзии Бальмонта того, что слышали старшие, не переживает всем существом своим недель и месяцев исключительной, страстной, тревожной любви к нему».

Был ли утрачен читатель, или потерян лишь тот узкий читательский круг, что делает погоду на литературном горизонте, но сам Бальмонт отнёс перемену в восприятии его поэзии за счёт кризиса «соучастия душ». Тот новый трепет, которым живо было творчество символистов, для их младших современников утратил и обаяние, и новизну. После Первой мировой войны Европа изменилась резко. Изменились сами формы духовности. Бальмонт, живя в Париже, чутко улавливает это помрачение вкусов и нравов, вызванное, как он убеждён, жесто-



чайшей ненужной войной. Что же до эмиграции, то в большинстве тогда ей было не до стихов. «Самая горькая обида, – вспоминал М. Цетлин, – была в том, что молодые люди, которые ушли в эмиграцию подростками и не только сохранили русский язык и любовь к литературе, но и сами писали стихи; те десятки, а может быть, даже сотни молодых поэтов, сосредоточенных главным образом в Париже, но и в других центрах эмиграции, тот “соловьиный сад” эмигрантской поэзии... совершенно не интересовался Бальмонтом... Поэты поклонялись Блоку, открывали Анненского, любили Сологуба, читали Ходасевича, но были равнодушны к Бальмонту». Один из этих новых поэтов, поклонявшихся Блоку и Анненскому, встретил Бальмонта в Париже в середине 20-х годов. Это случилось уже после того, как Бальмонт долго жил в уединении в Бретани, после того, как окончены были сборники «Марево» и «Моё – Ей» и напечатаны книги прозы «Воздушный путь», «Где мой дом», автобиографический роман «Под новым серпом». Бальмонт работал много и интенсивно, сосредоточенный более на своей творческой «дороге к солнцу», нежели на отсутствии «соучастия душ».

Поэт, который встретился с вернувшимся в Париж Бальмонтом, был Юрий Терапиано. «В бедной беженской комнате, в тёмном поношенном костюме автор “Горящих зданий” и “Будем как солнце” напоминал бодлеровского альбатроса...» Далее Терапиано пишет, что Бальмонта пригласили выступить на вечерах Союза молодых поэтов и о манере его чтения: «Бальмонт священнодействовал, всерьёз совершал служение Поэзии, и его искренний подъём передавался присутствующим». В тот период «одиночество и некоторое любопытство влекло его к молодёжи. Но вскоре и тут Бальмонт почувствовал себя лишним и отдалился». Встретивший его в 1926 году журналист Андрей Седых вспоминает: «Бальмонт... жил неподалёку от Люксембургского сада... Жил он замкнуто, почти нигде не появлялся... Ненавидел город, шумные улицы, бесполезных людей... Страдал невыносимо и бывал счастлив только вдали от всех, наедине с самим собой, у моря. Это великое счастье и великая душевная чистота – быть одному, – говорил он». И вот ещё один штрих из тех же воспоминаний – подробность, характерная для личности Бальмонта во все его периоды сознательной жизни: «Однажды он рассказал мне: – В Москве меня вызвали в чека. Дама-следователь, подслеповатая, в пенсне, спросила: К какой политической партии вы принадлежите? Я ответил кратко: поэт».

В 1927 году Бальмонт переехал в местечко Капбретон на берегу Атлантики. За день до отъезда внезапно он пришёл на «воскресенье» к Мережковским. Продолжался диспут, на Бальмонта не об-

ращали внимания. После диспута вдруг заговорили об Индии. «Он рассказывает о священных коровах, об ашрамах, о Ганге. Без жестикуляций и цветов красноречия, которые ему всегда приписывают», – писала И. Одоевцева об этой встрече. Прощаются, выходят на улицу, Одоевцева выражает сожаление, что он у Мережковских не читал своих стихов. «Это можно исправить», – быстро говорит он. «Но я, к сожалению, занята. Мы должны идти обедать к знакомым... Он явно огорчён. “Неужели вы не можете, не хотите? Ведь завтра я уезжаю в Бретань...” Георгий Иванов берёт меня под руку: “Нет, Константин Дмитриевич, отказаться никак нельзя... Кланяйтесь океану...” Бальмонт пожимает плечами». Другие воспоминания о Бальмонте эмигрантской поры не менее печальны, если не сказать мелодраматичны. На этом фоне насквозь понятно его стихотворение «Забывтый»:

Я в старой, я в седой, в глухой Бретани,
Меж рыбаков, что скудны, как и я.
Но им даётся рыба в океане,
Лишь горечь брызг – морская часть моя.

Отъединён пространствами чужими
Ото всего, что дорого мечте,
Я провожу все дни как в сером дыме.
Один. Один. В бесчасье. На черте.

.....

Мой траур не на месяцы означен,
Он будет длиться много странных лет.
Последний пламень будет мной растрочен,
И вовсе буду пеплом я одет.

Понятно и скопление мрачных названий среди стихотворений, написанных в Бретани «солнечным Бальмонтом»: «Бесчасье», «Запустение», «Бесноватые», «Актёры Сатаны», «Сумасшествие», «Хлеба нет», «Марево», «В преисподней», «Проклятая свадьба», «Заснувший страх», «В чёрном», «Топор», «Злой сон», «Чёртов цвет», «Железный аркан»... Это стихи о трагической судьбе России, о которых Зинаида Гиппиус писала, что создатель таких стихов неуязвим ни для какой критики: «Пусть скажут одни, что это плохое искусство? Не скажут. Пусть другие, которым дела нет до искусства, попробуют сказать, что это плохая политика, попытаются записать его в правые, в левые, ещё куда-нибудь? Нет, его политика мудрейшая из мудрых, она подсказана ему самой жизнью:

Ни направо, ни налево не пойду.
Я лишь вежа для блуждающих в бреду».

Самый напевный, самый соловьиный русский поэт XX века политиком не был. Но, живя в нужде

и духовном одиночестве, занятый непрерывным трудом, в общении с мыслителями древности, свою общественную и человеческую позицию Бальмонт высказывал и в стихах и в статьях.

Конец 20-х – начало 30-х годов – исключительно продуктивный период в жизни Бальмонта. После 1924 года, когда в Праге были напечатаны его очерки «Где мой дом» и сборник стихов «Моё – Ей», вплоть до 1928 года не вышло ни одной книги Бальмонта. После сборника «В безбрежности» (1894) его книги выходили буквально каждый год: если не оригинальные произведения, то переводы, если не первые издания, то повторные, при этом часто в тот же самый год публиковалось несколько книг. Этот перерыв (1925–1927) – первый в его писательской жизни. Тем временем в эмигрантской периодике Бальмонт по-прежнему печатается много. В его письмах той поры встречаются такие признания, как «я зверски схвачен работой»; «очень увлекаюсь сербскими песнями». Но в 1928 году выходят не сербские песни, а переводы с польского и чешского: «Книга смиренных Яна Каспровича» и «Избранные стихи Ярослава Врхлицкого». В следующем году в парижской газете «Россия и славянство» напечатан его перевод «Слова о полку Игореве». Затем последовали сборники стихов «В раздвинутой дали» и «Северное сияние», книга очерков «Соучастие душ» и две книги переводов – «Золотой сноп болгарской поэзии» и «Носящий барсову шкуру» Шота Руставели. В дополнение к этому титаническому труду в 20-е и в начале 30-х годов Бальмонт подготовил к печати ещё девять книг (сборники стихов, рассказов, очерков, переводов). Эти книги не нашли издателя, и судьба манускриптов остаётся невыясненной.

Работа над завершением перевода монументальной поэмы Руставели совпала с первыми признаками душевной болезни. Переутомление, чувство одиночества, депрессия и алкоголь могли только усугубить страдание. Вот несколько строк, относящихся к этому времени, из воспоминаний писателя Владимира Крымова: «Говорили о Бальмонте, который был приятелем Куприна. Бальмонт и раньше, ещё в России, пил больше алкоголя, чем следует, а теперь стало совсем плохо; он немедленно пьянел и выкидывал всякие неожиданности, проявлял уже явные признаки психической ненормальности».

О том же периоде вкратце рассказал и В. Яновский, мемуарист с цепкой и недоброжелательной памятью: «День рождения Бальмонта... Дорожки садика полны лепестков осыпающихся бледных роз. Чтобы отметить праздник этой поблекшей изысканности русской медлительной речи... соорудили для него послеобеденный чай – вина Бальмонту

нельзя было давать. У опустошённой клумбы сидит поэт с неряшливой, но львиной гривой. Одурающе пахнет французскими цветами. Дряхлый, седой, с острой бородкой, Бальмонт всё же был похож на древнего бога Сварога... Земля кругом покрыта сугробами розовых лепестков; Сосинский хозяйственно собрал ведро этого французского летнего снега и преподнёс поникшему отставному громовержцу. Чужой каменный божок, Бальмонт сонно улыбнулся, поблагодарил. Когда заговорили о техническом прогрессе, поэт, словно очнувшись, взволнованно зашепел: «Чем заниматься разными глупостями, лучше бы они отправили экспедицию к берегам Азорских островов, ведь ясно, что там похоронена Атлантида!».

В конце 1935 года было отмечено 50-летие литературной деятельности Бальмонта, отмечено скромно, без фанфар. В эмигрантской печати появился ряд статей, авторы которых пытались подвести итоги долгому творческому пути, начавшемуся в декабрьский день 1885 г., когда вышел номер «Живописного обозрения» со стихами 18-летнего гимназиста. Общий мотив и направленность чествования выражены в статье В. Зеелера: «Мы, многие, должны помочь одному, должны не оставить его, поддержать, вернуть его к нам, к его песням. В этом будет наше юбилейное чествование поэта... Только захотеть – и будет вновь поэт за своей работой».

После кризиса 1935 г. Бальмонт опять покидает Париж, живёт в провинции. По-прежнему много работает, каждое утро садится за письменный стол. Последние его книги – поэтические сборники «Голубая подкова» и «Светослужение». Если первый составлен в основном из старых произведений, то «Светослужение» – стихи, написанные в 1936-м и в начале 1937 г. Это просветлённая лирическая поэзия, как всегда у Бальмонта, высоко музыкальная, но в последнем его сборнике стихи исполнены пронзительной простоты, полны любви к природному миру и благодарности Творцу:

И так поём, что если б были мёртвы,
Мы ожили бы, слыша тот напев,
И кругоём лазури распростёртый
Богаче стал, от нас поголубев.

В начале 1937 г. Бальмонт с женой поселился в предместье Парижа Нуази-ле-Гран. Заработков не было, повседневные условия были тяжёлыми. Пришлось переехать в русское общежитие, основанное Матерью Марией, и только в следующем году удалось снять отдельную квартиру. О последних годах поэта сохранились скудные отрывочные сведения. По-видимому, многое со временем всплывёт, так как позднего, эмигрантского Бальмонта откоро-



ют заново. В годы оккупации он снова, по словам Ю. Терапиано, жил в общежитии Матери Марии. За несколько дней до смерти он просил жену почтить ему вслух «Богомолье» Ивана Шмелёва, своего друга и соседа по Капбретону, чтобы окунуться в атмосферу народной, молитвенной, добродушной, раздольной дореволюционной Руси.

Последний штрих к портрету Бальмонта дорисовал в своих воспоминаниях Борис Зайцев: «Этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, утехам её и блескам человек, исповедуясь перед кончиной, произвёл на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния...» Поэт умер 24 декабря 1942 года. Провожало несколько человек. Вырытая могила была залита дождём; гроб оставался на плаву и нехотя погружался под тяжестью бросаемой земли.

* * *

В своей прозе, как и в стихах, Бальмонт по преимуществу лирик. Он работал в различных прозаических жанрах – написал десятки рассказов, роман «Под новым серпом», выступал как критик, публицист, мемуарист, но полнее всего выразил себя в жанре эссе. Для Бальмонта-эмигранта этот жанр был далеко не нов: до революции вышло шесть сборников его очерков. Первый из них – «Горные вершины» (1904) – привлёк, пожалуй, наибольшее внимание критики. А. Блок говорил об этой книге как о «ряде ярких, разнообразных картин, сплетённых властью очень законченного мировоззрения». «Горные вершины» – это не только эссе о Кальдероне, Гамсуне, Блейке, но и заметный шаг на пути самоосознания русского символизма.

Как продолжение «Горных вершин» воспринимаются вышедшие через четыре года «Белые зарницы» – очерки о «разносторонней и жадной душе Гёте», о «певце личности и жизни» Уолте Уитмене, о «влюблённом в наслаждение и угасшем в скорби» Оскаре Уайльде, о поэзии стихий и символизме народных поверий.

Через год было напечатано «Морское свечение» – книга размышлений и импрессионистических набросков – «певучих вымыслов», возникших как мгновенные субъективные отклики на события литературы и жизни. Особенное внимание уделено здесь славянской культуре – теме, к которой Бальмонт вернётся в 20-е и 30-е годы. Следующая после «Морского свечения» книга «Змеиные цветы» (1910) – очерки культуры древней Америки, путевые письма, переводы. Затем последовали «египетские очерки» – «Край Озириса», и через год (1915) – «Поэзия как волшебство» – небольшая книжка о

смысле и образе стиха, превосходный комментарий к поэтическому творчеству самого Бальмонта.

В эмиграции открылась для него возможность осуществить некоторые из прежних замыслов. Он собирается издать первый сборник рассказов, ранее печатавшихся в журналах, газетах и альманахах. Добавив к ним несколько рассказов, написанных уже во Франции, Бальмонт подготовил к печати книгу «Воздушный путь». Второй сборник («Шорох жути») так никогда и не был опубликован. В «Воздушном пути» сильна изобразительная сторона, особенно в эпизодах, где переживания с трудом поддаются словесному выражению. Таково описание загадочной «музыки сфер», слышимой герою «Лунной гостии». Проза Бальмонта не психологическая, однако, он находит свой лирический способ передачи утончённого душевного опыта. Все рассказы в «Воздушном пути» автобиографичны. Такова же книга «Под новым серпом» – единственный написанный Бальмонтом роман. Повествовательный элемент подчинён в нем изобразительному, но роман интересен картинами старой России, захолустного дворянского быта, одушевлён лирическими интонациями и описанием судьбы мальчика «с тихим нравом и созерцательным умом, окрашенным художественностью» (окончен в Бретани в 1922 году).

Как и в дореволюционный период, теперь, в эмиграции, основным жанром Бальмонта-прозаика остался очерк. Его лучшие ранние очерки – о литературе и в особенности о поэтах, которыми он восхищался и которых много переводил. Теперь же тематика Бальмонта-эссеиста основательно меняется: он пишет и о литературе, но больше о своей повседневности, которой придаёт значительность какой-нибудь заурядный случай, мелькнувшее воспоминание. Снег в Париже, память о холодной и голодной зиме в Подмоскovie в 1919 г., годовщина разлуки с Москвой, подвернувшееся сравнение грозы с революцией – всё это может стать и становится темой эссе. Написанные в 1920–1923 гг., они были собраны Бальмонтом в книгу «Где мой дом», которую позднее он называл «очерками о поработанной России».

Последняя вышедшая при жизни Бальмонта книга прозы – «Соучастие душ» (София, 1930). Она объединяет восемнадцать небольших лирических эссе на тему современной и фольклорной поэзии славян и Литвы. Книга включает переводы Бальмонта в стихах и прозе с болгарского, литовского, сербского и других языков. Некоторые из очерков в «Соучастии душ» принадлежат к числу лучших в наследии Бальмонта-эссеиста. Эпиграфом не только к этим очеркам, проникнутым любовью к поэзии, но и к творчеству Бальмонта в эмиграции

можно поставить слова самого поэта: «Мы, русские, ныне разбросанные по всему миру, проходим по этому чуждому миру и входим в иные сердца следами светлыми».

После Бальмонта осталось много стихотворений, которые он не включал в свои сборники. Число этих стихотворений велико, и полностью они никогда ещё не были собраны. Перечитывая их подряд, трудно отделаться от нарастающего удивления: почему поэт исключил из своих книг «Светлую кудель», «Быть может, лучший путь», «Иволгу» и другие стихотворения, которые явились бы украшением любого из его сборников? Почти всегда Бальмонт составлял свои книги по тематическому принципу, но при этом понятие темы оставалось импрессионистическим. В иных случаях его стихи объединены просто хронологией – временем написания. Если же вчитаться в книжки избранных стихов – «изборники» Бальмонта, – то увидим, что сам поэт был отнюдь не лучшим судьёй своих творений.

«Несобранное» Бальмонта-поэта ярко показывает его искания, широчайший диапазон, эстетические, духовные и социальные ценности. Риторическая строка может соседствовать с эмоциональной, инерционная – с вдохновенной. Излюбленные образы и темы повторяются, он возвращается к ним ещё и ещё, стремясь выразить невыразимое:

Не достигнуть до неба голубого,
А достигнешь, задохнешься, земной.
Не выразить звенящую струной,
Какое в сердце крайнее есть слово.

Даже в нелучших строках (как последняя в этой цитате) слышится особенная поэтическая подлинность. Поэзия Бальмонта эмигрантского периода исходит не только из звука и слова, но порой из более тонких вибрирующих энергий, подспудные переливы которых поэт пытается закрепить фонетикой, ритмом, цезурой и смыслом. Бальмонт чарующе лиричен в любовных стихах; он, пожалуй, глубже в своей пейзажной лирике. Но упоительнее всего те его строфы, в которых независимо от темы и образов, «поверх барьеров», выразился незаурядный душевный опыт – способность хотя бы на мгновение заглянуть за порог обычного человеческого сознания и в свете этих пронзительных проблесков взглянуть на окружающую жизнь.

Геннадий КРАСНИКОВ, Москва



«Я – ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ВАШЕГО РОДА...»

К 110-летию со дня рождения Б. П. Корнилова

Известно, что природа не терпит пустоты. Поэтическая природа, видно, также согласуется с этой универсальной Аристотелевой формулой, на Руси известной как «свято место пусто не бывает». Вот и в декабре 1925 года, когда из Ленинграда в Москву увозят убиенного Сергея Есенина, там появляется восемнадцатилетний Борис Корнилов (по другим сведениям, в январе 1926-го). По странному совпадению жизненный и творческий путь Есенина обрывается в той самой северной столице (только с иным, большевистским псевдоименем), куда он десятью годами ранее нагрянул покорять поэтический Олимп, заводя знакомства с первыми поэтами России – Блоком, Городецким, Клюевым, Мережковским, Гиппиус... Десять стремительно-коротких лет было отпущено Есенину для шумной и по-русски буйной славы, для создания всех его поэтических шедевров, – до последних, покрытых мраком тайны, дней в роковом номере гостиницы «Англетер». Корнилову судьба отмерила от всеобщего литературного признания до расстрельного часа немногим более – двенадцать ленинградских лет. Разница – и существенная! – заключалась в том, что бывшая литературная столица, завоевывавшая которую теперь предстояло Корнилову, за прошедшее десятилетие сменила серебряный блеск бывшего величия на железную чеканность «варварской лиры» новых красных скифов, «праздничных, весёлых, бесноватых» (Н. Тихонов), с их беспощадной революционной романтикой и торжествующим презрением к прошлому, истории, вековому укладу в одночасье оборванной русской жизни. Иных уж не было – (Блок, Гумилёв), другие были далече – (Гиппиус, Мережковский, Г. Иванов, Ходасевич)... Незримые траурные монады скорбною тенью всё ещё витали в пустынном метафизическом воздухе



Борис Корнилов и Ольга Берггольц, 1929 г.

Ленинграда, храня память об ушедших и ушедшем, и, несомненно, ведая о будущих драмах и трагедиях оставшихся здесь, в старых декорациях утраченного града Петрова.

Борис Корнилов, опоздавший с тетрадь юношеских стихотворений к близкому по духовному сродству Есенину, в чужом городе по сути оказался предоставленным самому себе да собственному таланту. Даже среди литературных наставников и коллег он с самого начала оставался, что называется, «со своим уставом», с которым, собственно, и прибыл сюда из легендарного Керженского края с его дремучими лесами, где в раскольничьих скитах столетиями таилась огненная непримиримость аввакумовской России. Именно там, в духе нового времени, уком комсомола города Семёнов Нижегородской губернии принял решение ходатайствовать «об откомандировании Бориса Корнилова в государственный институт журналистики или в какую-нибудь литературную школу, так как у т. Корнилова имеются задатки литературной способности». «Задатки» – это уж слишком осторожно-казённо сказано. На самом деле уникальность таланта Корнилова (как, впрочем, и П. Васильева, а до них и Есенина), заключается в том, что как поэт и мастер стиха он практически сформировался сразу. Он был в буквальном смысле слова самородком, той необъяснимой самобытной природной силой, в которой так часто в нашей истории находит своё выражение поэтическая душа народа.

Стихи, привезённые Корниловым из провинции и написанные им в первые же ленинградские годы, ставшие классическими, – «Усталость тихая вечерняя...», «Лошадь», «Ольха», «Айда, голубарь, пошевеливай, трогай...», «На Керженце», «Последнее письмо», «Глаза», «Начало зимы», «Лес», «Толковать о прожитом излишне...», «Чаепитие», «Дед», «Качка на Каспийском море», «Ты как рыба выплываешь с этого...», «Открытое письмо моим

приятелям», «Песня о встречном», «Семейный совет», «Без тоски, без грусти, без оглядки...», «Как от мёда у медведя зубы начали болеть...», «Соловьи-ха», «Ёлка», «Прадед», «Мама», «Спичка отгорела и погасла...» (всё написано от 18 до 27 с небольшим лет), ярко свидетельствуют о том, что в творчестве он сам был собственной поэтической школой, или, говоря пушкинским языком, своим собственным «законом». Так что, при всём уважении, ни Тихонов, ни тем более Саянов (как и Багрицкий вкупе с Жаровым и Безыменским) не могли серьёзно влиять на Богом данный оригинальный дар Бориса Корнилова.

Известна фотография конца 20-х годов, изображающая Корнилова в кругу семьи в нижегородском Ильино-Заборском. Рядом мать, сестра и отец с внучкой на руках, а за спиной ослепительно обаятельная, словно летящая, молодая Ольга Берггольц, жена Корнилова. И если в Берггольц всё так и светится городской нездешностью, чувством нечаянно залётной птицы (это потом испытания и трагедии, война и пережитая ленинградская блокада круто перемелют Ольгу Фёдоровну, в горе ставшей всюду своей), то в Корнилове поражает мешковатая неуклюжесть, отсутствие столичного лоска, тяжеловатая, как у родителей, приземистость (от векового крестьянского земного притяжения). Но и простаком он не выглядит, о таких говорят: «себе на уме». Что-то есть в нём от любимых им медведей, которые свободно разгуливают по его стихам («А я люблю волчат и медвежат»). Эдакого не посадишь на цепь, введешь кольцо в ноздрю, чтобы под бубен выводить на ярмарки потешать публику. Ничего в нём и от есенинского крестьянина-денди в цилиндре и английских костюмах, которого даже собачонка «побайроновски» «встречает с лаем у ворот». И ничего от нарциссизма сибиряка Павла Васильева, который, что ни говори, себя в литературе ценит не меньше, чем литературу в себе...

Берггольц сберегла в памяти портрет того, кого назовёт позже «Мой первый, мой пропавший»: «Я приезжала на Невский, 1... Вот там я и увидела коренастого низкорослого парнишку в кепке, сдвинутой на затылок, в распахнутом пальто, который независимо, с откровенным и глубочайшим оканьем читал стихи. <...> Глаза у него были узкого разреза, он был слегка скуласт и читал с такой уверенностью в том, что читает, что я сразу подумала: "Это ОН". Это был Борис Корнилов – мой первый муж, отец моей первой дочери». (Речь идёт об их первой встрече в феврале 1926 года на одном из собраний литгруппы «Смена». Совместная жизнь их продлится с 1927 по 1930 год, дочь Ирина умерла в 1936-м).

Вадим Шефнер, видевший Корнилова на выступлении в 1935 году в редакции «Смены», запомнил его уже внешне подогнанным под «большой стиль» эпохи, но при этом сохранившим свою индивидуальность: «В нешироком редакционном коридоре, окружённый литгрупповцами, стоял человек среднего роста, скорее полный, нежели худощавый, с внимательным, но не строгим выражением лица. На нём была не то куртка, не то гимнастёрка добротного сукна – одним словом, какая-то полувоенная одежда; так любили в те годы одеваться хозяйственники, деловые люди. Позже я видал Корнилова раза два издали уже в обычном, вполне штатском костюме. Но зрительно он впечатался в мою память именно таким, каким я его увидел впервые. И должен сознаться, что-то нарочитое почудилось мне в этой полувоенно-хозяйственной форме. Да и весь его облик показался мне “непоэтическим”, не соответствующим его стихам. Несколько позже, когда я впервые увидел Николая Заболоцкого, я тоже был удивлён его “прозаическим” внешним обликом...»

Ярослав Смеляков, один из близких великих друзей Корнилова, писал о нём в автобиографическом стихотворении «Три витязя», что

...он тогда у общего кормила,
недвижно скособочившись, стоял...
(Курсив мой – Г. К.)

Цепкий взгляд Смелякова, конечно же, ухватил в нескладном жесте Корнилова потомственную кержацкую кряжистость и внутреннюю свободу, независимость от производимого внешнего впечатления.

В одной из лучших статей из написанного о поэте её автор, Л. Аннинский, говорит: «Облик Бориса Корнилова двоился в глазах современников. Он был комсомольским поэтом, автором боевых массовых песен, певцом революционной героики и интернациональной солидарности. И он же был – по определению тогдашней критики – апологетом тёмного биологизма, адвокатом мещанского захолустья, защитником кулацкой анархии... {...} Корнилов всё время казался “вторым”. Он был комсомольским поэтом, – но его заслоняли фигуры Безыменского и Жарова, фигуры более завершённые, безостаточно завершённые!.. Он был поэтом плоти, поэтом органической целостности бытия, – но здесь его заслоняла гигантская фигура Багрицкого. Наконец, когда чётче выявилась в жизни Корнилова драма столкновения двух этих начал: драма гибельности слепой буйной плоти, – и здесь выступила на первый план более резкая фигура Павла Васильева...»



Борис Корнилов

Однако, трудно согласиться со столь распространённой упрощающей схемой. Не был Корнилов ни «первым», ни «вторым». Тот, кто «у общего кормила, недвижно скособочившись, стоял» (Курсив мой – Г. К.), уже одной этой монументальной выразительно-динамичной статикой утверждает, что не рвался он в «первые», ибо ясно сознавал своё место в литературе, которое никто не может ни «заслонить», ни отменить. Даже в подчёркнуто скучных, малозавлекательных названиях его поэм «Тезисы романа», «Триполье», «Моя Африка», «Начало земли» и т. п. есть некая неподвижная (несуетная) уверенность в собственных силах, в том, что ему не нужно прельщать читателя дешёвыми приманками.

Если Жаров или Безыменский в комсомольской теме, а Багрицкий в стихах о гражданской войне реально исчерпаемы, ограничены кругом идеологизированных тем, к тому же, их герои принципиально не имеют прошлого, а значит, и будущего (что подтвердило время), то Борис Корнилов как поэт – неисчерпаем. За ним и его героями стоят поколения и поколения суровых и памятливых предков, «вековое родство» «дедов» и «прадедов» («с мутным глазом и с песней большой»), укорённых, сообразно его фамилии, в национальную культуру и этику, в народную судьбу, в мистические глубины родного языка. За ним стоит тысячелетняя Россия. Не деклассированная разношёрстная публика Бабеля, по-своему прочитанного Корниловым в поэме «Соль», а скорее управляемая грозная народная волна «Тихого Дона», практически впервые оказавшаяся на гибельном историческом распутье в отсутствии выбора: «...Хлещет за полночь воплем и воем, вы гуляете – звери – ловки, вас потом поведут под конвоем через несколько лет в Соловки...» («Прадед»). В этом



ощущении трагизма времени и нового раскола в душе человека поэт внутренне близок Шолохову, без прикрас показывая в стихах («На Керженце», «Семейный совет...»), что историю, как и судьбу, на кривой не объедешь. И самому поэту не уйти от этого страшного и трагического внутреннего раскола: «Я – последний из вашего рода – по ночам проклинаю себя...» («Прадед»).

Как русское зарубежье первой волны в чужих пределах, страдая и мучаясь, несло в себе прежнюю, вечную Россию, так и на родной земле, под советскими транспарантами и кумачами, будто в идеологической заморской чужбине, оставались всё те же «сокровенные» русские люди, в крови и в душе которых ещё не были размыты и вытравлены могучие пласты памяти и корневая связь с прошлым. Разве спрячешь, разве скроешь *такое*, с чем и умереть не страшно, что, в отличие от державинской «реки времён», всё же хранит драгоценную «незабвенность»? –

..Эта русская старина,
вся замшённая, как стена,
где водою сморёна смородина,
где реке незабвенность дана, –
там корёжит медведя она,
жёлтобородая родина,
там медведя корёжит медведь.
Замолчи!
Нам про это не петь.
(«На Керженце»)

Нет, не двоился он... Это змеи, проползая в тесных расщелинах между камнями, сбрасывают старую кожу, называемую в народе грубым словечком «выползок». Корнилов, живший во времена, когда сочинялись целые романы с символичным названием «Человек меняет кожу» (а значит, и душу, и совесть, и память, и Отечество!), с доверчивостью и опьянением молодости проходил между комсомолом, агитками и массовыми песнями, внося своеобразный вклад в советское мифотворчество, при этом в сущности не меняясь, оставаясь собой, с неосознанной, но неизбежной логикой готовясь встать в один скорбный ряд с мучениками русского слова Н. Клюевым, С. Клычковым, П. Васильевым... Правда, порою он всё же оставлял ключья кержацкой медвежьей шерсти на идеологических остриях вульгарной критики, то называвшей поэта «диким талантом», а его стихи «набором слов», «торопливейшей и безграмотной мазнёй», «пошлостью и беспардонной болтовнёй», то обвинявшей его в «яростной кулацкой пропаганде», то в «вымученном оптимизме», то (в аккурат к 1937 году!) после первоначальных славословий и превозношений

объявляя всего лишь некогда... «подвизавшимся в литературе».

Не дремала и цензура. Так, из январского номера «Нового мира» за 1936 год, словно припоминая поэту стихи четырёхлетней давности «Я пока ещё сентиментален, оптимистам липовым назло...», – как упадочническое, исполненное пессимизма, изъято лучшее стихотворение Корнилова «Ёлка» с «крамолой» в строках: «Уйду от этой жизни прошлой, весёлой злобы не тая, – и в землю втоптана подошвой, как ёлка – молодость моя...»

А между тем «подвизавшийся в литературе» Корнилов был феноменальным явлением в русской поэзии. Без всякой раскачки и приглядки, по-медвежьему независимо и грузно вломился он в ленинградскую культурную среду с её традиционной фасадной европейскостью, без излишних комплексов обживаясь в её книжной и версификационной искущённости. Ему бы сподручней и здоровей в простосердечную Москву – и для души, и для природного размаха! (Туда, правда, он будет наведываться для шумного удалства с Павлом Васильевым и Ярославом Смеляковым! «Стихи писали разное и отдельно, а гонорар несли в один кабак», – поведает позже «третий витязь» Смеляков). Но и в Ленинграде он чувствует себя вполне уверенно, фактически через год-другой становясь одним из признанных лидеров советской поэзии. Его стихи «Спичка отгорела и погасла...», «Ты как рыба выплываешь с этого...», «Тосковать о прожитом излишне...», «Большая весна наступает с полей...», «Соловьиха», «Вечер», «Ёлка», – стали украшением русской лирической поэзии.

Его пейзаж таинствен, тревожен и прекрасен. В нём не найдёшь левитановского «вечного покоя» или сказочной картинности Васнецова. Природа Корнилова – своеобразное древнее чувствилище, порою похожее на звериное логово, где «всё рассудку незнакомо», где «тошнотворный душок белены» и тени лохматых птиц, а болото, на котором «ни звона, ни стука», подобно океану из «Солыриса», всё знающее о прошлом, ведающее о будущем; но где по-бунински реалистично могут хрустнуть «под ногою грузди, чуть-чуть прикрытые листом».

После Гумилёва он, пожалуй, один из немногих, кто мог также блестяще писать о войне, пророчески предчувствуя грядущие испытания для России, задолго до Недогонова, Наровчатова, Гудзенко, Старшинова создавая классические образцы фронтовой поэзии:

...И казалось, путей обратных
Никогда нигде не найти,

Шёл за ратником в ногу ратник
 По разбитому в дым пути.
 Не найти молодых и новых,
 Хоть разыскивай сотню лет,
 Где колёса шестидюймовых
 Не оставили бы свой след.
 Шли от луга они до луга
 (Луговина – моя страна) –
 Всё Уфимская и Ветлуга,
 Всё Тамбовщина, Кострома.
 За Россию, за богородиц –
 От молебна в глазах туман –
 Шёл на битву нижегородец,
 На войну Иванов Иван...
 («Ратник Иван Иванов»)

Показательно, что вчерашний, никому не известный провинциал, сын сельских учителей, в первый же год обосновывается, как теперь сказали бы, в «престижном» районе, на канале Грибоедова, среди самой что ни на есть литературной элиты, в одном доме с М. Зощенко, О. Форш, Н. Заболоцким, Б. Томашевским, В. Шишковым, Н. Олейниковым, Б. Житковым, А. Введенским, В. Стеничем... В 1928 году у него выходит первый сборник стихотворений «Молодость», посвящённый О. Берггольц, в 1931-м сборники «Первая книга» и «Все мои приятели», в 1933-м – «Книга стихов», «Стихи и поэмы», в 1935-м – «Новое» (следующая книга Корнилова, увы, выйдет уже только через 20 лет, в 1957 году, после посмертной реабилитации поэта). Отдельным изданием выходили поэмы «Триполье» (дважды, в 1933-м и 1934-м) и «Моя Африка» (1935). Причём, первую поэму сравнивали с «Думой про Опанаса» Багрицкого, а «Мою Африку», которую Ромен Роллан в своей статье «Европейский дух» назвал «прекрасной», ставили в один ряд со «Спекторским» Пастернака. Мейерхольд хотел, чтобы Корнилов написал пьесу для его театра. В 1934-м, на Первом съезде писателей Бухарин объявил Корнилова надеждой советской поэзии (избави Бог от такого внимания! Близость к власти – близость к гибели!)

В 1932 году на экраны вышел фильм «Встречный», для которого Корнилов и Шостакович написали знаменитую «Песню о встречном», гимн оптимизму, где «радость поёт, не скончая» и даже октябрята «картавые песни поют...» С неё начинается ярчайшая страница в истории советской массовой песни. Так же как и у авторов, уникальна судьба этого произведения. При Кирове утренний эфир Ленинградского радио начинался не с Интернационала, как принято, а с песни на слова Корнилова «Не спи, вставай, кудрявая!». Когда в 1938 году поэт безвозвратно сгинул в застенках НКВД и даже

имя его на два десятка лет было предано забвению, страна продолжала бодро распевать про «кудрявую», которая почему-то «не рада весёлому пенью гудка», а слова песни поневоле превратились в «народные». В 1945 году, на международной конференции, посвящённой образованию Организации Объединённых Наций, «Песня о встречном» стала гимном ООН, в Швейцарии её даже исполняли на свадьбах...

В 1936 году Бориса Корнилова исключают из Союза писателей (внешним предлогом послужили пьяные срывы, скандалы). В действительности, причина крылась в ином: власть поняла, что *этот* никогда не «сменит кожу». В 1937-м его арестовали, 20 февраля 1938 года поэт был расстрелян (через год в Горьковской тюрьме оборвётся и жизнь отца поэта – Петра Тарасовича Корнилова)...

Как Блок перед смертью обращается к Пушкину, так и для Корнилова та же тема становится последним спасительным «задуманным побегом». И напрасно критики (на безопасном расстоянии от трагедии!) в назойливых интеллектуальных претензиях требуют от Корнилова постановки вопроса о Пушкине «как о явлении русской культуры, как о вехе в мировом духовном развитии». Вспомним, что Блок в своей пушкинской речи без излишнего философствования называет власть «чернью». Корнилов же, как матёрый зверь природной интуицией почуяв приближение неминуемой гибели, просто уходит из России Швондеров, Кагановичей, Ежовых, Бухариных... в Россию Пушкина, в свою «непонятную родину, где растут вековые леса», уходит в вечность...

Максим ЗАМШЕВ, Москва**ВЛАДИМИР, СЫН ИВАНА**

К 80-летию со дня рождения В. И. Фирсова

Я не думал, что его будет так остро и непорочно не хватать... Не хватать каждый день, каждый час, каждую минуту...

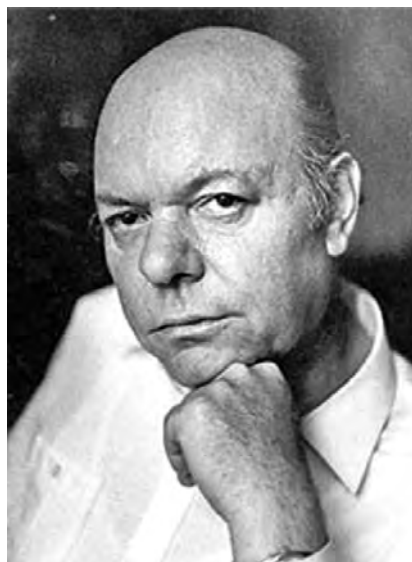
Для друзей – Фирс, Иваныч, бесконечно свойский и в то же время страшно далёкий, особенно когда задумывался, закулив, и останавливал свой взгляд только на ему одному видимой точке в пространстве. Для поклонников он Владимир Фирсов... Легендарный певец России, подлинный наследник Кольцова и Никитина, виртуоз стиха, при этом никогда не усложняющий его так, чтобы народ затосковал от непонимания, от ощущения чего-то инородного...

Я познакомился с ним, когда ему не было и шестидесяти. И он произвёл на меня впечатление совсем обратное тому, каким я его представлял... Внешне в нём никак нельзя было разглядеть поэта возвышенного, литературного, полного пафоса и выпренных книжных фразочек, ложной премудрости. Напротив, предельная простота в общении, шутки, прибаутки, незлобивое балагурство, байки... Много позже я понял, что за этим стояло желание не запятнать поэзию чем-то наносным, позой, жеманством, излишней сладостью... Ведь из поведенческих человеческих обстоятельств в поэзию подчас прокрадывается непоправимо многое. И Фирсов знал это... И вёл себя так, как потом вели себя его стихи... Непринуждённо, по доброму, гармонично... Многие его строки обладали такой энергией, что на ходу превращались в песню. Они текли и искрились, как вода ручьёв в погожий день средней полосы... И в этой верности исконной природной России, её главных кодов, знаков и символов Фирсов не знал пощады ни к себе, ни к другим, с большим подозрением относясь к записным патриотам, строящим свои

выкладки на ксенофобии и художественной мизантропии...

Я горд тем, что могу назвать себя его учеником... Общение с ним настроило мои поэтические струны так, что выше их уже не натянешь... Дальше только рвать...

На первом литинститутском семинаре он заявил нам: «Поэзия – это «Редет облаков летучая гряда», в этих строках есть всё, что нужно для поэзии. Научитесь так писать, ни один негодяй не скажет, что вы не поэт». Мне тогда показалось это заявление чересчур безапелляционным, но потом через годы я осознал его подлинный смысл. Поэтическая культура, которую Фирсов так ценил, не самоцель, а залог того, что все нужные слова встанут на нужные места и создадут безупречную форму, без натуги и псевдовиртуозности. А уж содержание – это личное дело, дело



Владимир Фирсов (1937–2011)



*А. Говоров, А. Вознесенский, И. Григорьев
и В. Фирсов (справа)*

личности. Этому не научиться... Это или есть в тебе или нет.

Сам он был человеком невероятно содержательным. Радушным и внутренне, и внешне... 26 апреля ему бы исполнилось восемьдесят. Он любил Россию так истово, что эта любовь превращалась в основу и оправдание его существования... В звуках его имени и отчества сияли великие русские имена, исконные, царские и многомудрые... И сам он был исконный человек и поэт. Его лучшие стихи нельзя забывать. Они неповторимы, узнаваемы. Без них русская поэзия теряет один из своих системообразующих элементов...

Лев АННИНСКИЙ, Москва



БЕЗЗАЩИТНОЕ ВСЕОРУЖЬЕ

К 80-летию со дня рождения Б. А. Ахмадулиной

Этот образ: «беззащитное всеоружье» словно открыл мне в сборнике Беллы Ахмадулиной («Струна») существо её лирического героя, секрет обаяния её поэзии и тот существенно новый штрих, который вносит ахмадулинская книжка в физиономию нашей молодой поэзии.

Как представить себе лирического героя объёмно, объективно? Это значит – открыть предел его душевной силы. Освободившись от власти впечатления, отыскать источник впечатления. Истоки характера отыскать, и меру сил его.

В данном случае это сделать нелегко, потому что Ахмадулина поэт чрезвычайно одарённый. Её стих чеканно точен, буйные краски мира вобраны в него так, что ни одного мазка не видно, ни одного небрежного пятна, и всё соединилось в таком строго отгранённом, кристально чистом единстве, где линии – гравюрно упруги, и блеск сдержан и значителен, и даже не блеск это, не самоцветное сверкание, а скорее гравёрный отблеск, покорный

твёрдому резцу. Но я ищу предел, ищу момент, когда резец дрогнет, когда строгая музыка ямба на миг прервётся неверной нотой, и упадёт в строку слово, бессильно взятое взамен ненайденного, – многое откроет нам этот предел!

Вслушайтесь:

В плену судьбы своей везучей
о чём ты думала, о ком,
когда так храбро о Везувий
ты опиралась локотком...

Вы чувствуете, где тут не хватило поэтического дыхания? Ах, этот локоток, как это мило найдено, как это должно нас обезоружить, и какой находкой это показалось бы в стихах среднего поэта, но здесь! Важно даже не то, что тут слабое слово в четверостишье. Это – брешь в позиции. Собирая, соединяя, сопоставляя у Ахмадулиной нечастые срывы голоса, мы находим в них некое единство, мы находим, что маски, которыми заслоняется героиня, удивительно схожи, а мир конкретных грёз её – удручающе знаком.

Всё это весьма хрупко и весьма завлекательно. Каблочки, ножка, тонкая талия. Каблочки ломаются, героиня шалит, красит губы в вине, поводит плечами. Неприступная, она мучает благоговейных кавалеров, она ждёт своего настоящего повелителя, своего... средневекового рыцаря, своего... индейца-охотника, своего... лихого гусара. И вот он входит – уверенно, чётко; он громко требует вина, у него холодные манжеты и горячие пальцы... И всё звучит скрипка, и падают в заброшенном саду сирени неопрятные соцветья... То ли Тургенев, то ли Купер... Мечта детства, бабушкина библиотека.

Этот очаровательный маскарад, представьте, не раздражает. Он не нарочит, и уловить его не просто. Дело в том, что традиционный книжный образ слабой и надменной женщины, который Ахмадулина всё время держит наготове, – находится в метафорической связи с тем истинным, некнижным и чрезвычайно современным душевным движением, которое составляет силу и подлинную красоту ахмадулинской поэзии.

Это истинное и глубинное движение начинается с жестокого признания своей слабости. С жестокого приказа себе: «ни слова, ни слова маленького лжи!» С жестокого приказа не утешать себя обманом и – не утешать поверженных и побеждённых. Традиционный сюжет о пленении барса, о покорении сильного зверя звучит у Ахмадулиной по-новому. «Но люди землю подкопали. Они добились своего. Он сильный был, но про капканы ещё не знал он ничего»... Не правда ли, можно представить себе традиционный исход поединка? Барс, не покорённый,

умирает на рогатине... или, покорённый, он становится, скажем, добрым приятелем зевак в зоологическом саду... Поэтический ход Ахмадулиной неожидан: «Он понял. Он поддался гордо, когда вязал его казах, и было сумрачно и горько в его оранжевых глазах... В них полыхали гнев и щедрость»... Щедрость побеждённого? Именно это! Какая-то невероятная, неодолимая гордость, возникающая в существе, казалось бы, раздавленном начисто.

Откуда эта неожиданная сила?
Отвлечемся от стихов.

Задумаемся, отчего так много женских имён в списке теперешних молодых поэтов? Я вряд ли сильно ошибусь, если скажу, что поколение, принявшее на свои плечи первую тяжесть войны, не было столь щедро на женские поэтические имена: Берггольц, Алигер – тут, кажется, и ставили точку. Но не случайно теперь рядом с Беллой Ахмадулиной мы видим Римму Казакову, Юнну Мориц, Новеллу Матвееву, Светлану Евсееву, Майю Борисову, Нину Королёву, Надежду Григорьеву... Разумеется это дальнейшие плоды эмансипации. Но я позволю себе предположить ещё и другую причину: охватившее молодое поколение и отразившееся в его поэзии стремление к цельности, стремление быть не винтиком и атрибутом, но человеком, – нравственное возрождение личности, связанное с разоблачением «культы личности» и невысказанное в те, прошедшие годы. Нет ли закономерности в том, что напряжённее и острее всего нравственное движение развилось именно там, где ощущение человеком духовной скованности было усугублено классической и вечной, столь мудро отмеченной Марксом в известной анкете слабости «слабого пола»? Несколько лет назад поэт Слуцкий отдал им эту дань: «Бабы были лучше, были чаще и не продали девичьих снов ради хлеба, ради этой пищи, ради орденов или обнов. С женотделов и до ранней старости через все страдания земли на плечах, согбенных от усталости, красные косынки пронесли...»

Тема поиска себя, присущая молодой поэзии, приобретает у молодых поэтесс оттенок нравственного суда над собой. Ахмадулина – фигура, характерная в этом плане. Между тем, имя её красуется в известном критическом списке молодых «новаторов», и часто к ней автоматически адресуют те упреки, которые шлейфом тянутся за известным критическим списком: инфантильность, забвение традиций... Чтобы понять то новое, что вносит Ахмадулина в нашу поэзию, надо прежде всего видеть её, Ахмадулиной, существенное отличие от собратьев по упрекам. Отличие и превосходство! Потому что реальная суть её поэзии



Белла Ахмадулина

совершенно чужда расхожим приёмам нынешнего поэтического бунтарства, суть эта глубже, истиннее и человечнее.

Молодые люди озоруют в стихах, они любят сближать «далёкие эстетические ряды», они «бунтуют и буянят». Никакого буйства и эпатажа в стихах Ахмадулиной нет. Молодые поэты весьма неукротимы, они ломают строку, их своенравный темперамент непосредственно выражается в ритмах. У Ахмадулиной – ямбы. В стихах молодых поэтов дует романтический ветер, весело летит снег, всё происходит на шибкой скорости. Им живётся весело, шибко...

И вдруг под спокойным взглядом девочки обнаруживается маскарад: «зелёный ветер... шипра» улавливает она. Конечно, это жестокий суд. Но какой непостижимый нравственный максимализм возрождается в этой традиционно слабой девочке, и какая бескомпромиссность! Словно чувствуя, что первый компромисс никогда не бывает последним, героиня Ахмадулиной растит в душе такую непобедимую прочность, что ей не нужны внешние победы, она и в самом поражении не сломается, нет!

Не отсюда ли – эта неуязвимость? «О, слово точное – подонки! От них такая кутерьма. Темны их лица и подобны одно другому...» Но сама – она не боится их, не боится смешаться с ними в толпе,

хотя и не строит иллюзий по поводу их великодушия: да, «будут глухи их удары, когда придёт пора моя...», но есть одно-единственное преимущество, которое доступно только людям и которое делает их счастливее этих винтиков-роботов – сознание своего человеческого достоинства, и это – неистребимо, и это даёт человеку спокойную и добрую силу превосходства: «они наказаны собою, своей бездарностью глухой».

Непобеждённое, упрямое, неуязвимое человеческое достоинство – вот главная тема и нерв поэзии Беллы Ахмадулиной. Эта упрямая сила держит её стих, давая ему напряжение и драматизм, и высокую строгость языка, и упругость ритма – всё то, что мы привычно называем мастерством.

Вспомните начало «Дуэли»:
И снова, как огни мартенов,
Огни грозы над темной,
Так кто же победил – Мартынов?..

Первая же рифма заставляет вас вздрогнуть: это не совсем то, к чему вы готовились, слова оказались слишком похожи. Как? Величественные зарницы плавящейся стали – и ничтожество, разрядившее пистолет в гения – неужто это так близко, так почти неразлично называется? Мгновенно мысли вашей дан обратный ход, слышимая похожесть взорвана изнутри. Это и есть «мастерство»: парадокс первой рифмы подготовил всё стихотворение, и вот оно стремится вперёд, переворачивая несправедливый ход событий; «другой там победил, другой...»

Мартынов пал под той горою.
Он был наказан тяжело.
И вороньё ночной порою
его терзало и несло...
...Дантес лежал среди сугроба,
подняться не сумел с земли,
а мимо медленно, сурово,
не оглянувшись, люди шли.
Он умер или жив остался –
Никто того не различал...

Вот – всеоружье человека, всесильного даже тогда, когда он беззащитен – он не опускается до мести подонку, он богаче настолько, что может не различать его.

И тут, когда, как пружина, распрямляется в человеке гордость, наступает предел. Ахмадулинская муза теряет почву под ногами. Словно промахиваясь, она бьёт по воздуху. Ища современника, она не видит его, не знает, не находит, и непримиримая и отчуждённая, так и удаляется, не различив его реальных примет. И тогда в эту брешь врывается

книжность. Мартынов – пал под той горою. Дантес лежал среди сугроба. Они исчезли, как фантомы, как дурные привидения. Но люди? Что у неё делают люди? Лермонтов? «Зато – сначала всё начинал и гнал коня, и женщина ему кричала: “Люби меня! Люби меня!”» Пушкин? «Пил вино, смеялся, ругался и озорничал. Стихи писал, не знал печали, дела его отлично шли, и поводила всё плечами и улыбалась Натали»... Ах, ты, боже мой! Ах, кони, вина и женские плечи! Ах, дедушкина библиотека...

Какая мощная энергия копится в этих малоосвоенных сферах, какие заряды собираются на полях, противостоящих всему среднему и серому, какая поэтическая молния бьёт... в грудь книг.

1962

Михаил ТАРКОВСКИЙ, Красноярский край



ЕРБОГАЧЁН

К 85-летию со дня рождения С. Ю. Куняева

Двадцати пяти лет отроду Станислав Юрьевич Куняев закончил филологический факультет московского Университета и уехал на три года в Тайшет Иркутской области работать в районной газете.

Такие решения ниоткуда не берутся. Люди делятся на тех, кто едет «от» и тех, кто едет «к» или «за». Как правило те, кто едет «от», в конце-концов уезжают «за». От «преследования» властей и всех вариантов «непонимания современников» просто за границу... страны или совести – неважно. А кто едет «к» или «за» – тот едет к земле и людям – за силой.

За присоединение Сибири русские писатели должны каждое утро свечку ставить рабам Божиим Ермаку Тимофеевичу, Семёну Дежнёву и Ерофею Хабарову, и каждый по роману написать о несусветных этих предках.



Будучи по его же словам уже поэтом, но ещё «университетского значения», Станислав Юрьевич поехал в Сибирь, безошибочно чуя её силу. Русский писатель всегда стремился отшлифовать, выточиться до зеркального блеска в трудной стихии, где ещё рубцуются смыслы, и очарованный простым трудовым народом, причаститься его силы. Вспомним «Казак» Толстого. Вспомним наших писателей-первопроходцев – Арсеньева, Шишкова, Федосеева...

Сибирская земля обладает удивительным свойством, всё в ней доведено до предела, всё – сам концентрат. Если мороз – то мороз, жара – то жара. Всё в ней плотнее, особенно время. И человек, попавший в её оборот, живёт с удвоенной силой и скоростью, проходит семимильно за год то, что в нашей тёплой размеренной Рассеюшке за семь лет проживёшь. Всем известно: морозы калят, расстояния ширят плечи, но ещё больше калят и окрыляют люди, которые среди разреженности населения, привязке его к реке, становятся огромней, тысячевёрстно продлеваясь по Енисею, Тунгускам, Амуру.

Самолёт пожирает пространство...

Час. Другой. Не видать ни зги,
ни деревни, ни государства,
ни огня – бесконечное царство
бездорожья, тайги и пурги.

«Суровая зимняя сибирская жизнь в течении трёх лет спасла меня как человека, как гражданина и как поэта» – скажет писатель многие годы спустя. Сибирь ускорила духовное становление и подарила России нечастый нынче пример человека, с молодых лет ощутившего в себе дар защитника, твёрдо вставшего на этот путь, и никогда не изменявшему выбранному тракту, как бы морозно не глядели звёзды сквозь голые кроны лиственёй. А как точно он понял Сибирь! Что в стуже спасение. Что «снег и холод препятствует гнили». Иначе бы не посоветовал: «Когда не хватает тепла – люби леденящую вьюгу».

Как зверовой пёс восточно-сибирской лайки раз за разом затравливается на сохатого и медведя, так истинный поэт «затравливается» на всё настоящее, исконное, без чего уже сам не сможет. А как же я? Как же проживу без этого? Когда сухой эвенкийской осенью польётся светлым дождём лиственничная хвоя и не моё лицо будут щекотать её мягкие иглы – усну ли я на городском своём ложе? И кто-то будет мёрзнуть мороз у нодьи, а я нет? Или как у Куваева: «Так почему же вас не было на тех тракторных санях и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер, читатель?» Да не посмеют мне так сказать!

Из писем Вячеслава Шугаева С. Ю. Куняеву: «Представь, что будут ещё утиные перелёты, лиственничная хвоя будет осыпаться в лывы, и Добролёт ещё стоит. Мир не так уж плох, как нам бы хотелось. Собираюсь на день оленевода в Ербогачён, в конце марта. Может быть, вырвешься?».

«Нет, наверное, более счастливых минут в жизни, чем те, в которые, осторожно разводя руками чёрные лапы елей и красные ветви черёмухи, ты крадёшься по запорошенной снегом траве к заветному можжевельниковому кусту, куда только что со сладостным для сердца трепетом крыльев, сбивая снег с рябиновых веток, сел вырвавшийся у тебя изпод ног рябчик» – отвечает годы спустя Станислав Юрьевич.

Ербогачён – село на самом севере Иркутской области. Центр Катангского района. Основан в 1860-ом году. По-эвенкийски *нербэкэ* означает холм, поросший сосновым бором. Поселение расположено на правом берегу Нижней Тунгуски, Угрюм реки. В Ербогачёне стоит музей В.Я. Шишкова. Годы спустя после Тайшетской эпопеи в Ербогачён приезжал на охоту Станислав Юрьевич Куняев вместе с Вячеславом Максимовичем Шугаевым, жившим в ту пору в Иркутске.

Были костры, запах лиственничного дыма и луч закатного солнца на золотистых соснах нербэкэ. Были разговоры в зимовье. Были люди – такие как Степан Романыч, который плоты гонял с Ербогачёна в Туруханск на Енисей за две тысячи вёрст! Через судьбы таких Романычей и собирается в плот Русская судьба.

А есть ещё и Горный Алтай...

От голубого огня
плавилась тёмная дали...
Сколько прозрений меня
в эти часы окружали!
И уплывали к утру...
Думаю,
что и поныне
кружат они на ветру
где-нибудь в Чуйской долине.

Кружат. Правда. И в Курайской степи, и над Чике-Таманом. Сколько не прочитаешь прекрасных срок о России, пока сам не пройдёшь, не испытаешь на себе её ветра – не станут по-настоящему родными, не войдут в плоть и кровь эти края. Тогда и сами места, и строки о них в такой сплав сольются, что мураши по спине поползут. Пожизненные. Как сейчас...

А ведь есть ещё и Дальний Восток.
Одну и другую неделю



С. Ю. Куняев

не видно воздушных путей,
и ты предаёшься безделью
среди работающих людей.
В часы предраассветных прогулок
идёшь поглядеть на прилив,
покуришь и бросишь окурочек
в холодный Курильский залив.
Ну что ж, ты дошёл до предела,
а значит, приблизился срок –
душа для работы созрела,
пора раздувать огонёк.

О чём эти мысли? Этот канонический для русского поэта поворот мужской судьбы? Сейчас поймём.

Я научился засыпать в седле,
рассчитывать опасное движенье,
не торопясь угадывать во мгле
ведущее к ночлегу направление.
Я вовремя почувствую беду,
страх одолею и отпряну в страхе,
а если где-то кожу обдеру,
всё заживает, словно на собаке.
Я рад, что тело на краю земли
все испытанья выдержало с честью.
Окрепли ноги, руки обросли
какой-то золотистой шерстью.
Как изменилось тело! Но душа
не может быть иной, хоть лезь из кожи.
Она во власти суеверной дрожи
в ночной простор глядит, едва дыша.
Не замечая быстротечных дней,

она живёт иными временами,
и будущее властвует над ней,
и прошлое преследует тенями.
Нет-нет услышу: с милыми людьми
(на что ей эти реки, эти горы!)
она ведёт немые разговоры,
глядит в слезах в родимые просторы,
в другие ночи и другие дни.

Так вот зачем дарована мне, очарованному страннику, эта даль, этот ветер, этот богаданный Ербогачён... Чтобы замереть по-над Тихим Океаном, Катунью или Угрюм-Рекой (уже и неважно), и поражённому красой мира, услышать наконец голос собственной души, заглушённый городским шумом, раскрыть совесть, освободить память – и свою, и предков – и понять, что они едины. И защитить. И сказать спустя жизнь: «Я-то знаю твоё объятье, я тобой навсегда обречён, ты стоишь надо мной, как заклатье, мой пожизненный Ербогачён!» Сколько таких Ербогачёнов, Кайерканов, Суриндаконов и Магдагачей навсегда овладевали молодыми русскими душами, и какая могучая в этом преемственность...

«Что ж пора приниматься за дело, за старинное дело своё».

Пора. Но теперь моя закалённая Ербогачёном душа, узнавшая себя, уже настолько сильна, что никакой город не заглушит её голос шумами своими, никакой умник не собьёт с пути речами, и будет она верна себе во граде, веси или острове – хоть где.

Низкий поклон Вам, дорогой Станислав Юрьевич от писателей Красноярья и многая лета! Ербогачён Вас слышит! И ждёт.

Литературно-художественное издание

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

XXI век

2017

Ежегодный альманах

Стихи, статьи

Корректор – *Никита Мышов (Воронеж)*

Бумага офсетная
Гарнитура Myriad Pro
Тираж 650 экземпляров.
Сдано в набор 29.01.2018
Подписано в печать 15.03.2018

ISBN 978-5-91865-505-4



Издательство «Вест-Консалтинг»
109378, г. Москва, Есенинский бульвар,
д. 1/26, корп. 1, офис 34
Тел. (495) 978 62 75
Главный редактор издательства — Евгений Степанов.

Типография «Наука»
121099, г. Москва,
Шубинский переулок, д. 6